ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

5 '87

М. ЮКСИНЕ. (Таллин)
Утро. *Автолитография.*

ЮНОСТЬ

5 (384) '87

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Евгений СИДОРОВ
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Семен
ГУДЗЕНКО

«Мы оттуда ведем свой стаж»

Песня

Погребен неизвестный солдат
у дороги над самым Днепром.
Журавли над могилой летят
и печально кричат над холмом.

Я не встретил в степи никогда
На могиле весенних цветов.
Только плачет в осоке вода,
поднимается из берегов.

Только вечер не бросил бойца,
он его провожал на войну.
Заменил ему Днепр отца,
а земля — молодую жену.

1944 г.

☆☆☆

Первый месяц дорожных лишений
от санбата к передовой,
или путь по ходам сообщений
с вечной пулей над головой,
или плаванье в драном корыте
по шугующему Днепру,
или первое счастье открытий
в штыковом бою на юру,
или полупустые диски
перед входом в чужой блиндаж —
все вошло в послужные списки,
мы оттуда ведем свой стаж.

1948 г.

☆☆☆

Я родился в этом городе,
рос.
Мне не надо в этом городе
роз.

Мне не надо в этом городе
дач,
мне не надо в этом городе
и удач,
и неудач.

Тишины бы мне каштановой
и весны.
Я бы начал юность наново,
пусть с войны —
только б было то горение,
тот порыв,
чтоб мое стихотворение
на обрыв
вывело меня, безумного,
в ночь одну
из притихшего,
нешумного —
на войну...

Киев, январь 1949 г.

Семен Гудзенко в послевоенные годы. Архивная фотография.

☆☆☆

Не из плена, не из странствий по Сибири
возвращается романтика ко мне.
Просто очень молоды мы были
и о ней забыли на войне.
А она с тоскою и усмешкой,
но не со слезами и смешком.
В рваной гимнастерке и бекешке
всю планету обошла пешком.
И теперь, когда отгрохотало,
и о нас запели кобзари,
над военной молодостью встала,
всю ее огнями озарив.

1947 г.

☆☆☆

Ты меня вынянчила, мама,
дала мне странное имя,
чуть безалаберным
и упрямым
мальчик с глазами твоими
рос,
и вырос,
и стал солдатом.
И, недостреленный,
в сорок втором
он по бумаге провел пером,
и ты загордилась
его узловатым
и угловатым
первым стихом.

Стих начинался
честной строкою.
Я не выдумывал
этой строки.
Просто
израненною
рукою
вывел
прыгающие крючки.

1947 г.

Волга

Ты об этом не говори.
Сожаленья здесь неуместны.
Знаешь ли ты,
как волгари
умирали за Родину с песней?
Не гусарская это спесь,
не бурлацкая это лихость.
Просто русская,
просто песнь
начиналася в сердце тихо,
нарастал неуемный стук,
вырастали слова и строки —
и бросалась пехота вдруг
в наступленье,
ломая сроки
и срывая график врага,
неожиданно,
дико,
с песней...
Удивительная река.
И слова твои неуместны.

1943 г.

☆☆☆

Пусть меня за все осудят,
пусть заставят взаперти,
как порядочные люди,
жизнь оседлую вести,
пусть пообещают счастья,
запретят совсем беду,
я не выдержу и часа
и куда-нибудь уйду.

Есть веселье —
под шрапнелью!
Есть и в голодуху —
пир!
Я пришел на новоселье
в этот беспокойный мир.

Я поэт бродячий, то есть
я из края в край иду,
как подсказывает совесть,
так себя везде веду.

Все увидел, все изведал,
вечным новоселом стал,
до еще одной победы
пехотинцем прошагал.

1947 г.

☆☆☆

Тихо, тихо.
Спит поселок.
Нет дворов
и нет светелок.
Только душные подвалы
да сквозные этажи,
да над Волгой
где почало
обжитые блиндажи.

Дым уютный домовито
над землянками проплыл
и растаял — шито-крыто,—
будто кто-то закурил.

И опять холодный ветер
в недостроенных домах.
Только печи видят дети
в беспокойных вещих снах.

Я запомнил воскресенье
и веселых печников,
на стенах кривые тени
от чадящих ночников.

Ты был с ними в это утро,
ты не говорил речей
очень пламенных и мудрых:
«печь»,
«с печами»,
«для печей»...

Просто,
точно,
как обычно:
— Мы, ребята, на войне.
И не печь, а дот кирпичный
к вечеру постройте мне.
Потому что на рассвете
в наступление пойдем.

Тихо, тихо. Спите, дети.
Скоро теплым будет дом.
Будут, дети, печи в нем,
будут сказки,
будут елки —
будет рай земной на Волге.
Я вас уверяю в том.

1943 г.

Публикация
С. И. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ

Неизвестные строки Семена Гудзенко

Семен Гудзенко (1922—1953) — один из самых ярких поэтов военного поколения. Мужественный голос солдата, прозвучавший в первом поэтическом сборнике «Однополчане» (1944), стал голосом поколения. Поэт предсказал судьбу — свою и многих ровесников: «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем».

Семену Гудзенко была отпущена недолгая жизнь, но он успел сказать свое слово в поэзии.

Потребность осмыслить написанное приходит с годами. Поколению, к которому принадлежал Семен Гудзенко, пришлось это сделать сразу после войны: в литературных кулуарах, в критике упрекали молодых поэтов-фронтовиков в том, что окопный натурализм их военных стихов мешает им перестроиться на новую, «мирную» тематику, увидеть то, во имя чего велась война.

«Дело дошло уже до того, что всякое упоминание об опасностях, героической смерти и павших друзьях зачисляется в разряд упаднических настроений, якобы тормозящих движение вперед...— писали М. Луконин и С. Гудзенко в статье «Разговор о молодых» («Литературная газета», 26 октября 1946 года), ставшей как бы открытым ответом на нападки критиков.— Мы не вступили бы в дискуссию, если бы критики не занимались смакованием наших отдельных ошибок и промахов, забывая главное, что характеризует молодую современную поэзию. Главное же в их произведениях — вера в победу, которая провела сквозь все испытания войны, закалив и научив многому... Не тяжести войны явились темой наших стихов, а их преодоление. Мы шли не от поэзии к жизни, а от жизни к поэзии...»

Кроме этой статьи, неизвестны другие высказывания поэта о собственном творчестве, о поэзии вообще, о соотношении жизненных впечатлений и рожденных ими образов. Поэтому кажутся очень интересными записи, сохранившиеся в блокноте у друга Семена Гудзенко — Аркадия Галинского. На спецсеминаре по советской литературе, в МГУ, где учился А. Галинский, ему надо было сделать доклад на тему «Молодая поэзия». И Гудзенко, уже неоднократно выступавший со стихами перед студентами МГУ, 25 мая 1947 года делится с Галинским своими мыслями, а тот конспективно записывает:

«Творческий путь поэта невозможно предвидеть заранее во всех его измерениях, взлетах и падениях. Нельзя после первой книги говорить окончательное «за» или «против». Поэт может найти себя на десятом году работы и даже на двадцатом. Трудно предвидеть, какими будут избранные стихи, что станет основным, определяющим творческую физиономию.

Существо моей первой удачи в умении рассказать о войне. В «Однополчанах» форма стиха — вопрос второстепенный, даже третьестепенный. Ей уделялось мало внимания. Основное — в стихах живет острое, обнаженное чувство и точность батальных картин (баллады). В лучших стихах последующих лет — те же качества, но более успокоенные, приземленные. Приземленность (ее следует здесь понимать как антипод пафоса) — не отрицательная черта фронтовой поэзии. И в ее оценке не правы некоторые критики. И если поэт или прозаик... в своем творчестве не пишут в каждом абзаце высоким стилем о патриотизме, то в этой скромности — скромности художника — таится истинный, подлинный патриотизм. Простое описание подвига лучше декларации о самопожертвовании. Конечно, синтез окопной правды и настоящей романтики преимуществен во всех других подходах к военному материалу. Но не следует забывать, что есть произведения двух дыханий: первого — сказанного между боями или даже в бою, второго — через «энное» количество лет после войны. О гражданской войне писали в 30-х годах Багрицкий, Прокофьев, Светлов. В 60-х годах еще будут писать об Отечественной войне, и тогда будет синтез.

Я не могу автоматически переключаться с темы на тему, особенно с такой, которая меня вызвала к полнокровной творческой жизни. Легче переключить производство с выработки шин на газовые колонки, но это не может быть исходной точкой для переключения с темы на тему в искусстве. Жизнь, которой живет поэт, среда и мировоззрение неизбежно войдут в произведение, которое будет написано о прошлом жизненном этапе. Тяжелое и величественное прошлое скажется в новой теме, если к ней подошел поэт.

Нельзя требовать от молодых поэтов, рожденных войной, таких же по силе стихов о труде. Тема войны — вечная, разрабатывать ее поэты будут всегда. Стихи 40-х годов не похожи на стихи 30-х годов и 50-х. Но в этот промежуток может работать один и тот же поэт, и творчество его, как цепь, будет состоять из звеньев. Настоящий поэт сумеет сковать звенья вместе, более слабый создаст разрозненные книги, а просто версификатор сможет писать во время войны о труде, а во время мира об атаках с одинаковым профессиональным умением, душевным холодом и неправдоподобием.

В «Закарпатских стихах» уже видны подходы к новому звену, но это еще дальние подступы.

О форме. Тут упорные и яростные поиски. Поиски и незрелость сказываются на форме. Метания от ямба к свободному стиху, от белых стихов к точным рифмам, от ассонансов к полнозвучиям. В книгах можно найти разные голоса и нетрудно обнаружить иногда даже строки с чужого голоса. Но в лучших стихах всех книг — лаконичность, точность зрительной детали, прочность сюжетной конструкции и — в последних стихах — богатство красок. Краски в стихах появились только после войны. В первой книге все было землистое или заснеженное. Это были цвета войны, не камуфляж. Запад принес в стихи новые краски: оттенки черепицы, пестроту тканей. Закарпатье же — карусель всех цветов. Это пока еще отдельные мазки на палитре, не перенесенные на полотно, но лучше пробовать разные краски, чем, не задумываясь, писать одной. Правота художника здесь очевидна».

Попыткой осмыслить свое творчество поэтически являются и некоторые стихи из предлагаемой подборки стихотворений С. Гудзенко. Интересное явление можно наблюдать, изучая рукописи Гудзенко. Очень часто стихотворение, начатое как лирическое, от имени поэта, в постепенной переработке перерождается — и вместо «я» появляется «мы», и уходят нюансы, строки, строфы, несущие в себе точную биографическую привязку. Не всегда стихотворение от этого выигрывало, но чаще всего он просто оставлял на будущее работу над этими стихами, замышляя (судя по записям в блокнотах) большую автобиографическую поэму. И удивляет необычайная привязанность поэта к той воинской купели, что стала для него истоком неиссякаемой творческой силы. Закарпатье, Киев, Москва, Тува — в разных местах родились эти строки, но единым волнением вызваны: неизбывной тревогой последнего мига перед атакой. От него ведет он отсчет своей недолгой творческой жизни, с ним сравнивает и свои поступки, и чужие; о нем вспоминает при встречах с однополчанами, да и вообще с фронтовиками, каждому из которых ведомо это волнение.

Мгновенно разошедшийся тираж двух недавно вышедших книжек стихотворений С. Гудзенко («Стихотворения», М., Современник, 1985; «Дальний гарнизон», М., Советская Россия, 1984) свидетельствует о том, что и у нынешнего читателя растет интерес к этому самобытному, яркому поэту.

Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА

Фото А. Федорова.

«Я ЛЮБЛЮ ТВОЙ СВЕТ И СУМРАК...»

Подобно тому, как солдатами не рождаются, не рождаются и военными писателями, но война сделала из них именно таких художников, какими они стали,— «и убивали, и ранили пули, что были в нас посланы. Были мы в юности ранними, стали от этого поздними.

...Я все нежней и осознанней это люблю поколение, жесткое это каление. Светлое это горение».

Эти строки принадлежат Юрию Левитанскому. Его творчество, по словам Михаила Луконина, не только неразрывно связано с судьбой поэтов, пришедших с войны, но и заключает в себе то, что «переносит к новым людям, к новым временам, есть крылья поэтически осознанной и возвышенной жизни». Действительно, стихи Левитанского не о войне, а о жизни, они устремлены в будущее, и не случайно сегодняшние молодые люди с удовольствием поют «Сон об уходящем поезде», «Квадратного человека», «Диалог у новогодней елки», воспринимая эти стихи как сокровенную исповедь своего поколения.

Дороги войны привели Юрия Левитанского в Румынию, Венгрию, Чехословакию. Интерес к поэтической культуре этих стран во многом определил и его переводческие интересы. Благодаря мастерским переводам Левитанского советский читатель познакомился с творчеством Ярослава Ивашкевича, Бертольта Брехта, Владимира Голана, Дюлы Ийеша.

Серьезность судьбы поэта не исключает его улыбки. «Мне нравится иронический человек» — эти слова можно отнести и к самому автору, обладающему способностью тонко пародировать стиль своих товарищей по перу, свидетельством чему — книга «Сюжет с вариантами».

О том, как складывалась судьба художника, о памяти, о времени, о творчестве — беседа нашего корреспондента с Юрием Давыдовичем Левитанским.

— Юрий Давыдович, раньше о поэтах говорили: «символисты, футуристы, имажинисты», тут была своя условность. Теперь чаще пишут о поколениях. Вас, например, причисляют к военному, фронтовому. Как Вы к этому относитесь?

— Ну, что же, фронтовое поколение — это общность судьбы (а не поэтических пристрастий), это жизненная реальность — поколение существует (хотя многих, увы, уже нет среди нас), и вклад его в поэзию в достаточной мере весом и значителен. Семен Гудзенко мечтал о книге, где было бы собрано все о войне и о нас, безвестных ее рядовых. Осуществить свой замысел он не успел, но, если бы сегодня собрать то лучшее, что создано всеми нами, это была бы именно такая книга. И все-таки, говоря о поколении, не могу не сказать и вот о чем: с годами начинаешь куда осторожнее относиться ко всякого рода обобщениям, начинаешь понимать, что они, обобщения, не столь уж и плодотворны, что часто они рискованны, а порою даже опасны. При обобщении исчезает оценка личностного, индивидуального. Когда люди — винтики, тогда это значения особого не имеет, но когда люди — люди... Есть, несомненно, какие-то признаки, черты, связующие людей одной формации. Но признаки эти по преимуществу внешние, биографические, связанные с возрастом, временем появления, в принципе же поколение состоит из людей очень и очень разных. Если говорить о поколении литературном (в данном случае о поэтическом), то это еще более важно. Ибо главное в поэтах не то, что их о б ъ е д и н я е т, а то, что их о т л и ч а е т друг от друга. Поэт с того и начинается, когда обретает с в о е, и н д и в и д у а л ь н о е, делающее его не похожим на других.

И еще одно замечание, для меня лично весьма существенное. Поэты военного поколения — это не те, кто пишет непременно или только о войне. Это еще особое понимание цены человеческой жизни, чувства долга, товарищества, чужого горя, сострадания, верности, любви.

— Война была трагическим переломом в судьбе Ваших сверстников. А как до этого складывалась Ваша жизнь?

— Нормальное, не очень сытое детство, нормальная средняя школа, потом незабываемое: учеба в Институте философии, литературы и истории. Теперь уже, наверное, мало кто знает о нашем легендарном ИФЛИ. Институт был создан в 1934 году, и, по сути, это была первая после революции попытка создать подлинное учебное заведение такого высокого класса. Там были собраны лучшие научные силы страны, блестящий профессорско-преподавательский состав. Поступить туда было не просто, отбирали не по протекции, не по связям, как это бывало порою в недавнее время. В ИФЛИ серьезно изучались латынь и греческий, современные европейские языки. Правда, в отличие от Литературного института у нас не было творческих семинаров, но зато был литературный кружок, куда попасть было тоже не просто. Принимали «старейшие» среди нас молодых — для нас они были уже общепризнанными мастерами — П. Коган, С. Наровчатов, Ал. Леонтьев, К. Лащенко...[1]

Кружок формировал наш поэтический вкус, хотя в «обойму», как теперь говорят, наших кумиров входили поэты очень разные, разные и по направлению, и по духу, и по степени дарования, объединявшиеся по какому-то теперь не совсем уже мне понятному признаку близости к тогдашним нашим душам: Тихонов и Пастернак, Гумилев и Багрицкий, Ходасевич, Цветаева...

Происходило все это в сложные предвоенные годы, в самом воздухе уже ощущалось предгрозье. В ту пору мы были мальчишками, более чем юными, и поэтому, естественно, думали, рассуждали об этом в меру своего понимания. Головы наши были полны иллюзий, розового, полудетского представления о том, что такое война, как это будет.

— И, конечно, все было иначе, может быть, отсюда Ваши мучительные размышления, поздние прозрения?

— Хотя в самом воздухе уже буквально пахло войной, тем не менее начало ее нас ошеломило.

Я переходил на третий курс, готовился к последнему экзамену. В лингвистический кабинет, где я сидел в это утро 22 июня, вбежала девушка-студентка: «Война!» На какое-то мгновение мы словно оцепенели, а потом задвигали стульями, наскоро собрали книги и тетради и бегом вниз, на первый этаж. На импровизированном митинге, после страстных речей и дружного пения популярных в ту пору антифашистских песен, мы составили списки добровольцев и помчались в военкомат...

Мы были совершенно убеждены, что все будет так, как в песне, которую мы тогда пели,— «и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом». Мы очень верили, что на следующий же день немецкий рабочий класс протянет нам свою братскую руку, а где-то осенью мы, глядишь, победителями вернемся домой и продолжим учебу.

Увы, все было не так. Сегодня известны роковые, трагические просчеты того времени. Они обошлись не малой, а огромной кровью. 20 миллионов погибших в эту войну — очень страшная цифра, а ведь многие из них погибли как раз в силу того, что было «недоучтено», рассчитано неверно или вовсе не рассчитано.

Мы уходили на фронт, готовые без колебания отдать свою жизнь за Родину, за Сталина,— оба эти понятия были для нас тогда в равной мере святы, и сколько же понадобилось времени, чтобы понять, что истинно святым является и пребудет навечно лишь первое из них...

[1] Популярные в ту пору поэты-ифлийцы.

— Вы мало рассказывали о том, где воевали, что вместили в себя эти страшные четыре года, вспоминаются Ваши строки: «Выпала мне дальняя, долгая война».

— Итак, как я сказал уже, мы ушли на фронт добровольцами, я был зачислен в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, о ней, кстати, немало написано, издан целый ряд книг, в нее вошли молодые рабочие московских заводов, известные спортсмены. Нас вывезли под Москву, где наскоро обучали десантному и подрывному делу, но больше, пожалуй, строевому шагу, который нам в дальнейшем не очень-то пригодился...

В октябре 1941 года, когда фашисты были уже под Москвой, нас подняли ночью по тревоге, привезли в Москву, и наш батальон по иронии судьбы разместили в стенах Литературного института. С моим ближайшим другом Семеном Гудзенко (мы были в одном отделении, позже двумя номерами в пулеметном расчете) ночами стояли на часах у литинститутских ворот, несли патрульную службу, а днем рыли траншеи. Тогда не исключалась возможность боев в самом городе, и нашим предполагаемым участком обороны была именно эта часть города — от Белорусского вокзала до Пушкинской площади.

— Трудно представить себе, что Вы чувствовали тогда, что думали...

— Ну, если учесть, что нам было по 19 лет, а человеку в этом возрасте да еще воспитанному так, как мы, все казалось не столь трагично. Наш оптимизм не иссяк и тогда, когда начались первые серьезные бои под Москвой и мы лежали на том подмосковном снегу, как открытые мишени, в своих серых шинельках без маскхалатов, и, хотя нас учили стрелять из винтовок по самолетам, честно говоря, ничего из этого не получалось. Лежали, уткнувшись в снег, это было, что и говорить, страшно. Да и вообще из всех этих четырех лет войны 41-й год был самым тяжелым испытанием для каждого из нас, да и для страны в целом.

В 1942-м Семен Гудзенко написал ставшие потом известными строки:

Будь проклят сорок первый год
И вмерзшая в снега пехота...

— Стихи Гудзенко при всей своей мужественности отличались прямотой, прямой откровенностью...

— Да, именно так они воспринимались и тогда, и позже.

Когда мы узнали его стихи «Перед атакой», мы были потрясены. Я, лежавший с ним рядом, все это видевший, чувствовавший, не смог так сформулировать, сказать именно так:

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины...

Множество людей испытали это чувство, знают это ощущение, в том числе и воевавшие поэты, но найти этот образ, так сформулировать сумел именно он.

— Юрий Давыдович, вели ли Вы тогда какие-либо записи, писали ли стихи в то время?

— Ну, какие же записи в тех условиях, да потом по молодости лет об этом и не думалось. А стихи я начал писать еще в школе... В военные годы накапливался опыт, который предстояло еще осмыслить. Как писал позже Д. Самойлов: «И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось...»

О себе могу лишь сказать, что мне на осмысление понадобилось немало времени. Наверное, я многое написал прежде, чем по-настоящему осмыслил.

— Вы рано начали печататься, поэтическая судьба складывалась, как говорится, удачно. И все же Вы почти не переиздаете стихи тех лет, посвященные военной теме... Что это — нежелание возвращаться к тем дням?

— Стихов о войне я написал немало. В 1948 году вышла первая книжка «Солдатская дорога». Была хорошая пресса. Откликнулся тепло К. Симонов.

Пабло Неруда, с которым мне довелось встречаться, высоко оценил ряд моих стихотворений, а «Цыганку» даже перевел на испанский язык. Ярослав Смеляков любил многие мои военные стихи, говорил об этом в своих выступлениях. Да, это были стихи искренние, и все-таки в моем сегодняшнем понимании — без того серьезного осмысления, которое бы давало им право на переиздание.

— Мешало ли что-нибудь тогда осмыслению пережитого?

— Знаете, об этом как-то не принято вспоминать, но вскоре после войны сложился как бы официальный запрет на военную тему. Вся наша критика была полна укоров поэтам военного поколения: мол, сколько можно писать о войне? В этом виделся уход от действительности, от задач восстановления мирной жизни.

У меня в одной из старых книжек есть такие стихи:

А мы живем, и что ни говорите,
но та страна из крови и огня
для нас не отреченье, не укрытье,
не бегство от сегодняшнего дня.

То есть мы как бы оправдывались: тема войны была словно бы исчерпана...

— Юрий Давыдович, во многие сборники Вы включаете одно, как я понимаю, из первых послевоенных стихотворений:

В ожидании дел невиданных,
из чужой страны,
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.

— Вы сразу вернулись в Москву?

— Путь к ней был долгим. 9 Мая я встречал под Прагой. Был уже в чине лейтенанта, вроде бы весть о Победе носилась в воздухе, но точно еще не было известно. И вот, в ночь на 9 мая в какой-то словацкой хате, где я ночевал, будят меня хозяева: «Пан поручик, пан поручик! Немцы!» Я схватил пистолет, выскочил на улицу, а там идет пальба — «салют» из всех видов оружия — Победа!..

Потом еще была Маньчжурия, служба в Восточно-Сибирском военном округе. Только в 1947 году мне удалось демобилизоваться. Жил в Иркутске, там же выпустил несколько книг и только в 50-е годы вернулся в Москву.

— Вы часто называете себя «поздним»...

— Я уже говорил, что человек развивается в течение всей своей жизни, поэтому я не могу сказать, что закончил свое «формирование». Да, я называю себя поздним и при этом вспоминаю Пришвина, который говорил о себе: «Я поздний сорт». Так вот, я просто долго вызревал, многое, к сожалению, поздно осмыслил. Решающим был, конечно, XX съезд и связанные с ним перемены в нашем сознании, в нашей жизни. Пытаясь в те годы как-то осмыслить происходившее и происходящее, я написал ряд стихов, которые тогда не публиковались, но которые отражают мое тогдашнее состояние. Это были стихи о том, что мучило меня в ту пору; все новые и новые вопросы, хотя и с опозданием, вставали передо мной, и не всегда легко и быстро давался ответ.

— Хотя Михаил Луконин и писал, что Вы человек тихий, стихи выдаете скупо, как бы стесняясь, я все же рискну обратиться к Вам с просьбой. Может быть, Вы что-то вспомните из этих стихов?

— Ну вот одно из них, 1959 года, оно так и называется: «Вопросы».

Я рос в те незабвенные года,
овеянные пафосом начала,
где музыка ударного труда
так чисто и возвышенно звучала.

Хотя уже тогда в моей стране
внедрялся стиль наветов и допросов,
я оставался как бы в стороне
от этих сокрушительных вопросов.

Тогда, на рубеже сороковых,
их горечи покуда не отведав,
вопросов не ценя, как таковых,
ценили мы незыблемость ответов.

В раденье о голодных и рабах
вошла в меня уверенность прямая,
что путал Кант, и путал Фейербах,
и путал Гегель, недопонимая.

Еще не прочитав их ни строки,
я твердо знал — ну, как же, в самом деле,
напутали — ах, эти старики,
не знали, не смогли, не разглядели!

Сомнений дух над нами не витал,
и в двадцать лет, доверчивый не в меру,
уже скопил я круглый капитал
готовых истин, принятых на веру.

Старательно заученные мной,
записанные твердо на скрижали,
они меня, как каменной стеной,
удобно и надежно окружали.

Но время шло, скрипя на тормозах,
тащилось по невидимой спирали,
и старились ответы на глазах
и в возрасте преклонном умирали.

И вдруг, со всех сторон меня тесня,
бушуя, как мятежные матросы,
пошли неумолимо на меня
исторгнутые временем вопросы.

Засучивая с ходу рукава,
швыряют кулаки в меня тугие:
— А что? А как? А сущность какова?
А почему? А доводы какие?

На улице, в трамвае и в метро
иду сквозь эту шумную ораву,
орущую, прищурившись хитро:
— А почему? А по какому праву?

Да как же так! Ты был не так уж мал!
Ты шел в огонь, гранатами обвязан!
И нам плевать, что ты не понимал!
Ты должен был понять! Ты был обязан!

И я молчу, как в рот набрал воды.
И я молчу, как будто воем вою.
И ветер их тяжелой правоты
опасно шелестит над головою.

— Каждый нормальный человек в течение своей жизни проходит более или менее сложную эволюцию...

У меня есть основания думать, что та эволюция, которую прошли люди моего поколения, была одной из самых трудных, самых сложных и, может быть, самых трагичных. Тот перелом в нашей общественной жизни, который пришелся на конец 50-х — начало 60-х годов, совпал с годами нашей молодости, и перелом этот был весьма крутым, давшимся одним более легкой ценой, а другим — более тяжелой.

Горький когда-то советовал молодым: как можно больше читайте, как можно меньше верьте. Нас учили, пожалуй, по принципу обратному: читать меньше, а верить больше. Позднее нас приучали к мысли о том, что не всякая правда нам нужна, а потом оказывалось, и теперь мы говорим об этом открыто, что правда может быть только одна. Для нынешних юных людей это будет уже азбучная истина, аксиома, а ведь нам-то надо было истину эту выстрадать. Или разговор об искренности в литературе. Была в свое время опубликована в «Новом мире» статья Померанцева «Об искренности в литературе» — эта мысль считалась чуть ли не крамольной, и автору статьи ох как досталось! Поэтому революционные перемены, которые мы сегодня переживаем, не только радуют, но и вселяют большие надежды.

— Удавалось ли Вам и раньше публиковать стихи об острых, наболевших вопросах нашего времени?

— Думаю, что в какой-то степени удавалось. В поэзии всегда имелись две возможности выражения: прямого (ну, скажем, «Вы, жадною толпой стоящие у трона») и опосредствованного выражения через что-то («Белеет парус одинокий...»). По складу моего характера мне ближе последнее.

— Да, не могу удержаться, чтобы не процитировать вступление к Вашей книге «Кинематограф». Ведь это страницы истории Вашей жизни, современного Вам общества.

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
. . . . . .
Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак — старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с края перед камерой стою.
даже тем, что не играю, я играю роль свою.

— Да, это не история кино. Здесь разные этапы, события. К примеру, строчки «Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет» — для меня это не просто начало дня, а начало всего... Думаю, что это гражданственные стихи.

По-моему, гражданственность вообще неотъемлемое свойство поэзии фронтового поколения. Говорят, что сейчас «поэтическая грамотность» возросла необычайно, начинается чуть ли не инфляция стихотворного слова. Как Вам видится сегодняшняя литературная смена?

— Часто ко мне приходят молодые поэты, приносят стихи, и я не знаю, что им сказать. Все верно, хорошо, профессионально написано, есть поэзия, только вот поэта нет. Нет того нового, что бы я, как читатель, мог открыть для себя. Есть отраженный свет предыдущей поэзии, эксплуатация того, что уже открыли другие. Владимир Николаевич Орлов в книге о Блоке четко сформулировал то, с чего начинается поэт. Это происходит тогда, когда удается как бы освободиться от того гула, который живет в тебе с детских лет, проявить дерзость и создать свою гармонию. Конечно, создать свою гармонию удается великим, но хотя бы элемент этой гармонии каждый поэт должен создать.

В этом смысле мне интересны поэты, которые появились сейчас,— Жданов, Парщиков, Татьяна Щербина, они пытаются что-то найти, экспериментируют. Трудно да и рано, наверное, говорить сейчас о результатах, но можно надеяться, что люди, которые ищут, что-то и найдут.

В нынешней поэзии мало поиска. В чем причина этого, я точно не знаю. В какой-то степени виновата и наша критика, внесшая, как я думаю, немало путаницы в проблему традиции и новаторства. Меж тем, и об этом мне уже приходилось говорить, традиция русской поэзии (и пушкинской тем более) это и есть именно не повторение, а постоянное обновление и открытие. Каждый новый поэт, если он подлинный, неизменно привносит в поэзию нечто свое, и в этом смысле каждый новый поэт в какой-то степени новатор. Разве не «прибавили» к Пушкину Тютчев или Некрасов, Блок или Пастернак? А Маяковский — разве он ниспроверг традицию? Нет, он тоже добавил. Это та самая новизна, то самое «добавление», что и является сутью и смыслом развития. Писать стихи так же, как писал кто-то, задача не бог весть какая сложная, а именно это и происходит со многими, приходящими сейчас в поэзию.

— В беседе с Татьяной Бек в 1982 году Вы сказали, что есть интересные имена молодых поэтов, назвали Андрея Чернова, Михаила Поздняева, Олесю Николаеву. Прошло 5 лет. Оправдались ли Ваши надежды?

— Да, я не ошибся. Это люди талантливые, достаточно образованные, честные. Но судьбы-то у них, видите, как трудно складываются. Есть обстоятельства, объективно сдерживающие их развитие, движение. Ту же Олесю Николаеву (я ей, кстати, давал в свое время рекомендацию в Союз писателей) на бюро творческой секции поэтов дружно «прокатили», и лишь потом со скрипом она «прошла». Второй уже раз отказали недавно в приеме в Союз и Михаилу Поздняеву, поэту умному, тонкому, талантливому. Так же медленно и неохотно их издают. А тем часом на прилавках пылятся целые завалы книг, которые никто не раскупает.

Такова же до сей поры участь и других названных мною — никак не пробьется к читателю, скажем, Татьяна Щербина — да, стихи ее несколько усложнены, не всегда понятны — ну, и что же, разве одно это дает основание «держать ее и не пущать»?

Трудно им живется, ибо атмосфера нашего Союза писателей не меняется, не способствует выявлению новых поэтов. Если в журналах и появляется что-то, то благодаря личной инициативе отдельных людей, которые идут на риск и не боятся, как это ни странно звучит, выполнять решения съезда партии.

— Чем, на Ваш взгляд, объясняется спад читательского интереса к поэзии?

— На этот вопрос я бы задал встречный вопрос: а что вы имеете в виду, говоря о спаде? Что, на прилавках книжных магазинов лежит множество прекрасных книг, которые не покупают? Что, на вечера поэзии собирается так уж мало народу? Я хорошо знаю, как жадно ищут и с каким трудом находят не просто интересующие многих людей книги, а прямо-таки нужные им, необходимые. Я получаю большую читательскую почту (конечно, не я один), которая тоже не подтверждает высказанную вами мысль о спаде. Нет, нам на нашего читателя жаловаться просто грех.

Но обилие «серых» книг — этого, думаю, не может выдержать даже и наш, самый выносливый в мире читатель.

— Как Вы относитесь к современной форме работы с поэтической молодежью?

— В моем понимании лучшая помощь молодым (если они, безусловно, талантливы) — это не мешать им, не ставить искусственные препоны, печатать их, издавать.

— Вы многие годы занимались переводами...

— Да, действительно, пришлось немало заниматься и переводами. Я не случайно употребил слово «пришлось», скажу не лукавя, что понуждали к этому жизненные обстоятельства. Но при этом правда и то, что у нас сложилась одна из лучших в мире школа перевода. «Не было бы счастья, да несчастье помогло»: все лучшие поэты — Пастернак, Ахматова, Цветаева, Тихонов, Заболоцкий, Мартынов, Слуцкий, Самойлов и другие по разным причинам много сил отдавали переводам.

— Но ведь сделанное Вами отличается мастерством и подлинной любовью к поэтическому слову тех, кого Вы переводите. А между тем знаю Ваши грустно-иронические стихи об этом.

— Да, есть у меня такое стихотворение, никогда не публиковавшееся прежде, я написал его когда-то как бы в шутку, хотя некоторая горечь в нем проступает несомненно.

— Нельзя ли с ним познакомить наших читателей?

— Давайте попробуем:

Кругом поют, кругом ликуют.
Какие дни, какие годы!
А нас опять не публикуют.
А мы у моря ждем погоды.

А в наши ямбы входит проза.
А все прогнозы так туманны.
А нам пойти купить бы проса,
а мы все ждем небесной манны.

и вот певец недоедает,
не ест жиры и углеводы.
Потом ему надоедает,
и он уходит в переводы.

И мы уходим в переводы,
идем в киргизы и казахи,
как под песок уходят воды,
как Дон Жуан идет в монахи.

О келья тесная монаха!
Мое постылое занятье.
Мой монастырь, тюрьма и плаха,
мое спасенье и проклятье!

Мое спасенье и проклятье,
мое проклятое спасенье,
где ежедневное распятье
и редко-редко воскресенье.

Себя, как Шейлоку,— кусками.
Чужого сада садоводы.
А под песком, а под песками
бурлят подпочвенные воды.

А свечка в келье догорает.
А за окошком ночь туманна.
И только сердце замирает —
ах, донна Анна, донна Анна!

— На Западе распространен верлибр, он появляется и у нас. Не пропадает ли при этом сам стих?

— Верлибр, или свободный стих, возник в современной поэзии вполне естественно, как следствие ее развития, как одна из возможностей (в зародыше он возникал уже в прошлом веке и в поэзии русской, и элементы его можно обнаружить даже у Пушкина и Лермонтова). Бытует мнение, что верлибр что-то отнял у поэзии, лишил ее чего-то. Ну, скажем, рифмы. Я полагаю, что это принципиально неверно. Он, напротив, добавил нам некую иную возможность, которую доселе поэзия не знала.

— Только что в издательстве «Советский писатель» вышла Ваша книга «Годы». Расскажите, пожалуйста, о ней.

— Эту книгу составили стихи из сборников: «День такой-то», «Кинематограф», «Письма к Катерине, или Прогулка с Фаустом». Завершает ее небольшой раздел из моей новой книги, над которой я сейчас работаю,— «Белые стихи» (несколько стихотворений из нее опубликовано в четвертом номере журнала «Знамя»).

— А можно узнать подробнее, что значит название — «Белые стихи»? Зная Вашу поэтическую стилистику, можно предполагать, что это не литературоведческий термин.

— Эпитет «белый» является приметой возраста, состоянием души...

Время белых стихов, эти строки,
всего только время и сроки,
мгновенья и час
Обостренного зренья, последних прозрений,
последних надежд
и последних утрат.
Это возраст души...

Для меня это в самом деле совершенно новая книга, в ней нет цельного построения, а просто стихи, объединенные временем написания.

— Сорок с лишним лет прошло после Победы, а тема войны не выходит из поля зрения литературы и искусства. Значит, она далеко не исчерпана. Что меняется в ней, в отношении к войне?

— Меняется многое, меняется, как я понимаю, по двум причинам: во-первых, проходит время, оно открывает новый взгляд на события истории, а Великая Отечественная война для нас хоть и недавняя, но все же история, время позволило осмыслить многие события минувшей войны как бы на новом витке, на ином уровне. Во-вторых, сняты многие запреты, имевшие место в годы войны, в годы послевоенные. В этом смысле повесть «Двое в степи» Казакевича появилась как бы преждевременно, почему и вызвала в ту пору резко негативные отзывы критики. Нужно было время, чтоб появились такие произведения, как романы Бондарева и Бакланова. Нужно было еще время, чтобы появились книги Быкова, Адамовича, Кондратьева, Алексиевич. Нужно еще время, чтоб появились последующие книги, а они, несомненно, появятся. Меняется уровень осмысления, высота правды, да и само время.

— Юрий Давыдович, в общественной жизни многое обновилось, восстанавливаются утраченные в недавние годы ценности и понятия, оживилась журнальная периодика. Как Вы на это смотрите с высоты Вашего опыта?

— Не могу не радоваться переменам, когда речь идет о самом существенном. Восстановление забытых памятников культуры, литературы — это прекрасно. А главное, восстанавливаются основополагающие понятия, о которых мы, увы, несколько позабыли: совесть, честность, порядочность, искренность, доброта, человечность...

Беседу вела Анна ПУГАЧ.

С. Гудзенко, Ю. Левитанский. Венгрия, 1944 год.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Кир БУЛЫЧЕВ

ВЕДЬМ

Фантастическая повесть

Рисунки И. Мельникова

Поздно вечером с корабля «Гранат», который находился на орбите, заметили большой пожар. Пожар бушевал в степи, где располагалась исследовательская станция. В тот момент на станции было шесть сотрудников и один гость — Андрей Брюс. Брюс отправился на планету на корабельном катере, чтобы отвезти почту и оборудование для станции, забрать образцы и заболевшего сотрудника. Договорились, что Андрей Брюс останется на станции до утра.

Из экипажа «Граната» прежде никто не бывал на планете, и представление о ней оказалось самое общее. Известно лишь, что обитатели степи — дикие кочевники, постоянно воюют между собой.

Пожар, замеченный с «Граната», был не первым. За тот вечер на пункте связи зарегистрировали по крайней мере четыре пожара. Один большой — горела степь, три малых — результаты набегов и стычек.

Станция была надежно защищена от нападения дикарей, и поначалу пожар никого не встревожил. На всякий случай дежурный радист вызвал станцию, чтобы спросить, не требуется ли помощь.

Станция не отвечала. Радист доложил об этом вахтенному. Тот приказал выпустить «глаз» — спутник наблюдения — и остался в узле связи.

«Глаз» спустился к поверхности планеты и передал видеоинформацию. Горела станция.

Пылали конусообразные, похожие на шатры кочевников, здания. Огонь охватил даже планетарный катер, который стоял метрах в пятидесяти от шатров. Можно было угадать какие-то фигурки, что метались среди факелов. Дым, черный, густой и жирный, скрывая пожарище, тянулся на несколько километров.

Вахтенный разбудил капитана и распорядился готовить к вылету второй планетарный катер. На лайнере положено иметь два катера, один из которых в оперативной готовности. Но он-то и горел сейчас внизу, поэтому несколько лишних минут ушло на подготовку второго катера.

Капитан подтвердил распоряжения вахтенного. На катере отправились врач, второй штурман Гришин и два инженера.

Пока готовили катер, выдавали оружие и грузили медикаменты, на мостике обсуждалось, что же могло случиться.

Даже если случайно в каком-то из шатров возник пожар, его должны быстро загасить автоматы. Да и вряд ли пожар был настолько внезапным, что помешал станции выйти на связь с «Гранатом». Возможно, на станцию кто-то напал и это нападение застало врасплох даже опытного начальника станции Конрада Жмуду и капитана Космофлота Андрея Брюса.

Андрей был человеком энергичным, его томило вынужденное безделье на борту «Граната», который неспешно передвигался от планеты к планете, снабжая экспедиции аппаратурой и медикаментами и сменяя ученых. Когда Брюс предложил отправиться на планету, подменив штурмана, капитан «Граната» был рад оказать Андрею такую услугу. Теперь же получалось, что эта услуга могла обернуться для Брюса бедой.

Планетарный катер опустился рядом со станцией примерно через полтора часа после того, как на «Гранате» впервые заметили пожар. Пламя сожрало все, что было ему подвластно. От шатров станции остались лишь черные остовы, даже катер выгорел изнутри.

Среди углей и пепла удалось отыскать три трупа. В одном опознали Конрада Жмуду, два других были в таком состоянии, что опознать их можно будет лишь в Галактическом центре. Недалеко от сгоревших шатров была найдена Ингрид Хан, сотрудница станции. Она была в тяжелом состоянии.

Пока врач старался оказать на месте первую помощь, а один из инженеров работал с кинокамерой, штурман со вторым инженером пошли к заросшей

кустарником лощине. В этой лощине «глаз» обнаружил несколько небольших обтянутых шкурами шатров — там обитали кочевники.

Штурман и его спутник осторожно подошли к шатрам. Их встретили обитатели жилищ — грязные, первобытные, почти обнаженные люди, они знаками отрицали свою причастность к гибели станции, повторяя слова «октин хаш». Все же подозрение с дикарей не было снято, потому что штурман заметил в становище некоторые предметы со станции. Лица и руки у многих дикарей были измазаны сажей. Ясно, что они побывали на пожарище.

«Глаз» тем временем обследовал окрестности станции. Удалось увидеть и сфотографировать несколько групп кочевников. Среди них не было ни одного из троих исчезнувших со станции. Не исключено, правда, что все находившиеся на станции погибли. Невдалеке обнаружили логово хищных ящеров — тиранно-завров. А если станция погибла от их нападения?

Дальнейшие поиски пришлось прервать, так как врачу не удалось привести в сознание Ингрид Хан. Решено было срочно вернуть катер на корабль, а с рассветом возобновить поиски. «Глаз» же продолжал находиться над степью, регистрируя передвижения кочевников.

Утром катер вновь отправился на планету. Он опустился возле большого становища, километрах в тридцати от станции. Становище готовилось к перекочевке, и прилетевшие с корабля были встречены враждебно. Ни людей, ни предметов со станции найти не удалось.

...Андрей Брюс был благодарен капитану, который разрешил ему вести на планету катер и остаться там до утра.

Катер опустился на зеленой лужайке возле станции. Встречать его вышли все шесть сотрудников.

Когда ты впервые видишь людей и знаешь, что через день расстанешься с ними навсегда, то твое внимание выделяет одно-два лица.

Андрей знаком был с Конрадом Жмудой, начальником станции. Тот за прошедшие годы раздался, постарел и полысел, но не потерял могучей энергии и уверенности очень сильного и здорового человека.

Станция существовала на планете уже полгода, и ее сотрудники стосковались по гостям. Конрад долго тискал Андрея в объятиях, словно обрел потерянного брата. Затем Андрея представили другим ученым, и взгляд его отметил изящную женщину в шортах и безрукавке — Ингрид Хан.

В отдалении возле деревьев стояли люди.

От густого потока воздуха фигуры их колебались, словно плыли.

— А это кто? — спросил Андрей.

— Наши соседи,— сказал Конрад.— Беженцы. Я потом расскажу.

Они прошли внутрь конуса. Там было чуть прохладнее.

— Мы не включаем кондиционеры,— сказал Конрад.— Так здоровее. А то насморки, простуды. Но ночами здесь прохладно. Ты отдыхай. Сейчас разгрузимся и будем обедать. Вечером предстоит зрелище.

— Какое?

Вбежал маленький чернявый человек с трагически сошедшимися к переносице бровями, бросил мешок с почтой и выхватил из-за пояса бластер.

— Они как чуют! — крикнул он и кинулся к выходу.

— Что случилось?

Конрад открыл стенной шкаф, вынул оттуда другой бластер.

— Хочешь — погляди,— сказал он.— Только от шатра не отдаляйся. Они зубастые.

Андрей привык следовать советам опытных людей. С годами понимаешь, что любопытство — в самом деле порок, особенно в незнакомом месте.

Стоя в дверях шатра, он увидел, что над поляной кругами, быстро и суетливо, как летучие мыши, вьются темные гадкого вида метровые создания, с длинными острозубыми рылами, перепончатыми крыльями и короткими заостренными хвостами. Это были птеродактили.

Порой кто-нибудь из них пикировал вниз, норовя вцепиться зубами в человека или в один из ящиков, сложенных возле катера.

Конраду удалось подстрелить ящера, и тот рухнул на землю. Остальные, забыв о людях, кинулись на собрата.

Засмотревшись, Брюс не заметил, как птеродактиль выбрал объектом нападения его голову. Он так рванул Андрея за волосы, что у того из глаз посыпались искры.

Чернявый человек обернулся и выстрелил.

Птеродактиль упал на Брюса и сшиб его с ног.

Конрад подбежал к Брюсу и сказал, помогая ему встать на ноги:

— Я же просил тебя не вылезать.

— Ну и развели вы гадов,— сказал Брюс, приложив ладонь к затылку. Ладони стало тепло и мокро.

— Как воронье,— сказал Конрад.— Их тут много. Приспособились к помойкам. У каждого становища вьются.

Он поглядел на птеродактилей. Они торопились, доедали товарища.

— Теперь они нажрутся и улетят,— сказал Конрад.— Как бы только соседи не заметили...— И тут же добавил: — Заметили.

К ним бежали дикари, которые волокли по траве большую редкую сеть.

— А этим что надо? — спросил Брюс, разглядывая ладонь. Ладонь была в крови.

— Ты промой рану, может быть заражение,— сказал Конрад.

— Обязательно.

Дикари были невысоки, тонконоги, вся одежда — короткая кожаная юбка и ожерелье из зубов и камней. И странные прически: небольшой гребень поперек бритой головы. Они кричали и смеялись, белые зубы сверкали.

Ингрид вытащила из катера пластиковое полотно и начала покрывать им ящики и контейнеры, лежавшие на траве.

Дикари подбежали к шевелящейся куче птеродактилей, накинули на них сети, и, когда птеродактили сообразили, что, увлекшись обедом, потеряли свободу, было поздно. Они бились под сетью, стараясь взлететь, а мужчины дротиками и каменными топорами глушили ящеров. Стоял страшный гомон.

— Эй! — крикнул Брюс.— Ты куда?

Один из дикарей, пользуясь суматохой, подскочил к вещам на траве, откинул угол полога и потащил к себе серебряный плоский ящик. Ингрид увидела и стала тянуть ящик на себя. Ей на помощь пришел Конрад. Худой высокий мужчина в белых шортах громко увещевал грабителей. Язык, на котором он говорил, был цокающим, быстрым, отрывистым, словно стрекотание лесной птицы.

Увещевания, а главное, неудача внезапного нападения утихомирили охотников. Еще через три минуты они удалялись, волоча сеть, полную битых птеродактилей.

Доктором оказалась Ингрид.

Она выбрила Андрею волосы на затылке и обработала рану, потом залила ее пластиком. Придется походить денек с этой заплатой. Но если Брюс хочет, ему можно сделать прическу как у кочевника. Жан тоже собирается...

— Зачем ему?

— Он гениальный филолог. Вы бы послушали, какие беседы он ведет со степняками. Его приняли в стаю. Теперь испортят они нашего Жана. У них нет принципов, что хорошо, а что плохо. Готовы всю станцию ограбить. Белогурочка, милейшее создание — я ее очень люблю,— украла зеркало. И повесила на юбку, спереди, представляете? От их хохота мы всю ночь не спали. Вот и все. Можете идти. А то у птеродактилей на зубах бывает трупный яд.

— Я думал, что они крупнее.

— Они бывают куда крупнее. К счастью, сюда не залетают.

Пришел Конрад.

— Не жарко? — спросил он.— А то включим кондиционер.

— Нет, спасибо. А почему вы пускаете аборигенов на станцию?

— В помещения мы их не пускаем,— сказала Ингрид.

— Дежурный на пульте всегда может включить силовое поле,— добавил Конрад.— А ночью обязательно включает.

— Конрад их жалеет,— улыбнулась Ингрид.— Это его стая.

— А ты их не жалеешь?

— Жалею,— сказала Ингрид.— Но мы ничем не можем помочь.

— Что с ними случилось? — спросил Андрей и дотронулся до затылка. Пластик стягивал кожу и хотелось его содрать.

— Сегодня увидишь,— сказал Конрад.— К нам пожалует сам Октин Хаш.

— Я думаю,— сказала Ингрид,— что он пришлет своего палача.

— Приедет,— сказал Конрад.— Я с ним говорил. Он любопытен.

Андрей Брюс попросил воды, выпил маленькими глотками. Вода была свежей, родниковой.

— Наши соседи, по-здешнему — стая Белого волка,— объяснила Ингрид,— кочевали раньше километрах в двухстах отсюда. Мы расположили станцию в безлюдном месте. Даже вместо куполов поставили шатры, чтобы не выделяться.

— Они о нас все знали,— сказал Конрад.— Охотники сотню километров проходят в день. А верховой и еще больше.

— Они у нас были,— сказала Ингрид.— Мы для них другая стая. И очень богатая. Мы с ними наладили отношения — они к нам привыкли, но приезжали нечасто. Обокрасть нас трудно, а железа мы не даем. Но потом пришел Октин Хаш.

— Кто он такой?

— Аттила, местный Аттила,— сказал Конрад.— Он пришел со своей ордой с юга. Так нам говорили. Другие считают, что он всегда кочевал у Зеленой реки, а года два назад стал сильным.

— Ведьмы помогли,— заметила Ингрид, складывая инструменты и закрывая шкафчик.— Наша стая так считает.

— Ведьмы или организационные способности,— сказал Конрад.— Но суть в том, что он сумел подчинить себе все стаи этой степи и собирается в большой поход к морю. А войны здесь простые — смерть или рабство. Стая Белого волка тоже была разбита, и остатки ее бежали к нам под крыло. Октину Хашу это не нравится, он не хочет делить с нами степь, но и не смеет напасть.

— Как же называется ваша стая? — спросил Андрей.

— Стая Железной птицы,— ответил Конрад.— Только не воображай, что нам все это нравится. Если бы не уникальная фауна, не миллион загадок, мы бы отсюда улетели.

— Соблазн велик?

— Знаешь, как кличут нашу планету в Управлении Исследований? Эвур. Эв-ур — Эволюционный урод. Здесь все сразу — триас и мезозой, кайнозой и хомо сапиенс. Новые виды здесь появлялись, а старые не вымирали. Этого не может быть, но случилось. Ради того, чтобы здесь поработать, можно пойти на переговоры даже с Октином Хашем.

Филолог Жан заглянул в медпункт.

— Там Белогурочка,— сказал он.— Ее отец заболел.

— Что с ним? — спросила Ингрид.

— Был на охоте.

— Я пойду,— сказала Ингрид.— Скажи Медее, что пирог в духовке.

— Я сам посмотрю,— сказал Конрад.— Возьми с собой нашего раненого. Ему интересно.

Перед выходом Конрад выдал Андрею пояс с бластером.

— Здесь много неожиданных гадов,— сказал он.— Правда, сюда они редко суются: шумно, запахи чужие. И все же залетают.

Они пошли втроем. До шатров было метров триста. Впереди шагал Жан, неся саквояж с медицинскими инструментами, затем Ингрид. Андрей замыкал шествие.

Спутники Андрея выглядели опереточно — легкие рубашки и шорты, широкие пояса с бластерами на боку, высокие сапоги: типичные покорители звездных трасс из детского фильма.

Они шли по широкой тропинке. Трава была сочной, зеленой. Гудели пчелы, огромный, в пядь, зеленый кузнечик выскочил на тропинку, присел и сиганул метров на десять. Вереницей пересекали тропинку большие желтые муравьи, мелкие розовые бабочки густой стайкой вились над белыми шапками соцветий. Андрей отмахнулся от шмеля размером с кулак. Тот обиженно взревел, но отлетел.

Вблизи шатры стаи Белого волка оказались жалкими. Несколько жердей связаны сверху, оплетены ветками и кое-как прикрыты облезлыми шкурами.

Площадка вокруг чумов была утоптана. Удручающе воняло. Более всего от тушек птеродактилей: женщины разделывали их на открытом воздухе. Тучи синих мух реяли над ними. Женщины прекратили работу, глазели. Их заинтересовал Андрей. Незнакомый человек, одет иначе. Синие рейтузы, серебряные башмаки и белая безрукавка.

Голые детишки, все с косточками, которые они обсасывали — в становище было много мяса,— сбежались, чтобы потрогать гостей. Одна из женщин поднялась и отогнала их хворостиной.

Верхом появился парень в меховой юбке. Он спрыгнул с коня, шлепнул его по морде, что-то гортанно сказал.

Жан ответил длинной фразой.

Из самого большого чума через низкое отверстие выполз толстый старик. Сидя на корточках, он принялся хлопать себя по щекам.

— Это брат вождя,— сказала Ингрид.— Показывает, какое большое горе.

— Пошли в шатер,— сказала Ингрид.— Там мух нет.

В шатре было прохладнее. Глаза быстро привыкали к зеленоватой полутьме; внутри шатер оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Пахло терпко и остро: в середине дымил костер.

У костра на корточках сидела девушка. Она кинула в дым связку травы и поднялась. На темном лице светились белки глаз и зубы.

— Ты пришла.— Она легонько, на мгновение прижалась лбом к плечу Ингрид.

Куча тряпок и шкур за костром зашевелилась. Оттуда послышался низкий голос. Зацокал, заурчал. Жан ответил.

— Вождь был на охоте,— сказал Жан.— Его догнал лев.

Ингрид подошла к ложу раненого. Жан переводил ей.

Андрей понимал, что он здесь лишний, но выходить наружу, в жару и вонь, не хотелось.

Рядом с костром в землю было вкопано суковатое бревно. На сучьях висело оружие. Андрей подошел, разглядывая короткие копья с широкими каменными лезвиями, прямой зазубренный меч.

Девушка стояла к нему спиной, наблюдая за тем, что делает Ингрид. Наряд девушки ограничивался короткой юбкой, ладно сшитой из конской шкуры. Прическа странная: на висках волосы сбриты, на макушке торчат ежиком. Девушка почувствовала взгляд Андрея и обернулась. Глаза были светлые, внимательные. Андрей улыбнулся. Девушка после секундной паузы улыбнулась в ответ.

— Тебя я не видела,— сказала она.— Ты новый. Ты с неба?

— С неба. Ты откуда знаешь наш язык?

— Жан меня учит. Никто не знает язык людей неба. Я знаю. Я умная. Я — дочь вождя.

— Как тебя зовут?

— Биллегури, а твои люди зовут меня Белогурочка. Почему?

— Им лучше знать. Это хорошее имя.

В Белогурочке было что-то птичье — в посадке головы, настойчивом взгляде, тонкости костей. От плеча до небольшой груди шел светлый шрам. Белогурочка перехватила взгляд Андрея и сказала:

— Меня ударил врар, я упала с горы. И прямо на сук.

— Ты знаешь много слов,— сказал Андрей.— Кто такой врар?

— Это пещерный медведь,— объяснил Жан.— Их здесь не бывает, они живут к северу, где раньше кочевала стая.

— Мы раньше жили у леса,— сказала Белогурочка.— Потом пришел Октин Хаш и убил многих мужчин. И взял женщин. А мы убежали. Он хотел и меня взять. Вы будете с нами есть?

— Нет,— сказала Ингрид.— Мы будем есть дома.

— Жан боится нашей пищи,— сказала Белогурочка.— Он боится, что у него будет болеть живот от микробов.

Только когда стали прощаться, Андрей увидел отца Белогурочки. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Ингрид дала ему наркоз, и теперь он отдыхал от боли.

Белогурочка выпорхнула за ними на площадку. Андрею стало дурно от вони. Разделка птеродактилей подходила к концу. Дети гоняли собак, чтобы те не растащили мясо.

Подскакали два воина. Они подняли копья, приветствуя гостей. Один из них, одноглазый, засмеявшись, прощебетал длинную фразу.

Ингрид перевела Андрею:

— Он жалеет, что не смог утащить у нас блестящую коробку. Они страшные воришки. Если покопаться в шатрах, найдешь все, что пропало у нас за полгода.

Жан тоже смеялся. Белогурочка сказала:

— Брать чужое плохо.

Она посмотрела на Андрея снизу вверх. Она была на голову ниже его.

— Плохо,— согласился Андрей.

— У тебя на голове блестит. Это рана?

— Как ты догадалась?

— Ингрид всегда мажет раны жидкой мазью, которая потом твердая.

— Пошли,— сказала Ингрид.

Белогурочка смотрела им вслед. Она увидела, что Андрей обернулся, и крикнула:

— Ты красивый!

— Ну вот и поклонница,— сказала Ингрид.— Почему во всей Вселенной капитаны Космофлота пользуются такой популярностью у девушек?

— Не представляю. Раньше это говорили о гусарах.

— У них форма красивая,— сказал Жан.— Смотри под ноги! Змея!

Змея скользнула молнией и скрылась в траве.

Андрей принял душ. Ему казалось, что даже кожа пропиталась запахами становища.

За обедом Конрад сказал:

— Тебе повезло.

— Я рад, что побывал там,— сказал Андрей.— Это очень интересно. Только воняет.

— Я не об этом. К нас в гости пожаловал сам Октин Хаш.

— Аттила?

— Он умный человек. Я с ним разговаривал. Он осознает свою историческую задачу.

— Если историческая задача — грабить и убивать,— сказала Ингрид возмущенно,— то осознать ее несложно. Вам нравится суп?

— Необычно,— сказал Андрей.

— Мы здесь многому научились,— сказала Ингрид.— Знаем, какие травы полезны, а какие есть нельзя.

— Спасибо Белогурочке? — спросил Андрей.

— Она вам понравилась? Правда, замечательный ребенок?

— Сколько ей лет?

— Не знаю. Жан, сколько лет твоей Белогурочке?

— Здесь год немного длиннее нашего,— сказал Жан.— И потом в первобытном обществе другие мерки. Девиц отдают в соседний род, когда исполняется тринадцать-четырнадцать.

— А почему не отдали Белогурочку?

— Она была предназначена парню из стаи Динозавров. Но та стая полностью истреблена. Белогурочка — девушка-вдова. Это недостаток.

— Еще налить супа? — спросила Ингрид.

Пришел чернявый, ртутный, яростный Аксель Акопян. Присел за стол и принялся работать ложкой так, словно соревновался на скорость.

— Видели, какой дым? — сказал он.

— Мне говорили, что орда Октина Хаша захватила кибитки стаи Серой акулы. И был бой,— сказал Жан.

— Господи, когда это кончится! — воскликнула Ингрид.

— Я тупею от этих запахов,— сказал Конрад.— Здесь все пахнет.

Пышная добрая Медея, которая дежурила на кухне, принесла миску с тушеным мясом.

— Угадай, что это такое,— сказал Конрад.

— Лучше и не пытайтесь,— возразила Ингрид.— Я стараюсь не думать. Хорошо, что у нас запас консервов.

— Ничего особенного,— сказал Жан.— Это оленина.— Я покажу вам его рога. Два метра в размахе.

— Почему все так нелогично? — спросил Андрей.— Законы эволюции постоянны. Одно отмирает и уступает место другому.

— Здесь не уступило,— сказал Конрад.

— Сюда нужно экспедицию человек в сто,— сказал Аксель.— Я написал отчет, а в центре никак не раскачаются. Эта планета набита тайнами. Ты смотришь направо — так быть не может! Ты смотришь налево — такого не бывает, а оно есть.

— Андрею надо что-то показать. До темноты еще часа два,— сказал Жан.— Давайте, я покатаю его на флаере.

— Спасибо,— сказал Андрей. Ему было стыдно признаться в том, как сильно его тянет в сон. Впрочем, проницательная Ингрид угадала, что с ним творится.

— Никуда он не полетит,— сказала она.— Зачем спать во флаере, когда можно поспать в шатре. Человек впервые попал к нам. Вспомните, как вы здесь спали первые дни. Конрад, уступишь Андрею койку?

— А компот? — удивился Аксель Акопян.

— Пускай идет,— сказала Ингрид.— Через два часа мы его разбудим.

— Через час,— сказал Андрей.

Конрад разбудил Брюса через два с половиной часа.

— Ты не простишь, если я дам тебе спать до утра,— сказал он.

В руке он держал чашку кофе.

За окном было сине, почти совсем стемнело.

— Я себе не прощу,— сказал Андрей.— Спасибо, что разбудил. Со мной такого еще не бывало.

— Мы засекли со спутника,— сказал Конрад,— что Октин Хаш уже выехал. Хочешь посмотреть?

— А чего он к вам едет? — спросил Андрей, отбирая чашку у Конрада. Кофе был горячий и очень крепкий. Конрад постарался.

— Как соседняя держава. С визитом,— сказал Конрад.— Считается, что мы взяли под свою руку стаю Белого волка. И можем претендовать на их бывшие земли. Политика сложная.

— Вы взяли под свое покровительство стаю?

— Иначе бы их перебили люди Октина Хаша! Ты этого хочешь?

— Конрад, ты сердишься, значит, ты не прав.

— Просто замечательно, если ты сидишь в Галактическом центре и за тебя думает компьютер. А ты видел Белогурочку? А ты ее младших братишек видел? Они хотят жить, понимаешь?

— И вы решили встретиться с Октином Хашем?

— Это он решил с нами встретиться.

— Он вас считает богами?

— Религия их первобытна. Они одушевляют силы природы. Они еще не додумались до концепции бога в человеческом обличье. Поэтому мы не можем быть богами. У нашего племени много оружия и богатств. Покорить нас невозможно. Ему совершенно непонятно, чего же мы хотим. А любопытство — одно из первых человеческих качеств.

— А что тебе нужно от этой встречи?

— Только чтобы нас оставили в покое. Чтобы перестали нападать на наши партии. Степь велика. Пускай идут дальше. Эта земля,— Конрад сделал широкий жест рукой,— от озера до холмов — наша.

— Вождь стаи Железной птицы...

— Не могу же я объяснить Октину Хашу, что мы прилетели из Галактического центра для проведения комплексных исследований. С сумасшедшими здесь разговор короткий — дротик под сердце.

В дверь заглянула Ингрид.

— Едут,— сказала она.— Пошли в узел связи, поглядим.

Спутник связи завис над лагерем кочевников. Если бы сам великий Октин Хаш, повелитель северной степи, поднял голову, он мог бы заметить искорку — не более того.

На большом экране узла связи был виден клуб серой пыли. Октин Хаш уже несколько недель стоял на берегу небольшой степной речки. Люди и кони истоптали траву. Слабый ветерок оттягивал пыльное облако в сторону — из пыли, как из тумана, поднимались горбы кибиток, совсем иных, чем чумы у стаи Белого волка. Бивни мастодонтов были обтянуты кожей динозавров. Кибитки расходились радиально от центра лагеря, где стоял шатер вождя. Лагерь был огражден повозками, за которыми далеко тянулись хибары и навесы. Там жили рабы и слуги, а далее оказалась свалка — кости животных, навоз, ломаные телеги, ямы, куда кидали мертвых,— Октин Хаш любил порядок в лагере, но не интересовался, что творилось за его пределами.

Перед шатром Октина Хаша стояли высокие шесты с разноцветными тряпками, у входа горели два костра, наполнявшие пыльное облако оранжевым сиянием. Всадники в костяных шлемах, накидках из крыльев птеродактилей — высушенные когти торчат над плечами, как эполеты, с небольшими блестящими щитами из акульей кожи, горячили босыми пятками мохнатых лошадок, размахивали копьями, ожидая выхода вождя.

Два телохранителя, закованные в латы из кожи игуанодонтов, вышли первыми из шатра. Потянули, раздвигая, полог, и тогда, скрытый по колени в пыли, вышел сам Октин Хаш.

Он был мал ростом, на голову ниже людей, что следовали за ним. Корона из красных перьев лишь подчеркивала его малый рост. Одет он был скудно — лишь короткая юбка из тигровой шкуры. Вместо коня обнаженные рабы вели громадного ящера.

— Стегозавр,— сказала Ингрид.— Я покажу снимки — на них возят грузы через пустыню — целые караваны. Они тупы и послушны. А везет, как грузовик. Машина неприхотливая: поел травки — снова в путь.

Между вертикальными метровыми пластинами на хребте ящера было устроено сиденье из шкур. Второе, спереди, для погонщика. Подчиняясь удару копья, ящер покорно подогнул толстые ноги и коснулся брюхом земли. Два воина наклонились, чтобы вождь мог ступить на их спины. Оттуда — на спину ящера. Стегозавр поднялся и замер.

Всадники бешено закрутились вокруг, затем понеслись вперед, к проходу между повозок.

Ящер, не спеша переступая по пыли, двинулся вслед, как линкор за торпедными катерами.

— Они далеко отсюда?

— Часа через полтора будут. Надо готовиться. Жан, ты предупредил стаю?

— Сейчас схожу,— сказал филолог.

Конрад обернулся к Андрею:

— Логика порой не срабатывает. Он едет к нам установить мир. Казалось бы, замечательно. Но с ним скачут молодцы, которые могут вырезать всю деревню нашей стаи. Потому надо предупредить.

— Вы их будете прятать здесь?

— Они уйдут в лес. Так уговорено.

— Вы его впустите на станцию?

— Разумеется,— сказала Ингрид.—Он пускал Конрада к себе в шатер. Оскорбление — не пустить в дом.

— А соблазн не слишком велик?

— Разумеется, мы примем меры.

Андрей поглядел на экран. Спутник не выпускал из поля зрения посольство, которое шло к станции. Впереди носились всадники. Как пчелы, отрывающиеся от роя, они сновали в разные стороны и возвращались к громаде стегозавра. Колдуны и старейшины ехали спокойно, держась за хвостом ящера. Маленьким красным пятнышком покачивалась перьевая корона Октина Хаша между пластинами на спине стегозавра.

— Медея,— сказал Конрад,— проверьте со Стахом силовое поле. В станцию пропускаем только Октина и его советников. У вас час на то, чтобы решить, как это лучше сделать.

Андрей вышел наружу.

Громко стрекотали цикады. Быстрая тень беззвучно пронеслась над головой, и Андрей отпрянул к двери.

Два черных силуэта возникли у цепочки зеленых огоньков — границы силовой защиты. Огоньки у их ног на секунду погасли, затем загорелись ярким белым светом — в поле образовался проход.

Жан и Белогурочка подошли к Андрею.

— Вам цикады не надоедают? — спросил Андрей.

— Я привык,— ответил Жан.— Я их не слышу, как старые часы в комнате. Белогурочка решила побыть у нас.

— А остальные?

— Остальные отошли в лес.

— Почему ты не ушла со всеми? — спросил Андрей.

— Я хотела увидеть тебя,— сказала Белогурочка.

Жан сдержанно улыбнулся.

— Вы еще не привыкли к простоте чувств и отношений. Белогурочка всегда говорит, что думает.

— Андрей — твой друг? Почему он должен улететь?

— У меня дела далеко отсюда,— сказал Андрей.

— Ты охотник?

— Я караванщик.

Белогурочка обернулась к Жану, ожидая, чтобы он объяснил.

— Андрей хочет сказать, что он ведет повозки с товаром.

— Лучше, если бы ты был воином,— сказала Белогурочка.

Они вернулись в станцию. Там, на свету, Андрей смог разглядеть девушку. Она приоделась. На ней был короткий плащ из серых и черных перьев и несколько нитей бус из оранжевых острых зубов, из каких-то сушеных ягод. К сожалению, Белогурочка намазала брови сажей и на щеках нарисовала зеленые узоры.

— Красиво? — спросила она, перехватив взгляд Андрея.

— Не знаю,— сказал Андрей.— Я здесь первый день.

— Странно говоришь,— обиделась Белогурочка.— Один день, два дня, много дней — или красиво, или некрасиво.

— А это обязательно рисовать? — спросил Андрей.

— Обязательно. Это наш знак. Погляди.

Белогурочка протянула Андрею руку, на которой были вытатуированы такие же узоры.

— Когда я стану женщиной,— сказала она,— мне наколят на щеках такие рисунки. Я дочь вождя.

Они стояли в общей комнате станции. Еще днем здесь был беспорядок — складывали образцы и гру-

зы, полученные с «Граната». Сейчас все это убрали и комнату пропылесосили. Два кресла, самые красивые — их притащили из кают-компании,— стояли рядом у стены.

Белогурочка быстро прошла к креслам и села в одно из них.

— Ты садись рядом,— сказала она.— Ты будешь Конрад. А я буду Октин Хаш.

Андрей подчинился.

— Только Октин Хаш не сядет сюда,— сообщила Белогурочка.— Мы сидим на полу.

— А ты?

— Я привыкла. Мне здесь нравится. Жан сказал, что, когда вы будете улетать, меня возьмут с собой. Мне с вами совсем не страшно.

— А когда тебе страшно?

— Ты когда-нибудь бегал?

Андрей не понял.

— Бегал, чтобы тебя не убили? Других убили, а ты бежишь. И ждешь, чтобы убили. Октин Хаш убил моего друга. И потом убил мою мать.

Белогурочка подобрала ноги, усаживаясь поудобнее в кресле. Ноги были исцарапаны, на коленке белый шрам.

— Они не найдут наших в лесу,— сказала Белогурочка.— Они боятся ходить в лес ночью. А где твой нож?

— Мне не нужно.

— У твоих есть ножи, которые бьют издалека. Ты знаешь?

— Знаю.

— Октин Хаш хочет взять меня. Чтобы я жила с ним, варила ему мясо и родила ему детей.

— А он тебя видел?

— Он к нам приезжал, чтобы говорить о мире. Они сидели с отцом, и я приносила мясо. И он сказал отцу: отдай дочь — будем одна стая. А отец сказал, что я обещана. Октин Хаш смеялся и сказал, что он все равно возьмет меня.— Белогурочка помолчала.— Он всегда приходит говорить о мире, когда хочет убить. Я сказала Жану. Он идет вас убить. Жан сказал, что не боится.

Конрад вошел в комнату. Он был доволен.

— Зал для аудиенции готов. Жалко, что кресла не золотые,— сказал он.— Андрей, загляни в столовую. Жан сменит тебе заряд в бластере.

— Зачем?

— На усыпляющий. Если что случится, я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб.

— Все же опасаешься?

— Октин Хаш — завоеватель. Хоть первобытный, но завоеватель. А завоеватели сами изобретают себе мораль.— Конрад обернулся к Белогурочке: — Пойди на кухню. У Медеи найдется для тебя что-нибудь вкусное.

— Ты боишься, что Октин Хаш увидит меня? — спросила Белогурочка, легко вскакивая с кресла.

— А ты хочешь его видеть?

— Пускай Октин Хаш знает, что у меня есть большие друзья. А потом мы пойдем в поход и убьем его, правда?

— Иди на кухню! Кому сказал!

Белогурочка скользнула из комнаты.

Конрад нервничал. Он-то не был завоевателем.

Уже совсем стемнело, когда Октин Хаш подъехал к станции.

Конрад с Жаном вышли их встречать. Конрад позвал с собой еще и Андрея, потому что у того были серебряные башмаки и куртка с золотыми знаками. На станции ни у кого не нашлось более впечатляющего облачения.

Они стояли возле огоньков силового поля.

Небо с частыми дырками звезд, куда более яркое, чем над Землей, было зеленым там, где село солнце. Сквозь стрекотание цикад доносился заунывный вой.

— Волки вышли на охоту,— сказал Конрад.

Посольство показалось Андрею продолжением неба — из-за мерцания оранжевых звездочек. Звездочки перемещались и становились все ярче — всадники Октина Хаша держали в руках факелы. Отблески огня играли на блестящих боках стегозавра, который черной горой выдвинулся из тьмы. Погонщик коротко крикнул, и стегозавр замер. Его маленькие красные глазки отражали свет факелов и оттого казались злобными. Стегозавр медленно поводил головой, словно принюхивался к добыче.

При виде встречавших всадники завопили, размахивая дротиками и факелами. Стегозавр медленно опустился на брюхо.

— Приветствую тебя, Октин Хаш, великий вождь и мой брат,— сказал Конрад.

Жан переводил.

Несколько всадников спешились, двое подбежали к стегозавру и встали на четвереньки, подставляя спины вождю.

Конрад счел момент удачным для подготовленного сюрприза. Он поднял руку, и по этому знаку со станции включили летающую лампу. Прожектор, зависший над головами, вспыхнул неожиданно и ослепляюще. Андрей зажмурился.

За эту секунду все вокруг изменилось. Стегозавр взметнулся на массивные задние лапы, когти передних дрожали над головами всадников. Погонщик, не удержавшись, полетел вниз, неловко свалившись на самого вождя, и они покатились под копыта коней. Вопли, рев стегозавра, проклятия Конрада, стук копыт, звон оружия создавали такой яростный грохот, словно рядом кипела битва.

И уже в следующее мгновение, придя в себя, всадники ринулись вперед, построив заслон между вождем и людьми, и острый зазубренный наконечник копья закачался перед лицом Андрея.

Жан, бросившийся было на помощь Октину Хашу, налетел на воина, и тот одним ударом сшиб его с ног.

Резким клекотом послышался голос вождя.

Андрей, помогая Жану подняться, увидел, что тот уже стоит, подобравшийся, четкий и прямой.

Копья опустились. Жан произнес длинную фразу, прося прощения у гостей. Потом была пауза. Жан обернулся к Конраду.

— Я объяснил,— сказал он тихо,— что мы не желали зла. Что мы хотели только достойно осветить место встречи...

Тут заговорил Октин Хаш.

— Меня нельзя испугать,— переводил Жан.— Я ничего не боюсь, но вы напугали наших животных. Так не принимают высоких гостей.

Очень толстая женщина с раздувшимся от жира лицом — глазки щелками,— облаченная в громоздкую меховую шубу, с трудом нагнулась, подобрала с земли помятую корону из красных перьев, расправила и нахлобучила на лысую голову Октина Хаша.

— Мы уезжаем,— закончил перевод Жан.— И между нами будет война.

— Какая еще война! — не выдержал Конрад.— Мы будем говорить! Мы не сделали ничего дурного. Андрей, ну подействуй на них! Нам работать нужно. С ума сойти!

— Скажи ему, Жан,— Андрей не поверил в гнев вождя,— что мы не допускали мысли, что такой смелый вождь, как Октин Хаш, изменит свое решение из-за того, что над его головой зажегся свет.

Пока Андрей говорил, он не сводил взгляда с вождя. Ему показалось, что тонкие губы Октина Хаша чуть изогнулись в усмешке.

Октин Хаш ответил Андрею.

— Великий вождь,— с явным облегчением в голосе перевел Жан,— соизволил принять объяснения вождя стаи Железных птиц и будет с ними разговаривать. Куда надо идти?

Проход в силовом поле был раскрыт, и Октин Хаш смело пошел вперед. За ним ринулись толпой старейшины и воины.

— Погодите! — крикнул Конрад.— Жан, скажи ему, чтобы остальные ждали здесь.

Жан не успел перевести, потому что Ингрид, которая следила за этой сценой с пульта управления, включила вновь силовое поле и оставшиеся снаружи воины бились о воздушную стену.

Октин Хаш остановился.

— Почему они остались там? — спросил он.

— Здесь тесно,— ответил Конрад.

— Ночь холодна, и мои воины голодны. Кто их накормит?

— Этого еще не хватало! — вырвалось у Конрада.

— Он прав. Мы нарушаем закон степи,— сказал Жан.

— Скажите им, что пищу вынесут на поляну. Там свободно. Пускай они подождут немного. Пища скоро будет готова.

Когда Жан перевел, Октин Хаш, подумав несколько секунд, кивнул и приказал воинам ждать и не беспокоиться.

— Пускай откроют консервы,— сказал Конрад, зная, что каждое его слово слышно внутри станции.— И учтите, что там человек двадцать, не меньше.— Он первым подошел к дому, ворча: — Разорение, сущее разорение.

— Хорошо, что свита невелика,— сказал Андрей.

Октин Хаш сразу увидел два кресла. Он смотрел, как Конрад прошел к одному из них.

Октин Хаш отлично владел собой, Андрей отдавал ему должное. Ведь дикарь никогда не был внутри станции. Белые стены, белый пол, яркий свет, мебель — все это должно было его смутить. Спутники вождя были куда более взволнованны. Они уселись на корточки у входа, не смея ступить в глубь комнаты.

Конрад уселся в кресло, показав гостю на второе. Тот остался стоять.

Они же не сидят на стульях, вспомнил Андрей.

Вдруг быстрым, обезьяньим движением Октин Хаш подпрыгнул и опустился в кресло, поджав ноги.

Его спутники громкими возгласами встретили это достижение.

— Мы рады,— произнес Конрад, стараясь не улыбнуться,— что великий сосед пожаловал к нам с миром.

— Я тоже люблю мир,— ответил вождь. Глаза у него были черные, мышиные, острые.— Все, кто послушен мне, будут есть много мяса...

— Хо! Хо! — поддержали вождя его спутники.

— Октин Хаш предлагает вам отдать ему этот дом и все вещи. За это вы всегда будете сыты и довольны. Он знает, что у вас много мужчин и мало женщин. Он даст вам хороших женщин.

— Жан, передай нашему гостю,— сказал Конрад,— что мы не будем жить здесь долго. Мы не хотим власти над другими стаями. Мы хотим покоя. Нам нужно, чтобы воины Октина Хаша не нападали на наших людей.

— Он обвиняет тебя во лжи,— перевел Жан.— Он говорит, что мы взяли в рабство стаю Белого волка, которая убежала от Октина Хаша.

— Они не рабы нам,— сказал Конрад.— Они пришли по доброй воле.

— И ты дашь мне дочь их вождя по имени Биллегури. Мой благосклонный взгляд упал на нее.

— А она согласна?

— Ты спрашиваешь желания маленькой женщины?

— Так у нас принято.

Когда Жан перевел слова Конрада, степняки, сидевшие кучкой у дверей, возмущенно заворчали.

Октин Хаш улыбнулся — рот тонкой полоской протянулся до ушей.

— Белые волки трусливо убежали от меня. Они не достойны твоей заботы, брат.

Конрад обернулся к Андрею. Он был в тупике.

— Как его убедить?

— Стой на своем,— сказал Андрей.— Он же тебя испытывает. Как только отступишь в чем-то, он сразу сделает шаг вперед.

Октин Хаш смотрел на Андрея.

— Он просит меня перевести ваши слова,— сказал Жан Андрею.

— Переведите, ничего страшного.

Жан перевел.

Октин Хаш по-лягушачьи растянул губы, пожевал ими задумчиво.

— На моем совете,— сказал он,— младшие не смеют давать советов вождю. Или ты больший вождь, чем Конрад?

Андрей не успел ответить, потому что в зал загля-

нул Теймур и спросил, как давать пищу воинам? Удобно ли в пластиковых контейнерах? И как будут обедать вожди? Накрывать в столовой?

— Что он говорит? — Октин Хаш был насторожен и подозрителен.

Жан объяснил, что проблема в том, как кормить его воинов.

— Пища готова? — Октин спросил это по-хозяйски, уверенно.— Тогда я пошлю моего колдуна с вашими людьми, которые понесут пищу. Он должен очистить ее, потому что ваши люди могли ее испортить.

— Еще чего не хватало! — Конрад был искренне возмущен.— Зачем мы будем портить пищу? Мы же сами ее едим.

— Мы не знаем мыслей нашего уважаемого брата,— ответил Октин Хаш.— Может быть, смерть моих воинов доставит ему радость.

Конрад растерянно поглядел на Андрея.

Андрей понимал его. Конрад был уверен, что встреча с Октином Хашем должна быть своего рода научным развлечением. Кладом для этнографов и антропологов. Непосредственная беседа со степным завоевателем — скрытые камеры трудятся, чтобы не упустить ни мгновения. Подарки заготовлены, угощение для вождя стынет в столовой. Пораженный могуществом людей, Октин Хаш смиренно обещает более не нападать на полевые группы, не безобразничать, и в степи наступает блаженный мир. А Октин Хаш, оказывается, настолько первобытен, что на него не действуют элегантные интерьеры станции и могущество Конрада, который умеет зажигать солнце над головой. И вообще он не хочет преклоняться перед Конрадом. Он видит в Конраде степного вождя, столь же коварного и мелкого, как сам Октин Хаш. И вместо того чтобы выслушивать разумные предложения Конрада, он сам чего-то требует.

Андрей смотрел на тонкие руки Октина Хаша, которые плетьми высовывались из-под тигровой накидки. Руки были густо татуированы. Левую обвивал синий змей, хвост которого скрывался под тигровой накидкой, а голова лежала на тыльной стороне ладони. Другая рука была украшена узорами, среди которых угадывались зубастые рыбы.

— Мы недовольны,— услышал он голос Жана, который снова переводил.— Вы не отдали нам стаю Белого волка, вы не хотите мира. Значит, будет война. Мы сами отберем у тебя твоих рабов, а ты с веревкой на шее будешь идти за моей повозкой.

Говоря так, Октин Хаш не двинулся с места. Пока Жан переводил, он заинтересовался креслом, поковырял ногтем обшивку, затем принялся задумчиво чесать большой палец на ноге, став похожим на умную обезьянку.

— Мы не хотим войны,— сказал Конрад.— Мы могучие люди. Мы сильнее всех твоих армий, и ты об этом знаешь.

— Я об этом не знаю,— возразил Октин Хаш,— потому что мы еще не воевали. Но думаю, что мои воины сильнее.

— Что ему нужно? — спросил Конрад у Андрея.— Я ни черта не понимаю. Он в самом деле хочет с нами воевать?

— Вряд ли,— сказал Андрей.— Он даже не удосужился изобразить гнев. Спроси его, хочет ли он меняться с нами или торговать.

Октин Хаш кинул на Андрея острый взгляд. Жан перевел.

— Что вы мне дадите? — Октин Хаш рассматривал палец ноги.

— У нас есть пища, украшения, у нас есть котлы, чтобы варить еду.— Конрад задумался... Чем бы еще пожертвовать? Хорошо было капитану Куку. Он специально вез бусы для туземцев.

— Мы сами добудем себе пищу,— сказал Октин Хаш.— И у нас есть из чего ее хлебать. Нам нужно оружие. Железное.

— Мы не можем дать вам оружия и железа,— сказал Конрад твердо.— Потому что ты будешь убивать им других людей.

Вот зачем приехал Октин Хаш, понял Андрей. Все остальное — камуфляж.

— А зачем еще нужно железо? — удивился Октин Хаш.

— Железо нужно, чтобы строить и добывать руду, пахать поля и делать нужные вещи,— наставительно сказал Конрад, и его слова канули в пустоту.

— Железо нужно, чтобы завоевывать,— не менее наставительно произнес Октин Хаш, и старейшины, сидевшие на полу, закивали головами, поражаясь мудрости вождя.

Октин Хаш откинул полу своей накидки — у пояса висели два ножа в кожаных ножнах. Он не спеша вытащил один и протянул его Андрею, которого, видимо, считал более важным вождем, чем Конрада.

Андрей взял нож. Нож был из стали. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять. Но даже не это более всего заинтересовало Андрея. Он понял, что основой для клинка послужила прокатанная на заводе полоса стали, которую потом разрезали на куски и заточили. Разумеется, здесь никто еще не умеет выплавлять железо. Но откуда-то в лапы Октина Хаша попала настоящая сталь...

— Это хороший нож,— сказал Андрей и вернул его Октину Хашу.— Из чего сделана такая красивая рукоять?

— Рукоять сделана из зуба акулы,— перевел Жан и добавил от себя: — Это в самом деле сталь?

— Да,— сказал Андрей.— Но поговорим позже.

Из-под потолка прозвучал голос Теймура — тот включил внутреннюю связь.

— Пища для воинов готова. Белогурочка говорит, что им должно понравиться. Мы понесли ее к ограде. Где их контролер?

Октин Хаш даже не взглянул на потолок. Он не выпускал из руки ножа.

Конрад сказал:

— Октин Хаш просил, чтобы его колдун проверил пищу. Пускай он пойдет и проверит.

Октин Хаш выслушал перевод и кинул два слова толстой бабе в меховой шубе. Та захихикала и с трудом поднялась с пола.

— Андрей,— устало попросил Конрад.— Ты не проводишь его? И скорее возвращайся.

Андрей пошел к двери. Колдун за ним.

Снаружи у дверей станции уже ждал Теймур. Рядом на тележке закрытый котел и в ящике — груда лепешек.

Белогурочка стояла у самой стены, не решаясь выйти на свет, потому что совсем близко, за невидимой преградой, столпились воины. При виде пищи они зашумели, видно, в самом деле проголодались.

Колдун заковылял к тележке.

— Он что, пробу будет снимать? — спросил Теймур.

Колдун открыл крышку котла, и оттуда повалил мясной пар, при виде которого воины за оградой еще более оживились. Колдун ткнул толстым пальцем в Теймура и заверещал.

Теймур понял. Он зачерпнул поварешкой из котла и отхлебнул.

Воины, повинуясь знаку Теймура, чуть отошли от входа.

Теймур покатил тележку вперед.

— Вам помочь? — спросил Андрей.

— Нет, не тяжело. Подстрахуйте меня.

— Я подожду,— сказал Андрей.

Он держал руку на бластере.

— Медея! — крикнул Теймур.— Открывай проход. Обед везем.

Зеленые огоньки в проходе погасли. Затем загорелись красным цветом.

Теймур лихо вкатил тележку в проход, и воины сдвинулись, галдя, отталкивая его и протягивая лапы к лепешкам.

Андрей увидел, что колдун, видно, удовлетворенный, повернулся и вразвалку побрел внутрь станции.

Андрей решил не уходить, пока поле не будет восстановлено. А где Белогурочка? Андрей поглядел вдоль стены. Именно в этот момент все и началось. Когда Андрей снова поглядел на ограду, Теймура не было. Толпа воинов, лязгая оружием, уже вливалась в проход в силовом поле.

— Закройте! — крикнул Андрей.— Закройте!

Стало зябко, цикады замолкли, и слышалось лишь завывание ветра и треск огня — горела станция. Оранжевые языки пламени вырывались из круглых окон и дверей: зрелище было праздничным и даже веселым. Пламя искажало лица, играло на них, и потому Андрею казалось, что все вокруг смеются и гримасничают.

Воины и в самом деле веселились. Они тащили из пылающей станции вещи, назначение которых было им неважно — из любой можно извлечь выгоду. Даже в смутном состоянии ума Андрей все же отметил, что у воинов в изобилии мешки, которые они приторачивали к седлам. Значит, вся эта операция заранее подготовлена, может, даже требование накормить воинов — изобретение военного гения вождя. Странно, думал Андрей, почему они уверены, что победят?

Только тут он вдруг догадался, что его ведут, вернее тащат, что его руки обмотаны веревкой. И когда воин, который вел его, дернул за веревку, в голове так отдалось болью, что Андрей взвыл.

И тут же сквозь треск пламени, крики солдат и вой ветра он услышал знакомый высокий голос Октина Хаша. Воин, который тащил Андрея, откликнулся. И веревка ослабла.

Андрей перевел дух. Боль уходила медленно.

И тут Андрей увидел Теймура. Глаза его были полуоткрыты и тускло отражали свет пожара. Он был мертв. Возле него у опрокинутой тележки лежал на боку котел, куски вареного мяса валялись в траве. Еще сохранился запах похлебки. Воин, который тащил Андрея, наклонился и подобрал из травы кусок мяса, лепешку и сунул в сумку у пояса.

Андрей оглянулся — станция пылала. Неужели он остался один?

— Эй! — закричал Андрей. Он думал крикнуть громко, но голос сорвался.— Эй, кто здесь есть живой, отзовитесь!

Он услышал, как недалеко кто-то откликнулся.

Чем дальше они отходили от пожарища, тем темнее становилось. Андрей находился в сердце потока, который медленно стремился прочь от станции.

Вдруг по колонне прошло движение. Спереди донеслись крики. Издали им ответили другие. Воин, который тащил Андрея, остановился.

Рядом возник еле видный в темноте всадник. Андрей почувствовал: Октин Хаш.

Вождь сказал что-то и ткнул Андрея в висок рукоятью нагайки. Засмеялся и растворился в ночи. Воин снова потащил Андрея, через несколько метров Андрей понял, куда.

Их ждали повозки, запряженные быками. Туда переваливали мешки. Воин забрался на повозку, втащив затем Андрея. Андрей оперся о мешок и поглядел в небо. Ему показалось, что одна из звездочек движется. Может, уже спускается планетарный катер? Сколько прошло с момента нападения?

Повозка дернулась и резво покатилась по ровной степи. Высокие колеса не боялись кочек. Но трясло ужасно. Андрея вырвало. Страшно хотелось пить, хотя бы прополоскать рот, ныла голова. За день ей досталось дважды.

Воин вынул флягу — сушеную тыкву с водой, вытащил зубами деревянную пробку и поднес ко рту Андрея. В жизни еще Андрей не получал лучшего подарка. Вода была теплой, тухловатой, но это была настоящая вода. Когда Андрей напился, воин рассмеялся. Совсем молодой парень, волосы — гребнем поперек головы, шлем он держал на коленях — умаялся, волоча пленника. В темноте поблескивал панцирь.

Ах, какой предусмотрительный и умный дикарь Октин Хаш, думал Андрей. Он даже приказал повозкам подъехать ближе к станции, чтобы сподручнее увозить добро! А мы не удосужились понаблюдать за степью, когда к нам прибыли гости. Впрочем, если бы даже и наблюдали, вряд ли встревожились бы. Ну, едут по степи повозки — значит так надо. Чем могут угрожать повозки великой, несокрушимой станции?

Что дикари делают с пленниками? Приносят в жертву своим богам? Заставляют трудиться по хозяйству? А может, меняют на железо? Они сообразительные дикари. У них кинжалы из стальных полос. Откуда на этой планете могут быть кинжалы из стальных полос?..

По небу чиркнула светлая полоса — все ближе и ближе. Она стала настолько яркой, что осветила всю процессию, как молния близкой грозы. Под волнами дурноты мозг Андрея работал лениво, вяло. Это идет катер с «Граната». Вот он и прилетел. Сейчас рядом окажутся спокойные парни, они велят этим дикарям отойти в сторону, и врач даст Андрею обезболивающее...

Вокруг засуетились люди, крики усилились — даже не зная, что происходит, воины встревожились. Завопили погонщики, подгоняя быков, замельтешили всадники вокруг. Но светлая полоса скрылась за невысоким холмом, там, где слабым розовым заревом осталась станция.

Все правильно, понял Андрей. Они сначала должны опуститься на станцию. Они же не знают, что случилось. Они должны увидеть пожарище, они будут искать людей...

Над шумом поднялся пронзительный голос. Он отдавал команды. И тут же все стихло. Только скрипели колеса и ухали быки.

Караван повернул направо. Теперь все шли еще быстрее, зная, где можно спрятаться. Ну, куда же вы спрячетесь? Вы же не можете скрыть своих следов.

— Хэ! — сказал негромко воин, трогая Андрея за плечо.

Впереди горели костры. Их пламя освещало большое становище.

Посреди кибитки горел глиняный светильник. Воин, который привел Андрея, не опускал копья.

— Не надейся, наши и сюда заглянут,— сказал ему Андрей.

Полог откинулся, и, нагнувшись, вошел Жан. Лоб его был рассечен, и полоса засохшей крови пересекла щеку. Руки тоже связаны.

— Жан! — Андрей несказанно обрадовался, что он не один.— Ты жив!

— Я тебе кричал,— сказал Жан.— Только ты не услышал. А Конрада убили... И Теймурика.

— Держись,— сказал Андрей.— Успокойся.

Он сделал шаг к Жану, но воин ткнул его в грудь копьем.

И тут же в кибитку втолкнули Акселя Акопяна.

Тот молча отбивался. Глаз подбит, на щеке синяк.

— Вот нас и трое,— сказал Андрей.— Может, еще кто остался.

— Нет,— сказал Аксель.— Не надейся. Жан, ты здесь?

— Конрада убили,— сказал Жан.

— Наши прилетят, мы их разгоним.

— Они уже прилетели,— сказал Андрей.

— Я видел,— сказал Аксель.— Они нас ищут.

Вошел пузатый кастрат в шубе. Радостно улыбаясь, он уселся на шкуры.

— Объясни ему нашу позицию,— потребовал Аксель.

Но колдун заговорил раньше.

— Он велит нам раздеться,— перевел Жан.

— Это еще почему? — спросил Аксель.— Ты спроси — почему?

— Рабы ходят раздетыми,— перевел Жан.

— Какие мы к черту рабы! — возмутился Аксель.— Пускай он не надеется, что это ему сойдет с рук.

Но толстому колдуну все сошло с рук.

Через несколько минут пленники были раздеты догола. Жан и Андрей разделись добровольно и безболезненно, Аксель приобрел еще несколько синяков.

Колдун, глядя на эту процедуру, радостно хихикал, ковыряя в носу.

Потом в кибитке появился еще один персонаж — голый горбатый мальчишка. Он притащил ворох грязных шкур. В это надо было облачиться. И кувшин с водой. Пленники напились, но не спешили одеваться.

Колдун сказал, что рабам не положено другой оде-

жды. Эта одежда не хуже другой. Шкуры были грязными и кишели блохами.

Андрей встряхнул шкуру, которую взял из вороха. Поднялась пыль. Воины засмеялись. Колдун заверещал фальцетом, отмахиваясь от пыли. Андрей понял, что очень устал. Нервная реакция, глаза закрываются. Он присел прямо на земляной пол. На минутку. И больше ничего не помнил.

Колдун знал травы. Он знал, от какой травы болит живот, а какая затягивает раны. В воде, которую принес горбатый мальчик, был сок сонного корня.

Андрей все проспал.

Он не видел, как горбатый мальчишка притащил серой грязи и этой грязью пленникам измазали лица и голые ноги. Пришел еще один человек, с острыми тонкими ножами. Он смазал им головы жидкой глиной и соскреб волосы, оставив лишь валики, подобно петушиным гребням, отчего лица пленников изменились. Колдун сам нарисовал черной краской узоры на плечах и руках спящих пленников и остался доволен своими трудами. Он позвал Октина Хаша, который посмотрел на пленников и сказал, что колдун все сделал правильно.

Пленных перенесли в большую кибитку, в которой держали рабов, и они растворились в человеческом месиве: даже вглядываясь в лица, не угадаешь, кто раб, а кто профессор филологии или капитан Космофлота.

Добро же, награбленное на станции, было спрятано в ямах и колодцах, вырытых под некоторыми кибитками.

Предусмотрительные степняки успели вовремя. Над становищем появился планетарный катер.

Его встретили враждебно — десятки всадников мельтешили перед ним, угрожая копьями, кричали и плевали в штурмана. Тот был рад, что он в скафандре высокой защиты.

Штурмана отвели в кибитку, где на возвышении, покрытом шкурами, сидел маленький лысый человек с упрямым подбородком и узкими сжатыми губами, над которыми нависал тонкий нос.

Штурман пытался знаками показать, что хочет осмотреть становище. Маленький человек ел мясо, захватывая его с подноса длинными кривыми пальцами. Кости он кидал в угол. Там сидела старая женщина, которая хватала их на лету и обгрызала. Штурман не знал, что это мать Октина Хаша, которую тот кормил из милости.

Наконец маленький вождь поднялся и повел штурмана по становищу. Их сопровождала большая толпа дикарей. Штурман был очень упорным человеком. Он заглядывал во все кибитки, в том числе и в те, где жили рабы. Он видел спящих землян, но ни он, ни люди с «Граната» не отличили их от сотен других рабов. Убедившись, что в лагере нет пленников и ничто не связывает становище с гибелью станции, штурман доложил на «Гранат», что возвращается.

Страшно болела голова. Эта боль и разбудила Андрея. Еще не очнувшись толком, он попытался сжать себе виски и тут понял, что его голова изменилась. Рядом кто-то застонал. Андрей приподнял голову — человек, который лежал там, очень напоминал кого-то. Он был грязен, голова острижена, руки татуированы. Человек открыл глаза, и Андрей понял, что это Жан.

Акселя они отыскали в другой стороне кибитки. Он еще спал.

— Зачем им это нужно? — спросил Андрей.

— Они считают нас рабами,— сказал Жан.— И хотят, чтобы мы выглядели, как рабы. В мире должен царить порядок...

— Выглядели, как рабы...— повторил Андрей.— А может, они умнее? Может, они боялись, что нас будут искать?

— Не переоценивай их способности,— возразил Жан.— Я тут уже скоро полгода и убежден, что подобные мысли им в голову не могут прийти. Иной уровень развития. Будь они смышленее, они бы никогда на нас не напали. Это же безумие!

— Безумие?

Завозился, просыпаясь, Аксель. Андрей сказал ему:

— Нас превратили в рабов. Даже головы побрили. Так что не удивляйся.

— Что за черт! — Аксель ощупывал голову.— Зачем им это нужно?

— С первобытных времен мозг человека не так уж изменился,— сказал Андрей.— Разница лишь в характере внешней информации. Октин Хаш знает, как называются травы, умеет ездить на стегозавре и метать дротик. Мы знаем, как работать с дисплеем и включать свет.

— Он не глупее,— возразил Жан.— Он иначе устроен. Он не в состоянии предвидеть последствия своих поступков.

— Интересно, кто же тогда нас одурачил?

— Чего мы сидим? — Аксель подошел к двери кибитки и осторожно отодвинул полог.

Сквозь дверь пробивался сумеречный свет. Сколько же они проспали? Почти сутки?

— С ума сойти,— сказал Жан, словно угадал мысли Андрея.— Уже вечер. Они нас опоили.

— Надо бежать,— сказал Аксель.

— Куда? — спросил Андрей.

— В степь, к станции.

— Чтобы нас через десять минут догнали?

— Насколько я знаю эту местность,— сказал Жан,— здесь вокруг степь на много километров. В ней полно всяких тварей.

— Так что же, будем сидеть и ждать, пока нас поджарят?

— Я бы предпочел не спешить,— сказал Андрей.— Вернее всего, пока мы спали, здесь побывал катер.

— Так что же они нас не нашли? — обиженно спросил Аксель.

— Я бы сам не отличил вас от рабов.

— Это только предположение,— сказал Жан.

Пришли два воина, принесли котел с вонючей теплой похлебкой.

Ели Жан и Андрей. Ели с отвращением, и со стороны их попытки выловить из супа что-либо съедобное выглядели курьезно. Воины покатывались со смеху. Аксель категорически отказался есть.

— Быть гордым почетно,— сказал Андрей,— но полезнее остаться живым.

— Ценой унижения?

— У меня была тетя,— сказал вдруг Жан. Он отыскал деревянную плошку, вытер ее рукавом и зачерпнул жижи из котла.— Она очень смешно воевала с моей дочерью. На равных. Дочери было пять, а тетке пятьдесят шесть. Понимаешь, они ссорились на равных.

— Я тебя не понял.

— Мы с ними существуем в разных мирах, которые не соприкасаются. А ты стараешься навязать им свою собственную психологию.

Квалифицированный генетик, надежда факультета вдруг оказался рабом какого-то дикого племени — эта перемена в статусе оказалась для Акселя невыносимой, и Андрей Брюс понимал, что за парнем надо присматривать, он может наломать дров.

— Черт знает что! — Аксель метался по кибитке.— Мне бы бластер! Я бы уничтожил этого Октина Хаша. Если его не остановить, он убьет еще тысячи людей.

— Не родился бы он — родился другой,— сказал Жан.— Без этого истории не обойтись. Со временем и здесь додумаются до гуманизма.

— Мы, как старшие братья, обязаны вмешаться.

— И наказывать, если они будут себя неправильно вести?

— Наказывать и поощрять.

— Ты, как выяснилось, гуманный дрессировщик,— заметил Андрей, вытягиваясь на жестких шкурах. Укусила блоха.

— Это старый спор,— сказал Жан. Он сидел на земле и чесался. Видно, тоже одолели блохи.—

В Центре уже давно доказали, что естественное развитие цивилизации благотворнее, так как не создает дуализма в сознании, не готовом к восприятию идеалов.

— Чепуха. Если отнять у них детей и вырастить в нормальных условиях, они будут такими же, как наши дети. Сами же говорите, что мозг человека не изменился,— возразил Аксель.

— Значит, гуманная дрессировка с питомниками для детей. А стоит ли возиться? Может, взрослых ликвидировать?

— Зачем шутишь? Разве время шутить?

— Всегда время шутить,— сказал Андрей.

Он поднялся: заели блохи.

За стенкой кибитки послышались крики, свист, хохот — происходило что-то интересное.

Андрей подошел к пологу, приоткрыл его. Часовых у входа не было. В плечо дышал Аксель.

Зрелище было и в самом деле внушительным. Несколько коней, словно лилипуты — Гулливера, тащили по лагерю тушу динозавра. Туша была метров пятнадцать в длину, и толстый у основания хвост тянулся по пыли еще метров на пять. Вокруг туши прыгали ребятишки и суетились женщины. Тушу бросили на площади посреди становища. Появился жирный колдун. Его помощник нес за ним короткий широкий меч. Толпа загомонила в предвкушении зрелища.

Колдун взял меч и остановился у брюха динозавра. Он стоял так довольно долго, и толпа криками подбадривала его. Затем он сделал резкое колющее движение мечом, и меч вошел по рукоять в тушу динозавра. Взявшись за рукоять обеими руками, колдун старался распороть грудь чудовища. Ему было трудно — надутое лицо стало мокрым от пота.

Отбросив меч, колдун сунул обе руки в тушу и резким движением вырвал сердце динозавра. Сердце было большим, тяжелым, оно обвисло в руках жреца. Толпа завопила от восторга.

С двух сторон к старому колдуну подскочили воины и подхватили тяжелое сердце. Подняв его на руках — кровь капала им на лица и плечи,— они понесли его к Октину Хашу.

Тот вытащил кинжал, отрезал полоску мяса и поднес ко рту. Он жевал, а толпа прыгала от радости.

— С ними ты собираешься воевать? — спросил Андрей, оборачиваясь к Акселю.

Аксель исчез.

— Жан, где он? — спросил Андрей.

Жан откинул полог и заглянул в кибитку.

— Там его нет,— сказал он.

— Так я и думал. Он сбежал!

Прямо над головой раздался резкий крик.

Октин Хаш подъехал на коне незаметно. Его рот был измазан кровью.

Жан тихо ответил.

— Что он спросил?

— Он спросил, где третий. Я сказал, что скоро вернется. У него болит живот, а он не хочет гадить в кибитке.

Октина Хаша ответ не удовлетворил. Он громко свистнул. Тут же все в лагере позабыли о динозавре. Поднялась суета, словно в муравейник капнули кипятком. Воины затолкали пленников в кибитку.

— Идиот! — Жан ударил кулаком по колену.— Мальчишка!

Неожиданно — как будто остановились часы — суматоха улеглась.

Один из воинов, что стояли в дверях кибитки, сказал что-то.

— Он говорит, поймали,— сказал Жан.

Октин Хаш вошел в кибитку.

— Плохой раб не нужен хозяину,— сказал он, глядя на Андрея и чуть улыбаясь.— Ты понимаешь, вождь.

Жан добавил от себя:

— Я боюсь, что его убили.

— Я тоже,— сказал Андрей.

Октин Хаш спокойно слушал, как разговаривают пленники.

Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октин Хаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел.

— Что еще он придумал?

— Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь. Тебя ждут ведьмы. А я останусь здесь. Я ему нужен. Я знаю их язык. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться.

— Что это за святилище?

— Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, ничего интересного.

Полог откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо. Визгливый голос наполнил кибитку.

— Он говорит,— в голосе Жана было отчаяние,— чтобы ты выходил.

— Ясно,— сказал Андрей, стараясь, чтобы голос его звучал бодро.— Ты жди меня. Все кончится хорошо.

Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет.

Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись.

Колдун покачивался в дверях.

Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин.

Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней. Ноги Андрею связали под животом коня. Рядом ехали воины.

Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры — остались лишь громадные клыки мастодонтов. Пыль от конских копыт завилась смерчем.

На «Гранате» тоже видели этот клуб пыли — серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальное увеличение — отряд состоял из степняков, их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники. И отметил этот факт в журнале наблюдений.

Отметил он также и то, что, едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи Белого волка. Приблизившись к становищу Октина Хаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм невдалеке от становища и там спешились.

Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной темно-зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки: далекий рев и уханье какого-то зверя, возникший из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна... Впереди загорелись фонариками желтые глаза.

— Йиий-хо! — завопил воин, что ехал рядом с Андреем, и ударил пятками в бока коню.

Тот рванулся вперед. Воин метнул копье, раздалось рычание. Огоньки исчезли.

Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза, словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его.

— Что ж тебе сказать? — ответил Андрей.— Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям.

— Хо! — сказал колдун, словно был удовлетворен ответом.

Через несколько минут отряд приблизился к куще деревьев. Они окружали низину, в которой, журча по камешкам, бил родник.

Воины спешивались. Видно, решили остановиться на ночь.

Андрей был несказанно рад: связанные ноги затекли, и все тело ломило — на коне он не ездил лет десять, без седла вообще никогда.

Колдун достал кремень, трут и стал высекать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костер.

Странно, подумал Андрей, какого черта они выехали вечером и через три часа остановились на ночевку? Почему не отправиться в путь с утра?

Где-то шумела речка — ночью звуки разносятся далеко.

Воины развязывали мешки, висевшие у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему же хотелось одного — вытянуться во весь рост и утихомирить боль в ногах и спине, но мешали путы.

Не спалось. Крутилась усталая мысль: как убежать?

Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы о кстати попавшийся корень и на быстром коне умчится навстречу ветру, где ждут его друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была замотана надежно.

Когда все тело насторожено, мозг оставляет бодрствовать малый свой участок, и от любого прикосновения, от звука ты просыпаешься, но остаешься недвижен. Ты среди врагов...

Андрей проснулся, но не открывал глаз. Он ждал. Чья-то рука ощупала его лицо. Пальцы были жесткими. Потом к уху прикоснулись теплые губы, и, как дуновение ветра, послышался шепот:

— Андрей!

Андрей открыл глаза и очень осторожно повернул голову.

Начинался рассвет, воздух был синим. Он увидел, что рядом чья-то голова и блестят, отражая свет звезд, глаза.

— Тихо-тихо,— прошептала Белогурочка.

Андрей заметил, как блеснуло лезвие ножа. Нож врезался в веревку, он быстро и легко пилил ее. Веревка лопнула, лезвие соскочило и полоснуло по руке. Было почти не больно, но сразу пошла кровь. Андрей прошептал:

— Ноги тоже.

Тень заслонила звезды: Белогурочка склонилась к ногам.

— Ползи за мной,— сказала она, выпрямляясь.

Андрей медленно приподнялся, колено натолкнулось на руку воина, спавшего рядом. Он еле подавил крик, метнувшись в сторону.

— Не бойся,— шепнула Белогурочка.— Он не живой.

Вот и край леса. Степь была серебряной от света луны. Прямо перед ним стоял всадник, слишком большой на фоне неба.

— Это мой брат,— сказала Белогурочка.

Всадник держал на поводу двух коней.

— Только не верхом! — чуть не вырвалось у Андрея.

Без стремени забираться на коня было неудобно. Андрей сорвался. Конь переступил копытами и вдруг заржал. Брат Белогурочки рванул Андрея за локоть, помогая взобраться на коня.

Получился шум.

В то же мгновение сзади из рощи раздался крик.

— Скорее! — крикнула Белогурочка. И что-то еще, отрывисто, брату.

— Ий-ех! — крикнул тот.— Ий-ех!

Его крик потонул во взрыве конского топота и оглушительных воплях. Из степи неслись навстречу всадники. Конь Андрея закрутился на месте. Белогурочка, которая уже твердо сидела верхом, ухватила за гриву коня и повлекла его за собой, навстречу всадникам, которые пролетали совсем рядом, стремясь к роще.

Андрей и Белогурочка поскакали прочь.

— Это мои! — крикнула Белогурочка.

Сзади донеслись вопли, звон клинков, визг, ржание лошадей.

Светлело. Степь пошла под уклон. Внизу было неровное море тумана, и Белогурочка постепенно проваливалась в него. Туман подступал к брюху коней, затем невесомой мутью скрыл Белогурочку по пояс, по грудь, по шею — и с головой. Она пропала в тумане. Ничего не было видно. Только стук копыт впереди и крики сзади.

— Осторожно! — крикнула Белогурочка из тумана.— Тихо езди. Будет вода!

Конь слушался плохо, словно понимал, что его всадник неуверен.

Вода журчала рядом. Сквозь журчание прорвался всплеск, покатился камень. Туман отнесло ветром, и Андрей увидел, что впереди широкая неспокойная полоса воды.

— Эй! — негромко окликнула его Белогурочка.— Ты живой?

— Все в порядке,— сказал Андрей.

Переправа через речку, оказавшуюся хоть и мелкой, но очень широкой, заняла много времени. Потом берег полого пошел наверх, и еще через несколько минут они выбрались из тумана.

Андрею казалось, что ни один звук не вырывается из-под белой ваты тумана. Белогурочка прислушалась, сказала:

— Можно немного отдыхать.

— Как ты меня нашла? — спросил Андрей.

— Наш человек смотрел за вами.

Быстро светало. Словно отдохнув за ночь, в мир возвращались краски. Лоб Белогурочки был перетянут обручем, за него заткнуто большое синее перо, словно Белогурочка играла в индейцев. Она походила на мальчишку. Волосы острижены коротко, торчат бобриком, тонкий нос с горбинкой, раздутые ноздри, впалые щеки, глаза внимательные, настороженные. За широким поясом два ножа.

— Они за нами гонятся? — спросил Андрей.

— Не сейчас. Позже. Но они не успеют.

— Объясни,— сказал Андрей.

Ему очень хотелось сойти с коня: он все-таки не создан для верховых прогулок. Но перед девушкой было неловко признаваться в этом. Она казалась девицей-кентавром — одно целое с конем.

— У нас мало воинов,— сказала Белогурочка.— Совсем мало. Сколько пальцев на руках. Понимаешь?

— Десять.

— Десять. И еще два. И отец мой больной. Отец сказал, Октин Хаш нарушил мир. Октин Хаш — враг. Враг наш и наших друзей. Ты понимаешь? Он убил Конрада. Он убил Медею. Он увел в плен трех мужчин.

— Акселя убили?

— Акселя убили. А мы не могли убить Октина Хаша. У него много людей. Они смотрят. Потом мой брат прискакал и говорит: того, кто прилетел вчера, повезли к святилищу ведьм. С ним две руки воинов и колдун. Тогда я сказала: мужчина, который прилетел вчера,— великий вождь Андрей. Отец болен. Нам нужен новый вождь. Ты будешь мой мужчина. Ты понимаешь?

— Почти все,— сказал Андрей, сдерживая улыбку. Он и не подозревал, что его судьбой намерен распоряжаться не только Октин Хаш.

Белогурочка угадала улыбку в его глазах.

— Не смейся! — она ударила коленями коня, и тот взвился на дыбы.— Ты будешь смеяться — я тебя убью. Нельзя смеяться над дочерью вождя!

— Я не смеюсь,— сказал Андрей.— Рассказывай дальше.

— Мы догнали вас у маленького леса, где надо спать.

— Почему мы выехали вечером? — спросил Андрей.— А потом остановились?

— Это ясно,— сказала Белогурочка. Почему-то она полагала, что ясное ей должно быть ясно Андрею.

Она замолчала, прислушиваясь. Последние звезды погасли, где-то в тумане у воды глухо запела птица.

— Все,— сказала Белогурочка.— Катурадж.

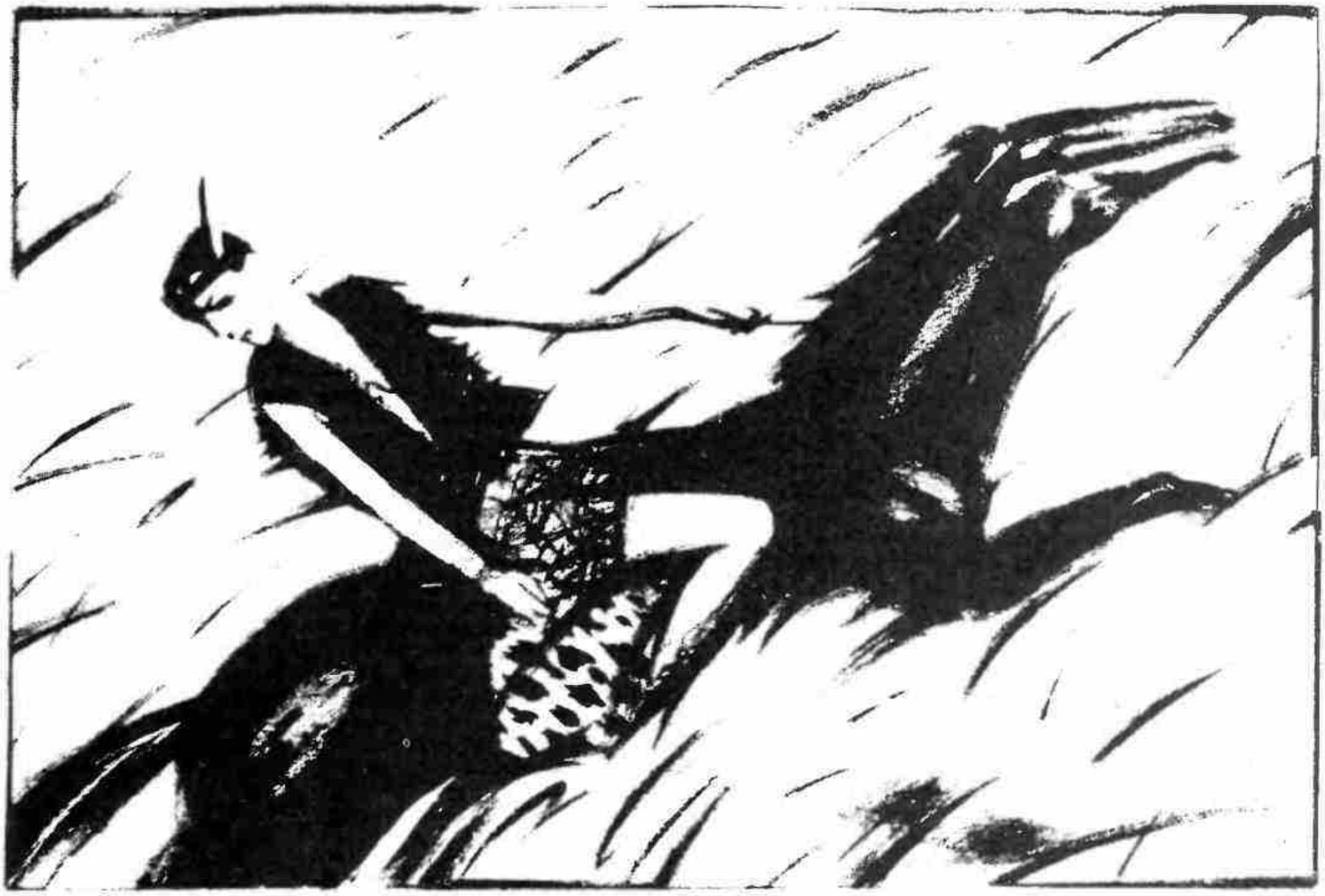
— Что?

— «Катурадж» — это значит «прощай».

— С кем ты прощаешься?

— С братом,— сказала Белогурочка.— Его больше нет.

— Он умер?



— Он ушел туда,— Белогурочка показала вверх, на редкие перистые облака.

Лицо ее было спокойным. Непонятно было, горевала она или смирилась с неизбежным.

— Это все я придумала. Как я тебя разбужу и выведу. Один человек рядом с тобой проснулся. Я его убила. Я тебя вывела. И мои братья напали на колдуна и его людей. А потом поскакали в другую сторону. Колдун думает, что ты вместе с ними. И они скачут за моими братьями. А мы перешли реку.

— Они догнали братьев?

— Они догнали одного брата... другие ускакали.

— Ты так далеко слышишь?

— Я слышу тут,— она показала себе на грудь.— А тут,— она показала на ухо,— я слышу, как колдун и его люди вернулись в маленький лес и теперь ищут наши следы. Скоро они поскачут сюда.

— Нам надо спешить?

— Подожди.— Белогурочка соскочила на землю. К куску кожи, который заменял ей седло, была приторочена сумка. Она достала оттуда два куска вяленого мяса.— Мы будем есть.

Андрей подчинился. Он не понимал, почему сначала они так спешили, а теперь должны ждать.

— Нас не догонят? — спросил он.

— Немного не догонят,— сказала Белогурочка.

Она уселась, скрестив ноги, на покрытую росой траву и принялась отхватывать куски мяса белыми крепкими зубами.

— Ешь,— сказала она, заметив, что Андрей держит мясо и прислушивается.— Ты мужчина, тебе не должно быть страшно.

— Согласен,— сказал Андрей.— А зачем меня повезли в это... святилище?

— В святилище ведьм? Ведьмы тебя ждут. Ты особенный. Ведьмы будут довольны. Они помогут Октину Хашу.

— Очень приятно,— сказал Андрей.

— Это неприятно.— Белогурочка не шутила.— Потом тебя отдадут великой рыбе. Катурадж.

— Ты не хотела, чтобы меня отдали ведьмам?

— Зачем нам мертвый вождь? — удивилась Белогурочка.

— Ты права,— согласился Андрей.

Туман упола, словно втянутый рекой. Открылся дальний берег — он полого поднимался, переходя в ровную степь, и далеко, у самого горизонта Андрей различил темное пятно — рощу, где он ночевал. У того берега стоял небольшой ящер и лениво поводил головой, словно раздумывая, то ли ему окунуться, то ли лучше погреться на солнце, край которого уже показался над горизонтом.

Андрей поглядел вдаль и увидел, что от рощи к реке скачут маленькие всадники.

— Смотри, Белогурочка!

Ящер побежал от воды, навстречу всадникам.

— Ты почему стоишь?!

— Сюда не достанет,— сказала Белогурочка.

И тут Андрей услышал глухой, нарастающий шум, в нем была такая грозная настойчивость, что Андрей замер, глядя туда, где в остатках тумана нечто огромное и несокрушимое двигалось вверх по течению. Он даже непроизвольно отступил на несколько шагов вверх по склону, но остановился. Белогурочка не двинулась с места.

Всадники заметили беглецов.

Они стали осаживать коней. Один из них поднял лук и выстрелил через реку. Стрела не долетела до Белогурочки. Тогда самый отчаянный из воинов ударил коня хлыстом, тот подчинился хозяину и помчался.

Словно расстилая гигантский сверкающий ковер, округлым валом поднималась волна, выталкивая пеной мирно журчавший слой воды.

Всадник, который столь неосмотрительно подскакал к реке, разворачивался; конь его от испуга крутился на месте и, когда вал был уже близко, сбросил всадника. Их обоих подхватила вода, завертела...

Река стала вдвое шире.

Угасающий грохот волны дополнился звонким смехом Белогурочки.

— Ты что? — спросил Андрей, все еще потрясенный.

— Ты видел, как смешно? — сказала она, вытирая слезы.— Йеех! И нет его.

— Не знаю,— сказал Андрей.— По-моему, это не смешно.

— Он был враг,— пояснила Белогурочка.

— Скажи,— спросил Андрей.— А далеко отсюда море?

— Море?

— Большая вода. Очень большое озеро, которому конца не видно.

— Большая вода — полдня пешком.

— Волна приходит каждый день?

— Каждый день. На рассвете.

— Значит, каждый день на рассвете по реке проходит приливная волна. И все об этом знают. Поэтому колдун выехал вечером, чтобы до утра успеть перейти реку. И ты не боялась, что они нас догонят.

— Конечно. Если ты знаешь, зачем спрашиваешь?

— Что же дальше?

— Дальше мы пойдем к месту, где гора разрезана кинжалом,— сказала Белогурочка.— Там будут ждать мои братья. Пора.

Кони трусили резво, утро было прохладным и влажным.

— Нам долго ехать? — спросил Андрей.

— Долго. Только не очень. Твоя стая погибла,— сказала Белогурочка.— Теперь ты в стае Белых волков. Мой отец умрет, ты будешь наш вождь. Хорошо?

— Я думаю, что моя стая не погибла,— сказал Андрей.— За нами прилетят.

— Это хорошо,— сказала Белогурочка.— Они придут, и мы вместе убьем Октина Хаша.

Не было смысла разубеждать Белогурочку.

— У Октина Хаша остался Жан,— сказал Андрей.— Мне надо его освободить.

— Его, наверное, не убьют,— сказала Белогурочка.— Октин Хаш его будет держать. Жан знает язык.

Андрей поверил Белогурочке. Это было разумно — переводчик мог пригодиться Октину Хашу, предусмотрительность которого порой поражала. Но тут же Белогурочка разрушила иллюзию.

— Только теперь он, пожалуй, отдаст Жана ведьмам,— сказала она задумчиво.

— Почему?

— Ты большой вождь. Тебя хотят ведьмы. А если тебя нет, кого им отдать? Надо взять другого. Очень просто.

— Жана принесут в жертву вместо меня?

— Больше у него нет людей из твоей стаи,— сказала Белогурочка.— Очень жалко Жана. Он хороший. Он меня учил.

— Мы можем его освободить?

— Я не знаю,— сказала Белогурочка.— У нас нет людей. Совсем мало моих братьев. Они согласились освободить тебя, потому что я сказала, что ты мой мужчина и великий вождь.

— Жан тоже будет мужчина в вашей, в нашей стае.

— Ты не умный,— Белогурочка нахмурилась.— Чтобы освободить Жана, надо, чтобы погибли все мои братья.

— Но почему они должны погибнуть?

— Потому что Октин Хаш сам повезет Жана к святилищу. Он не хочет два раза ошибиться. Нельзя сердить ведьм.

— Когда Октин Хаш поедет к этому святилищу?

— Он идет медленно. Много повозок, много людей — идут медленно. А тебя послали вперед, чтобы быстро. Надо понимать!

Белогурочка ударила пятками коня, и тот поскакал быстрее. Конь Андрея припустил за ним.

Дикая, тупиковая ситуация. Оказывается, своим освобождением он ставит под угрозу жизнь Жана. Черт бы побрал эту планету!

— Скорей! — крикнула Белогурочка. Она гнала коня к небольшому крутому холму, который, как темя ушедшего в землю великана, поднимался над степью.

В голосе ее чувствовалась тревога. У Белогурочки была замечательно организованная нервная система — она переживала ровно столько, сколько необходимо. Ни секунды более. Дополнительные тревоги, которые с помощью воображения взваливает на себя цивилизованный человек, ее не мучили.

Кони, быстро дыша, внесли ее на холм.

— Смотри,— сказала Белогурочка.

Андрей ничего не видел.

— Ты как слепой старик,— сказала Белогурочка.— Как ты стал вождем, если ты такой глупый?

И тут Андрей увидел.

По степи, раздвигая высокую траву, плыла бурая туша.

— Сколько мяса! — произнесла Белогурочка.— Сколько хорошего мяса! Его трудно поймать.

Огромный мастодонт — туша на толстых ногах, хобот вытянут вперед, огромные бивни торчат кверху — приближался к холму.

И только тогда Андрей увидел преследователей.

Ему показалось, что это большие обезьяны, рыжие и серые. Они бежали, порой становясь на четвереньки, а порой выпрямляясь и передвигаясь на двух ногах. Бежали они молча, и степь замолкла, пережидая погоню.

— Ууух,— прошептала Белогурочка.— Очень плохие.

Мастодонт выдыхался, лишь ужас гнал его вперед. Один из преследователей обогнал его и, подпрыгнув, ухватился за бивень. Мастодонт задрал голову вверх, и существо взлетело высоко над землей, но не ослабило хватки.

Как бы повинуясь этому сигналу, остальные кинулись на мастодонта, хватая его за ноги, взбираясь на спину, и тот, как жук, облепленный муравьями, волочил врагов вперед, и в этом была безнадежность жертвы, которая почуяла близость смерти.

Андрей заметил, что у одного из охотников, который вцепился в загривок зверя, в руке большой острый камень, и он быстро и яростно долбит этим камнем основание шеи мастодонта. Оттуда фонтаном брызнула густая, почти черная кровь. Зверь как-то сразу ослаб, перешел на шаг и упал метрах в двухстах от холма, на котором стояли люди.

— Скорей,— прошептала Белогурочка,— пока они заняты.

Они начали спускаться, так, чтобы холм остался между ними и обезьянами. Андрей обернулся и увидел морду, вернее, лицо обезьяны — одна из них услышала стук копыт и поглядела им вслед.

Это была не обезьяна. Но и не человек.

— Питекантроп? — произнес вслух Андрей.

— Они очень плохие,— сказала Белогурочка, оборачиваясь и торопя коня.— Хорошо, что они заняты. Они бегают, как кони. Если им попадается человек, они убивают и едят.

— А вы их убиваете? — спросил Андрей.

— Конечно, убиваем,— сказала Белогурочка.— Они же плохие. Когда наша стая была сильная, мы один раз делали большую охоту. Я пять стрел пустила в одного, а он все равно хотел меня убить. Это была великая охота, йех!.. Только мясо у них совсем невкусное.

Андрей еще раз обернулся. Холм скрыл от них питекантропов.

— Андрей,— сказала Белогурочка,— возьми.

Она передала ему нож. Нож был железный.

— Откуда вы их берете? — спросил Андрей.— Разве вы умеете делать такие ножи?

— Нет,— сказала Белогурочка.— Мы их меняем на разные вещи.

— У кого?

— Раньше, когда не было Октина Хаша, мы посылали людей к святилищу ведьм. Ведьмы давали нам ножи и другие железные вещи. А теперь мы не можем туда идти. Только Октин Хаш ходит туда. У нас осталось мало стрел и ножей.

— А откуда железо у ведьм?

— Разве кто знает? Ведьмы делают его, правильно?

— Вот это меня и интересует,— сказал Андрей.

— Мы туда не пойдем,— сказала Белогурочка твердо.

— Но нам надо освободить Жана.

— Я могла спасти тебя, потому что у колдуна было мало людей. А Жана спасти нельзя. Как ты будешь воевать со всеми воинами Октина Хаша? Они тебя убьют. У них столько стрел, что тебя превратят в большого ежа. Вот сколько будет из тебя торчать стрел.

Они ехали без происшествий еще часа три. Жарко. Ветер утих, небо стало белым и горячим. Кони плелись еле-еле.

Горы приблизились и постепенно потеряли прозрачность голубизны. Они оказались палевыми, выцветшими.

— Мы там будем ждать,— сказала Белогурочка.— Туда придут братья. Теперь уже недалеко.

Копыта коней зацокали по твердому. Перемена в звуке была столь неожиданна, что Андрей вздрогнул. Оказалось, что они выехали на дорогу. Дорога была старой, в трещинах бетона проросла трава.

— Погоди,— сказал Андрей, останавливая коня и спрыгивая на бетон.

— Нам надо спешить,— сказала Белогурочка.— Зачем ты слез?

— Мне надо поглядеть,— сказал Андрей.— Эта дорога куда идет?

— Я не знаю.

— Она здесь давно?

— Глупый, это старая дорога. Она здесь всегда.

Андрей отколупнул кусочек бетона. Бетон был стар и крошился.

— Это очень интересно,— сказал он, взбираясь на коня.— А другие дороги здесь есть?

— Такие дороги? Есть. А что?

— И вы никогда не задумывались, кто их проложил?

— Мы знаем. Это старые люди. Те, что жили здесь до нас.

— А куда они делись?

— Я же сказала — старые люди. Они умерли. Это все знают.

Они поехали дальше по дороге. Раскидистое дерево росло посреди бетона. Дереву было лет сто, не меньше.

Белогурочка дорогой не интересовалась, она была настороже, поглядывала по сторонам.

— Ты чего боишься? — спросил Андрей.— Зверей?

— Я ничего не боюсь,— сказала Белогурочка.— Но нас ищут. Вся степь знает, что я тебя украла.

— Скажи, а ты никогда не видела домов? Не таких, как твой дом, а домов, сделанных из камня.

— А зачем дом из камня? — удивилась Белогурочка.— Как ты его возьмешь с собой, когда хочешь откочевать?

— А может, старые люди не кочевали? Ведь мы не кочуем.

— Вы не кочуете? А зимой, когда звери уходят на юг в теплые места? Когда снег? Что вы будете кушать? Надо откочевать.

— Значит, не видела?

— Поехали скорей,— сказала Белогурочка.— Мне не нравится.

— Что тебе не нравится?

— Не нравится, и все тут! — Белогурочка поскакала вперед, ударяя голыми пятками в бока своего коня, и Андрей хотел было последовать за ней, но тут увидел на дороге, в широкой трещине нечто блестящее.

— Погоди! — крикнул он Белогурочке.— Одну секунду!

Соскочив с коня, он побежал назад.

Так и есть: он вытащил из трещины несколько небольших, как горошины, металлических шариков. Их поверхность была совершенно гладкой, не тронутой коррозией. Даже самый умелый кузнец не смог бы выковать или отлить такой шарик.

Белогурочки не было видно — высокая, в человеческий рост трава скрыла ее. Конь, не дожидаясь Андрея, пошел вслед за Белогурочкой, и Андрею пришлось бежать за ним, на бегу придумывая, куда бы спрятать шарики — карманов на шкуре не было.

Конь подпустил Андрея на несколько шагов, но тут же передумал и потрусил прочь. Запихав шарики за щеку и невнятно мыча, Андрей помчался следом.

— Эй! — крикнул он, и голос его угас, заглушенный травой и размытый густым жарким воздухом.

Ему показалось, что впереди прозвучал крик.

Трава стояла неподвижная и частая, жужжали мухи. И вдруг Андрей понял, что если Белогурочки нет, он навсегда останется в этом травяном лесу.

Заржал конь. Его конь? Совсем близко.

Стучат копыта. Глухо, все ближе.

Андрей обернулся и увидел, что к нему медленно едет всадник. Кожаная черная куртка, короткая меховая юбка, волосы гребнем, как и у Андрея, на шее ожерелье из желтых зубов, в руке копье.

Кто он? Воин Октина Хаша или родственник Белогурочки?

Андрей подавил в себе мгновенное желание нырнуть в траву и скрыться.

— Фррре,— радостно сказал воин.

Он поднял копье.

Значит, это не брат Белогурочки. Тот не стал бы угрожать копьем.

— Ы! — крикнул воин и ткнул копьем в Андрея.

Перед ним был раб. Беглый раб. И воин презирал его.

Андрей рассчитывал на то, что степняк не выпустит копья. Потому он схватился за основание наконечника и резко дернул. Падая, воин выпустил копье и, тяжело ударившись о землю, все же нашел в себе силы вскочить. И кинулся на Андрея.

Андрей ударил противника в скулу. Нокаут был глубоким.

Андрей снял с воина широкий пояс с кармашками — мечту путешественника,— надел. Потом выплюнул на ладонь шарики и спрятал в карман пояса. Подобрал с земли копье.

Все это заняло меньше минуты.

Конь воина стоял в двух шагах и не делал попыток убежать. Андрей вскочил на него. И когда выпрямился, глаза его оказались на метр выше травы.

Белогурочка была совсем недалеко, метрах в двухстах. Правда, Андрей не сразу сообразил, что это она, потому что Белогурочка лежала поперек конского крупа. Голова ее свисала вниз.

Он разрезал ножом веревки. Девушка скользнула на землю. Она стояла, опираясь на бок коня.

— Ты настоящий воин,— сказала она удовлетворенно.— Я горда, что у меня такой мужчина.

Из глубокого разреза на бедре сочилась кровь.

— Тебя ранили? — спросил Андрей.

— Не больно,— сказала Белогурочка.— Поехали дальше, у нас мало времени.

Еще через час, когда уже сил не было ехать, добрались до редкого кустарника. Тонкие длинные листья почти не давали тени.

— Сюда.— Белогурочка свернула в чащу.

В кустах была поляна. Посреди нее — ровное каменное кольцо диаметром около метра.

Белогурочка легко соскочила с коня, взяла пустую сушеную тыкву, что валялась рядом, и опустила ее на веревке внутрь кольца. Послышался плеск.

— Хорошая вода,— сказала Белогурочка, вытаскивая тыкву.

Андрей попытался проглотить слюну, но слюны не было. Главное — вытерпеть, пока девушка напьется, не показать виду, что ты готов вырвать у нее из рук эту тыкву.

Белогурочка отошла в сторону, где лежал большой плоский камень с углублением в центре. Она вылила туда воду.

— Ты что делаешь? — хрипло спросил Андрей.

Но ответа не требовалось. Оба коня уже тянули морды к воде.

Прошла вечность прежде, чем кони напились. Только потом Белогурочка протянула тыкву Андрею.

Он покачал головой.

— Пей.

— Ты мужчина.

— Пей же!

— Не сердись,— сказала Белогурочка, внимательно глядя на него.— Ты странный. Ты нарушаешь закон. Всегда поят по порядку. Сначала коней — они не могут сами достать воду. Потом мужчин — они не умеют терпеть. Потом пьют женщины.

Но Андрей упрямо отвернулся, и Белогурочка сделала глоток. Капельки пота выступили на смуглом лбу. Белогурочка спросила:

— Я твоя женщина, да? Ты добрый ко мне.

— У нас такой обычай.

Белогурочка смотрела, как Андрей пьет, и улыбалась.

Андрей присел у колодца. Он постучал костяшкой пальца по каменному кольцу. Керамика. Как это сделано? Кто это сделал?

— Ты отдохнул? — спросила Белогурочка.— Мы поедем дальше?

Мысль о том, что надо вновь взбираться на коня, была ужасна.

— Поехали,— ответил он.

— Уже немного осталось,— сказала Белогурочка.— Ты знаешь, я очень устала. Просто очень. Я даже удивляюсь, какой ты сильный.

Холмы были уже близко, степь понижалась. Копыта коней мягко вдавливались в землю, трава стала ниже, но гуще, начались пышные кусты, и еще через несколько сот метров путники въехали в заросли гигантских папоротников. Папоротники смыкались над головами, было сыро и душно. Снова захотелось пить. И спать. Андрей устал удивляться, он держался за гриву коня и пытался не задремать.

— Сейчас снова будет дорога,— сказала Белогурочка.

Но сначала было болото, настолько глубокое, что конь отказывался идти дальше. Белогурочка смело спрыгнула в воду. Она повела коня вперед. Андрей последовал ее примеру. Вода была теплая, черная, по голым ногам скользнуло что-то холодное. Вокруг, насколько глаз мог проникнуть между стволами папоротников, стояла такая же черная вода. И тут Андрей увидел диплодока. Он дремал в болоте, вытянувшись во весь рост, и сначала Андрей даже не понял, что это животное. Сообразив, Андрей остановился в изумлении перед расточительностью природы.

При виде людей динозавр лениво приподнял маленькую, изящную голову и укоризненно поглядел на тварей, посмевших нарушить его послеобеденный отдых.

Белогурочка обернулась и сказала:

— Не бойся. Он ест только траву. Он умный.

— Вы на них охотитесь? — спросил Андрей.

— Сюда наши не ходят. Это плохое место. Если не знаешь дорогу, то утонешь. И тут змеи, которые убивают.

Андрей все оглядывался, пока диплодок не скрылся из глаз.

— Много их здесь? — спросил он.

— Совсем мало.

Они прошли еще — стало чуть глубже. Андрей боялся, что Белогурочка может провалиться в яму.

— Хе! — сказала Белогурочка.— Дорога! Я боялась, что промахнусь.

Андрей тоже ощутил твердую поверхность. Повеселели кони, поверившие, что путешествие по болоту скоро кончится.

Лишь метров через двести Белогурочка выбралась на сухое. Когда Андрей догнал ее, он увидел, что Белогурочка стоит на широкой бетонной дороге, такой же, как и та, что была в степи.

— Зачем старым людям дорога в болото? — спросил Андрей.

— Разве можно знать желания старых людей? — удивилась Белогурочка.

Дорога медленно поднималась в гору. Папоротники уступили место странным деревьям, которых Андрей не знал.

Духота не спадала. Впереди была чернота, словно занавес. Белогурочка смело ехала туда.

Дорога вошла в ущелье. Ущелье было прорезано в отвесной стене, но сама стена скрывалась за листвой, и потому Андрей увидел только вход. Шириной ущелье было метров шесть, не более, и потому вертикальные стены как бы сходились наверху, и между ними виднелась лишь узкая щель.

Ущелье подавляло мрачностью и каким-то адским совершенством. Словно громадный меч прорубил его. Плоское дно было усеяно обкатанными камешками.

Громадный меч... Далеко впереди дрожал вертикальный столб света. Значит, ущелье было идеально прямым — даже маленькая неточность, без которой не может обойтись природа, не дала бы возможности увидеть его дальний конец.

— Откуда это ущелье? — спросил Андрей, и голос его прозвучал гулко, ускользая вверх.

— Старые люди сделали,— сказала Белогурочка.

Этого и следовало ожидать. Значит, она тоже думает, что ущелье с д е л а н о. А я вот не знаю, каким образом это можно сделать.

Сверху упала холодная капля, еще одна. Андрей поднял голову. Небо в щели потемнело — начался дождь. Капли били все чаще.

— Дождь пошел,— сообщила Белогурочка.

— Я слышу.

Ущелье повторяло их слова.

— Если там, наверху, сильный дождь,— крикнула Белогурочка,— вода пойдет сюда!

Несмотря на понукания, усталые кони плелись еле-еле.

Дождь усилился — холодные капли секли по плечам.

Конь Белогурочки остановился, и Андрей еле успел удержать своего, чтобы не столкнуться.

Только тут он разглядел, что дорогу преграждает туша какого-то зверя. Туша была полуобглодана. Черными тенями поднялись с нее и полетели прочь птеродактили.

Пришлось спешиваться и, прижимаясь к стене, протаскивать упрямившихся коней через это препятствие. К тому времени, когда они обогнули тушу, вода уже поднялась высоко и бурлила. А белая щель была все еще далеко впереди.

Последние метры пути по ущелью они шли пешком и тащили за собой коней, которые в панике рвались назад.

— Бросай коня! — крикнула Белогурочка.

Она отпустила своего коня, и он тут же скрылся, но тут легкая Белогурочка не удержалась на ногах, и ее повлекло назад. Андрей кинулся к ней — о коне он забыл, подхватил, и они шли обнявшись, очень медленно, после каждого шага их сносило обратно.

Они стояли, прижавшись спинами к каменному обрыву. У ног кипятилась вода, стараясь найти вход в расщелину.

Шел дождь, обильный, но мирный.

Там, в темноте, захлебываются кони, подумал Андрей. И ему было стыдно, что он не смог им помочь.

— Коней жалко,— сказала Белогурочка.— У нас в стае совсем коней не осталось.

Они шли вдоль отвесной скалы.

— Может, отдохнем? — предложил Андрей. Ноги не держали.

— Скоро,— сказала Белогурочка.— Совсем скоро

Ее шатало. Андрей пошел рядом с ней, обняв ее за плечи. Вокруг был лес, обыкновенный лиственный лес, деревья скрывались за пеленой дождя.

Андрей старался считать шаги, но все время сбивался.

И вдруг услышал:

— Вот и все. Мы пришли.

Белогурочка скинула с плеча его руку и раздвинула кусты.

За кустами было темно.

— Там сухо,— сказала она.— Братьев еще нет.

— Они должны ждать здесь? — спросил Андрей.

— Да. Они отстали. Или их убили. Но мы все равно подождем. Сейчас им не пройти сквозь щель.

— Йееп! — крикнула Белогурочка в темноту. Сде-

лала шаг вперед. Остановилась, прислушиваясь, потом с силой метнула в пещеру камень.

— Никого нет,— сказала она.— Бывает, что сюда приходит зверь. Я не знаю как по-вашему. Мы его зовем грих.

Белогурочка первой вошла в пещеру. Ее шаги прозвучали в глубине. Потом зашуршало.

— Тут есть сухая трава,— сказала она.— Иди сюда. Можно лечь. Если я сейчас не лягу, я умру.

— Я тоже,— признался Андрей.

— Мужчины не умеют терпеть. Правда, ты лучше других.

У стены была охапка сена. Не очень пышная — но все же на ней мягче, чем на камне.

Он вытянулся — тело было напряжено, оно не могло расслабиться. Ноги гудели и ныли. И Андрей понял, что не сможет заснуть.

Он видел серый круг входа и слышал стук капель по листьям.

Белогурочка устроилась рядом, ее легкая жесткая ладонь легла ему на грудь. Потом Белогурочка повернулась, устраиваясь поудобнее, и положила голову ему на плечо. Голова была мокрой, теплой и колючей.

— Йеех,— сказала она сонно,— вся еда с конями пропала.

И тут же начала дышать редко и легко — заснула.

Андрею хотелось повернуться, но он боялся потревожить девушку. Во сне она забормотала, засучила ногами и теснее прижалась к Андрею. А ему казалось, что он никогда не заснет... и заснул.

Хотя Андрей обычно, просыпаясь, мгновенно вспоминал — где он, на этот раз мозг его был столь заморочен вчерашними событиями, что Андрей несколько секунд оставался в блаженной уверенности, будто находится на Земле,— может, потому, что увидел, открыв глаза, зеленую мирную листву, пронизанную косыми солнечными лучами.

Было раннее утро, солнце, вставшее напротив входа, пробило листву кустов и, еще не грея, высветило пещеру обещанием тепла.

Андрей протянул руку — Белогурочки рядом не было. Он приподнялся на локте — девушка сидела чуть поодаль, подтянув коленки к груди, обхватив их руками, и глядела на Андрея. Белогурочка была обнажена, и он не сразу понял, почему. Лишь когда сам сел, увидел, что она сняла с себя куртку и меховую юбку, чтобы накрыть Андрея.

— Глупости,—сказал Андрей вместо приветствия.— Зачем ты это сделала? Ты же простудишься.

— Мне не холодно,— сказала она.— Женщины терпеливые.

— Одевайся,— Андрей протянул ей одежду.

Белогурочка надела юбку. Она совершенно не стыдилась своей наготы.

— Сколько тебе лет? — спросил Андрей.

— Не знаю,— сказала Белогурочка.— Вы, люди небесной стаи, всегда хотите знать, сколько дней, лет — зачем?

— Трудно объяснить. Мы привыкли.

— Там, если пойдешь вглубь,— указала Белогурочка,— есть вода. Только иди осторожно, потому что потолок низкий.

— Братья не пришли?

— Зачем спрашиваешь? Если бы пришли, ты бы их увидел.

Андрей поднялся, выглянул наружу. Близко к пещере подходил светлый лиственный лес. Белка скользнула по стволу липы, поглядела на Андрея и скрылась за стволом. Закуковала кукушка, будто ее нарочно привезли за тридевять парсеков, чтобы утешить Андрея.

Андрей вернулся в пещеру и пошел вглубь. Ручеек выбивался из-под стены.

Андрей умылся, привел себя в порядок. Вода была очень холодной, даже зубы заломило, когда он полоскал рот. Андрей провел ладонью по голове и отдернул руку — забыл, что он острижен по здешней моде. Каково будет появиться в Центре в таком виде? Впрочем, в Галактике столько мод и обычаев, что вряд ли кто удивится.

Когда Андрей возвратился ко входу в пещеру, Белогурочки не было.

Он вышел из пещеры. Жутко болели ноги и ломило спину.

Веселый лес оглушил гомоном и деловитой суетой. Андрей поднял лицо к солнцу — лучи мягко и нежно грели лоб и щеки. Он блаженно зажмурился и понял, как зверски голоден.

Он хотел позвать Белогурочку, но поостерегся — он здесь чужой и неизвестно, можно ли кричать или следует таиться.

Сейчас бы посмотреться в зеркало — набедренная повязка, перетянутая широким ремнем, снятым с поверженного врага, нож за поясом — вот и вся одежда. Хорош ты, капитан Андрей Брюс!

Листва раздалась, и появилась Белогурочка.

И вдруг Андрей увидел ее такой, какой не видел раньше.

Солнце светило ей в спину, подсвечивая ореолом смешной бобрик волос на голове и рисуя золотом контур гибкой девичьей фигуры. Она была феей этого веселого леса.

Белогурочка несла в ладонях горсть диких груш и яблок.

— Больше ничего не нашла,— сказала она.— Но лучше, когда в животе что-то лежит, правда? Ты чего так на меня смотришь? Я не убегу. Я твоя женщина.— И она весело рассмеялась.

Они сели на камни у входа в пещеру. Яблоки оказались кислыми, а груши Андрею понравились. Они были твердыми, вязали рот, но в них ощущалась свежая сладость.

— Хорошо, что мы с тобой убежали летом,— сказала Белогурочка.— Весной плохо с едой. А зимой просто ужас.

Белогурочка стянула меховую безрукавку, расстелила ее на камне и легла, нежась на солнце. Андрей любовался ею.

— А почему мы пошли сюда? — спросил он.

— А где еще тебя спрятать? — удивилась Белогурочка. Она всегда удивлялась недогадливости Андрея — брови уходили наверх, лицо принимало страдальческое выражение.

— Может, в твоей стае?

— Октин Хаш сразу послал людей к моей стае,— сказала она.

— Я думал, что твоя стая скрылась.

— В степи не скроешься. Люди Октина Хаша знают, где искать. Если тебя нет и меня нет, они уйдут, а если ты там, они всех убьют. Это же ясно.

— А почему они вас не тронут, если меня нет?

— Они тронут,— Белогурочка говорила спокойно, как о само собой разумеющемся.— Они будут бить. Потому что сначала не поверят. Но потом поверят. И уйдут. Зачем просто так убивать? Стая Железной птицы побеждена, нас никто не защитит. Октин Хаш знает. Теперь мы будем платить ему шкурами и рабами. У нас не осталось воинов... Почему мои братья не пришли?

— Они знают дорогу сюда?

— Конечно. Только наша стая знает эту пещеру.

Большая стрекоза с оранжевыми прозрачными крыльями уселась на маленькую грудь Белогурочки. Той стало щекотно, и она смахнула стрекозу. Стрекоза лениво перелетела к Андрею.

— Она тебе понесла привет от моего сердца,— сказала Белогурочка.— Хороший привет?

— Хороший. Спасибо.

— Я боюсь,— сказала Белогурочка.— Тут совсем близко святилище ведьм.

— Где святилище ведьм?

— Там,— Белогурочка махнула рукой, показывая в сторону леса.

— Далеко?

— Не очень. Если придут мои братья, они принесут мяса. Здесь нельзя охотиться.

— Почему?

— Нельзя,— сказала Белогурочка раздраженно.—

Если моих братьев убили, то я пойду на охоту за большую щель, в болото.

— А Октин Хаш со своими людьми идет в святилище той же дорогой, что мы?

— Ну как же ему пройти через болото со всеми повозками? — Белогурочка с трудом терпела вопиющую глупость Андрея.— Он идет хорошей дорогой. Он не прячется. Он главный в степи.

— Главнее, чем ведьмы?

— Ведьмы здесь, он там.— Белогурочка села, потянулась.— Он им дает большие подарки.

— А они?

— Они тоже дают подарки. Я вспомнила. Тут должны быть ореховые кусты. Пойдем, может, орехи поспели.

— Пойдем,— согласился Андрей. Безделье было невыносимо.— А когда Октин Хаш придет в святилище?

— Наверное, сегодня. Вот он запрыгает от злости, когда узнает, что тебя нет! Он думает, что ведьмы тебя уже подготовили, а тебя нет!

— Ты думаешь, он до сих пор не знает?

— Знает,— вздохнула Белогурочка.—Конечно, знает. Но веселее думать, что он еще не знает и будет злиться...

Белогурочка вскочила на ноги, проверила, легко ли выходит из ножен кинжал. И сразу подобралась, ступая по-звериному, пошла в чащу, настороженная и жестокая охотница — часть этого леса.

В сущности все случилось из-за меня, думал Андрей. Из-за нас. Спасая меня, она поставила под угрозу жизнь своей стаи. Легко объяснить это, предложив ей нашу мораль и нашу логику поведения. По этой логике мы с Жаном свои, друзья, которых надо спасать, благородно жертвуя жизнью. Но сама Белогурочка на такой версии и не настаивает. Говорит, что я ее мужчина. Что стоит за этим? Неожиданная безумная любовь? Непохоже. Обряд? Меня избрали женихом дочери вождя, не спросив согласия? Или порыв — неожиданное решение дикарей, разум которых действует по иным законам? Понимая, что нельзя судить Белогурочку по земным меркам, Андрей все же старался найти всему рациональное объяснение.

Случись это в иной обстановке, ситуация была бы забавной. И, разумеется, Андрей постарался бы тактично и мягко объяснить этой первобытной девице, что он не готов стать ее мужчиной и скакать за ней по степям, гоняясь за мастодонтами или сражаясь с коварными воинами из чужой стаи. А что делать теперь? Если тебя спасли из плена и, может, от смерти? Если ты уже вторые сутки скрываешься в степи и в лесу, сражаясь с воинами Октина Хаша? И если, наконец, ты уже привык к этому существу, абсолютно непонятному и, как ни странно, единственно родному на этой планете.

Орешник начинался недалеко от пещеры. Кусты зашуршали, расступаясь,— темное крупное животное поспешило уступить место людям.

— Кто это? — насторожился Андрей.

— Это... забыла слово... мохнатый, любит орехи, а зимой спит.

— Медведь?

— Медведь. Он сытый, ты не бойся.

Белогурочка быстро рвала орехи и ловко раскусывала.

Орехи были еще мягкие, сочные. Когда он в последний раз ел лесные орехи? Тысячу лет назад? Да и не в лесу — они были запакованы в прозрачный пакетик...

Андрей потянул к себе ветвь орешника, набрал целую горсть. А где Белогурочка? Она отошла за куст.

И тут Андрей услышал плач.

Кто мог плакать? Белогурочка — никогда. Она не знает, что такое слезы. Уж в этом Андрей был совершенно убежден.

Плакала Белогурочка.

Она сидела на корточках, закрыв ладонями глаза. Плечи тряслись от горя.

— Ты что? — Андрей наклонился к ней.— Что случилось?

Белогурочка дернула плечом, чтобы сбросить ладонь Андрея.

Андрей огляделся. Лес был тих и спокоен. Что же могло расстроить Белогурочку?

И тут он увидел: поломаны ветви лощины, примята трава, и в одном месте на ней бурое пятно — кровь.

— Скажи, что случилось?

Белогурочка подняла голову.

— Это все ты, ты! — сказала она зло.— Зачем ты к нам прилетел?

— Что-нибудь случилось с твоими братьями?

— Я хочу тебя убить! И моего отца с его глупыми старухами! — Она глядела на Андрея снизу вверх, прижав кулачки к горлу, словно ей трудно было говорить.— «Ах, найди этого вождя с неба! Он такой сильный! Его друзья прилетят за ним! Они дадут подарки нашей стае, если ты спасешь его от Октина Хаша!» Кому теперь твои друзья дадут вещи и кинжалы? Моих братьев нет, нет! Уйди!

Андрей отступил на несколько шагов.

Белогурочка вскочила. Руки взметнулись над головой. И бессильно упали. Она не смотрела на Андрея. А он вдруг понял, что ему горько, потому что его обманули. Все так просто: слабой стае нужно покровительство сильной стаи. И если для этого придется пожертвовать дочерью и последними воинами — пожалуйста, мудрый дикарь пойдет на такие жертвы. Он верит в силу друзей Андрея. И этот звереныш с гребешком на макушке тоже хитрил... А впрочем, какое тебе дело, капитан Брюс? Тебя спасли, ради тебя рисковали жизнью. На что ты в обиде?

— Почему ты решила, что твои братья погибли?— спросил Андрей, стараясь говорить спокойно, словно не было гневных слов Белогурочки.

— Вот,— она обвела рукой поляну, полагая, что следы на ней говорят Андрею не меньше, чем ей.

— Я плохо читаю следы,— сказал Андрей.— Скажи, что увидела.

— Пришел один брат,— покорно сказала Белогурочка.— Другие уже не пришли. Их убили в степи.

— Брат пришел сюда...

— Он пришел сюда ночью, когда мы спали. За ним гнались. Он знал. Видишь? — Белогурочка показала в прогалину между кустами. Андрей ничего не увидел, но поверил.— Он не хотел вести их к пещере. Он побежал в другую сторону. А они его догнали. И потом убили.

— Почему ты думаешь, что убили?

— Кровь.

— Понятно,— сказал Андрей.— Скажи мне тогда...— Он старался смотреть на Белогурочку глазами чужого человека, отрешиться от того образа, который стал привычен за вчерашний день. Худая и довольно грязная степнячка со злыми прищуренными глазами, некрасивая, замученная, истощенная... и тут он оборвал себя. Белогурочка истощена и замучена, потому что вторые сутки тянет его на себе. А это выше ее сил. То, что она делает это не ради его прекрасных глаз, а ради своего племени, отца и женщин, которых завтра может убить Октин Хаш, не умаляет ее отваги и самоотверженности.

— Скажи мне,— повторил Андрей.— Когда в степи убивают, что делают с телом? С мертвым человеком?

— Как что? Убили и пускай лежит.

— Тогда скажи — где твой брат? Где он лежит?

Белогурочка оглянулась, словно надеялась увидеть тело. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом остановилась. Повернулась под прямым углом, пошла снова по следу. Андрею даже показалось, что у нее раздулись ноздри, как у собаки, которая ищет след. Она прошла шагов пятьдесят, и Андрей почти потерял ее из виду за кустами. Он стоял неподвижно.

Белогурочка бежала обратно.

— Андрей,— сказала она торжествующе.— Они его тащили. Ты же видишь! — Она показала на следы.— Они его тащили, а он не хотел идти. Ты умный. Я глупая.

Она подбежала к нему и схватила за руку.

— Ты мой мужчина,— сказала она радостно.— Ты самый умный.

Андрей осторожно освободил руку.

— Что же теперь будем делать? Кто схватил твоего брата?

— Мы пойдем и узнаем,— сказала Белогурочка.— Ты сердишься?

— Пошли,— сказал Андрей.

Он предпочел бы сейчас пойти к святилищу ведьм, потому что там Жан. Но сначала надо вернуть долг.

Белогурочка читала следы.

Андрей шел сзади, поглядывая по сторонам. Он чувствовал себя здесь старожилом — а может, лес был не столь чужд, как вчера. Белогурочка часто оборачивалась, в глазах была нерешительность, словно она хотела сказать что-то, но не смела. Или Андрею это казалось.

Следы вывели их на открытое пространство. Они постояли несколько минут на краю леса, приглядываясь. Равнина была замкнута голубыми горами. Антилопа, похожая на окапи, паслась невдалеке, она взглянула на них, потом не спеша потрусила прочь.

— Она не боится,— сказала Белогурочка,— значит, никого нет.

Андрей согласился с ней.

Белогурочка показала на пятно примятой травы.

— Здесь они отдыхали,— сказала она.— Три воина. И брат. Там он сидел. А один воин хромой, видишь?

— Нет.

— Где у тебя глаза! — проворчала Белогурочка прежним голосом. Отвернулась. Потом сказала сама себе: — Так нельзя говорить с чужим.

— Куда они повели его? — спросил Андрей.

— К святилищу.

— Почему?

— Если перейти это поле, будут скалы. Ты видишь их?

— Вижу.

— Святилище около них, внизу, отсюда не видно.

— И туда приедет Октин Хаш?

— Он уже там.

— Они повели твоего брата к Октину Хашу?

— Или к ведьмам.

— У ведьм есть свои воины?

— Им не нужно. Их все боятся.

— Почему они не убили брата?

— Я думаю — они ищут нас. они знают — мой брат отправился к нам. Они будут его спрашивать. Идем.

Белогурочка сорвалась на бег — не выдержала. Андрей помчался за ней. Бежать было неудобно — ноги и без того болели, а острые камни ранили ступни.

У скал, которые поднимались, словно редкий лес на краю долины, камни были застелены разноцветным лишайником.

Белогурочка добежала до скалы, прижалась к ней, раскинув руки. Запыхалась. Потом обернулась, глядя, как подходит Андрей.

— Я бегу,— сказала она,— а они смотрят.

— Кто смотрит?

— Не знаю. Старые люди. Их нет, а они смотрят.

— Мне тоже так казалось,— сказал Андрей.

— Тише,— прошипела Белогурочка.

Андрей услышал голоса. Несколько человек, переговариваясь, приближались к ним. Сзади была открытая долина — никуда не денешься. Андрей посмотрел наверх. Скала была слишком крутой, чтобы залезть на нее. А соседняя?

Андрей схватил Белогурочку за руку и потащил к той скале.

На ней, метрах в пяти от земли, росло дерево, кривое, цепкое, упрямое. Андрей полез наверх, цепляясь за выступы в скале. Андрей остановился на небольшой площадке, протянул руку, чтобы помочь Белогурочке, но она уже была рядом. Она все поняла. Конец корня висел на расстоянии вытянутой руки. Андрей схватился за него и добрался до комля. Ствол был толст и узловат. Андрей обогнул его — между стволом и скалой была щель.

Они втиснулись в нее, стараясь дышать как можно тише.

Из-за скалы вышли несколько воинов. Они остановились, глядя на долину. Как мы успели, подумал Андрей,— минутой позже они бы застигли нас. Но и сейчас — стоит поднять голову...

Но воины не смотрели наверх. Они рассыпались цепочкой и пошли через долину к пещере.

— Ты не устала? — спросил Андрей.

— Но ведь ты меня держишь.

Белогурочка подняла тонкую руку и приложила ладонь к его щеке. Андрей чуть отвел голову в сторону — обида вдруг вернулась.

— Я тебя не обманывала,— прошептала Белогурочка.— Я никогда никого не обманываю. Я хотела, чтобы ты был мой мужчина.

— Не надо,— прошептал Андрей.

— А ты мне не веришь,— сказала Белогурочка.

— Чего мы ждем? Они же дойдут до пещеры и вернутся.

— Мне нравится так стоять.

Сказав это, Белогурочка скользнула вниз, держась за висячий корень дерева. Через две секунды она уже стояла внизу. Андрей спускался куда дольше.

Белогурочка вела его молча. Чтобы уйти подальше от тропы, по которой двигались воины Октина Хаша, они прошли в сторону. Здесь было труднее — между скал высилась каменная мешанина. Андрей разбил ступни в кровь. Белогурочка скакала по камням легко, чуть касаясь их.

Они оказались на плато, заросшем кактусами. Некоторые из них цвели пышными оранжевыми соцветиями, и пятнистые бабочки лениво парили между ними.

Впереди лежало длинное голубое озеро. По ту сторону озера горы круто поднимались вверх. Справа горы расступались, открывая проход, через который вела широкая дорога. По дороге тянулись повозки.

Казалось, все становище Октина Хаша переехало сюда — сотни повозок толпились на ближнем берегу, дальше на склоне пасся табун лошадей, рабы устанавливали кибитки. В тростниках у самого берега бродил стегозавр.

— Святилище ведьм,— сказала Белогурочка.

— Где оно? — спросил Андрей.

— Гляди за озеро.

Дальний берег озера был пуст. Лишь посреди широкой поляны стояли три кибитки. Они были похожи на кибитки Октина Хаша, но превосходили их высотой. Пологи кибиток были закрыты.

— А где ведьмы? — спросил Андрей.

— Они спят.

Андрей вглядывался в суету у озера. Если даже Жан и был там, узнать его на таком расстоянии немыслимо.

Зато они увидели Октина Хаша. Тот был верхом, в красной короне. Он гарцевал у загона, сделанного из воткнутых в землю высоких кольев. В загоне держали коз. Но не только коз. Там, на земле, сидел человек. Октин Хаш хлестнул по ограде нагайкой. Человек поднялся.

— Мой брат,— сказала Белогурочка.— Как хорошо, что он живой.

— А Жана ты нигде не видишь?

— Наверно, он в кибитке,— сказала Белогурочка.— Или его уже отвели к ведьмам.

Белогурочка задумалась, глядя вниз. Октин Хаш отъехал от загона. Ее брат снова сел на землю. Козы жались в другой стороне.

— Я пойду туда,— сказала Белогурочка.— Там много рабынь. Никто не смотрит — рабыни общие. Рабыни из моей стаи тоже. Они видят меня и молчат. А я все узнаю и тебе расскажу. А ты жди.

И Белогурочка отбежала в сторону, где склон был не столь крутым. Там росли кусты, которые скроют ее, когда она будет спускаться.

Андрей понимал, что Белогурочка права. Ему идти с ней нелепо — сразу узнают. Но ждать — самое бессмысленное занятие на свете. Тем более ждать на жаре.

Андрей огляделся в поисках ориентира. Нашел метрах в ста корявое дерево с обломанной верхушкой.

Чтобы получше разглядеть кибитки ведьм, Андрей решил пройти по краю котловины на ту ее сторону, где обрыв подходил ближе к озеру. Шел он осторожно, стараясь не маячить на открытых местах — воины, что обшаривают заросли у пещеры, могут вернуться в любой момент.

К тому же следовало опасаться зверей. В детстве Андрей читал роман, герои которого попадают в обширную полость у северного полюса и, опускаясь в нее, проходят последовательно все эпохи в истории Земли. Роман написал знаменитый геолог, который хотел рассказать подросткам о палеонтологии. Правда, здесь все было иначе, чем в фантастической книге. Словно кто-то открыл ворота музея и выпустил на волю существа, разделенные миллионами лет. Стегозавр служил верховым животным для степного вождя, птеродактили реяли над мастодонтами, питекантропы охотились на ящеров. Законы эволюции были нарушены. Те, кому положено было вымереть много миллионов лет назад, этого не сделали и продолжали размножаться. Пожалуй, это была главная загадка планеты — от нее могли тянуться ниточки к остальным тайнам.

Задумавшись, Андрей чуть не налетел на носорога, который мирно дремал, склонив к земле тяжелую морду, украшенную четырьмя устрашающего размера рогами. Андрей осторожно отступил за камень, рассчитывая на то, что носороги плохо видят. Отступая, он напоролся на острый сучок. Доскакав на одной ноге до тенистого местечка под скалой, чертыхаясь сел и понял, что путешествие придется прервать.

Андрей отщепил от сухого толстого сука планку, обломал ее, чтобы получились подошвы, потом примотал их лианами к ногам. Он был так поглощен этой работой, что не замечал, как бежит время.

Солнце поднялось высоко. Откуда-то прилетели слепни и назойливо крутились, норовя вцепиться в обожженные солнцем красные плечи Андрея. Сейчас бы сбежать к озеру и нырнуть в него... Андрей приторочил подошвы к ступням, попробовал пройтись. Подошвы держались, но лианы врезались в икры ног.

Совсем рядом раздались голоса. Андрей догадался: вернулась партия, посланная на его розыски. Воины прошли левее и ниже — там была неглубокая промоина. Было слышно, как изредка они перебрасываются ленивыми словами. Стало тихо. Лишь жужжали слепни. Андрей переполз вслед за тенью. Хорошо бы Белогурочка принесла еды. Надо же кормить своего мужчину.

Прошло уже часа три, как она отправилась в становище. Что могло ее задержать?

Отмахиваясь от слепней, Андрей отчаянно боролся с желанием спуститься вниз. Даже под ложечкой сосало от желания действовать. Хотя ясно было — ни черта он внизу не сделает, хотя бы потому, что не знает, как поступить.

Тут его внимание привлекли события, разыгравшиеся у кибитки Октина Хаша.

Оттуда выскочили два воина, видно, те, что безуспешно искали Андрея. За ними вылетел сам Октин Хаш. Даже на таком расстоянии было ясно, что вождь взбешен. Он хлестал воинов нагайкой, пинал ногами. За ним из кибитки выплыл толстый колдун. Из соседних кибиток вылезали зрители; вскоре площадка перед кибиткой вождя была окружена толпой любопытных.

Затем Октин Хаш, видно, принял решение.

Колдун медленно побрел к озеру, держа в руке длинный белый предмет. За ним увязались детишки и собаки. Процессия дошла до берега озера и остановилась. Андрей догадался, что колдун несет рог. Он поднес его к губам. Звук до Андрея не долетел.

Гудел колдун довольно долго, больше минуты, прежде чем на том берегу раскрылся полог черной кибитки и на солнце вышла закутанная в длинное темное одеяние фигура. Фигура подняла руку, что удо-

влетворила колдуна, и он пошел обратно, размахивая рогом, как палкой.

Тем временем — Андрей, наблюдая за колдуном, упустил момент — привели Жана. Андрей узнал его сразу: Жан был на голову выше своих стражей. И шел он иначе, прямо, не раскачиваясь. Жан был пешеходом.

Андрей испытал облегчение — по крайней мере Жан жив и здоров.

Октин Хаш мирно разговаривал с ним, пока не вернулся колдун.

Внизу составилась солидная процессия. Сам Октин Хаш верхом на коне возглавлял ее. За ним вели Жана, затем толпой шли воины. Они остановились у козлиного загона, где к процессии присоединился брат Белогурочки. Затем эта процессия в сопровождении собак и зевак направилась в неспешное путешествие вокруг озера.

Процессия остановилась, не дойдя метров ста до кибиток.

Из кибиток вышли сразу три ведьмы. Они были в длинных черных балахонах, на головах капюшоны.

Даже издали Андрей понял, насколько страшны ведьмы для степняков; толпа отшатнулась, когда они приблизились к пленникам. Лишь Октин Хаш и колдун остались на месте. Колдун помахивал рогом, Октин Хаш слез с коня и стоял, держа его на поводу.

Ведьмы шли медленно, словно плыли.

Когда ведьмам осталось идти шагов десять, брат Белогурочки вдруг кинулся в сторону. Он бежал, странно закинув за спину связанные руки. Воины бросились за ним, рассыпаясь веером. У пленника оставался лишь один путь — к воде.

Парень, видно, умел плавать, подняв столб брызг, он рванулся вперед, отчаянно работая ногами.

Все остальные стояли неподвижно, будто ждали чего-то. Ни один человек не последовал за беглецом в озеро.

Неожиданно рядом с пловцом вода бурно вскипела, из глубины озера поднялась темная тень. Андрей сверху мог угадать ее очертания: гигантская рыба стремилась к человеку.

Беглец понял, что ему грозит опасность, он постарался плыть скорее, но уже в следующую секунду он пошел вглубь, словно его потянула могучая рука. Вот тогда до Андрея долетел крик людей. А еще через несколько секунд на успокаивающейся поверхности воды расплылось кровавое пятно. Дикари пали ниц.

Только три ведьмы стояли неподвижно.

Потом они подошли к Жану и встали по бокам. И Жан побрел вместе с ними к черной кибитке. Третья ведьма замыкала шествие.

Когда Андрей, никем не замеченный, достиг дна котловины, сумерки внизу уже сгустились, и возле кибиток загорелись костры. Сюда не долетал ветер, и воздух хранил влажное тепло.

Самодельные подошвы разлетелись на полпути, и дальше Андрей ковылял босиком.

Обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадывал аромат жареного мяса, в голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются.

Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрее она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой.

Еще наверху Андрей придумал такой план: он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы — там Жан. Вряд ли ведьм много. Значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны. А как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать Белогурочку.

План был разумен, но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогурочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она тысячу раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучей, чем Андрей,— для него она оставалась девушкой.

Андрей быстро миновал несколько кибиток и оказался на небольшой площадке, посреди которой стоял шест с лошадиным хвостом. Он понял, куда попал: это была кибитка Октина Хаша. Перед ней сидел на корточках воин. Опершись о копье, он дремал.

Можно было пройти мимо, но Андрея одолело любопытство. Октин Хаш был главной опасностью, а к опасности всегда тянет.

Андрей обошел кибитку, чтобы не попасться на глаза часовому, отыскал край шкуры и осторожно отогнул ее.

Посредине горел небольшой костер, и дым улетал в отверстие наверху. В дальнем конце было возвышение, покрытое шкурами, на котором сидело несколько человек. Возле него горели два факела, укрепленных на железных треножниках. Свет был неверным и тревожным.

Потом он увидел Белогурочку.

Сцена была мирной, домашней, и именно эта будничность потрясла Андрея. Он был готов к тому, что увидит Белогурочку связанной, что ее готовятся убить, а она старается разорвать узы, он был готов ринуться к ней на помощь. Всего этого не требовалось.

Посреди кибитки стояла большая бадья с темной жидкостью.

Время от времени кто-нибудь поднимался и, зачерпнув оттуда своей чашкой, возвращался на место и пил. Андрей увидел, как поднимается Белогурочка и тоже зачерпывает из бадьи. Он мог даже окликнуть ее, но удержался. Зачем?

Октин Хаш сказал что-то Белогурочке, та ответила. Тучный кастрат захихикал. Им было весело.

Черт возьми, а я сидел голодный и ждал ее! Я бы успел тысячу раз спуститься и помочь Жану, а я ей поверил. Почему я решил, что она должна жить по тем же законам, что и я? Между нами тысячи лет и миллиарды километров. Ей было выгодно спасать меня. Теперь выгоднее пировать с Октином Хашем.

Андрей почувствовал, что к нему кто-то подходит. Он отскочил от кибитки, и вовремя. Это часовой пошел вокруг кибитки. Андрей ринулся прочь. Часовой закричал вслед.

Андрей зигзагами бежал между темных кибиток, потом скатился вниз по откосу и забился в высокие заросли тростника. Только тогда вспомнил, что в озере живет чудовище — пресноводная акула. Мелькнула мысль: разве на Земле водились гигантские пресноводные акулы? Когда вернусь, надо будет проверить.

Среди кибиток продолжалась суетня, но к берегу никто не выбежал. Видно, ночью степняки боялись подходить к озеру. Андрей утешал себя тем, что акула не выберется на мелководье. Вода была теплой, тростники шевелились, сквозь них виднелась дорожка луны.

Когда все в становище успокоилось, Андрей пошел дальше.

Через полчаса он уже обогнул озеро и оказался на площадке святилища — пыльной и голой каменной плеши среди травяной долины. Ноги онемели и уже не болели; Андрей провел ладонью от колена вниз — щиколотки и ступни распухли и почти потеряли чувствительность. Так даже лучше.

Впереди тремя черными куполами поднимались кибитки ведьм — немые, настороженные и зловещие.

На том берегу озера тускло алели костры, иногда доносился недалекий голос. Заплакал ребенок, залаяла собака...

Андрей подошел к средней кибитке, куда отвели Жана.

Кибитка была плотно запахнута, и покров ее был скреплен куда надежнее, чем в становище. Если швы и были, то в темноте Андрей не смог сразу их отыскать.

Он простоял минуты две, прижав ухо к обшивке, потом осторожно откинул полог. Темно.

— Жан! — шепотом позвал Андрей.

Никто не ответил.

Чем дольше Андрей стоял, держа откинутый край полога, тем более он убеждался, что кибитка пуста. Ни вздоха, ни шороха, которым выдают себя даже глубоко спящие люди.

Андрей вошел в кибитку, опустил полог и замер, представив себе, как зажигается свет и пришпиливает его к стене.

Но свет не зажегся.

Андрей присел на корточки и пощупал пол. Камень.

Андрей пошел вдоль стены, водя перед собой руками и волоча ноги. Ни одного предмета не встретилось ему. Обойдя кибитку, он затем пересек ее напрямик.

В кибитке никто не жил. Она была лишь пустой оболочкой.

Надо было уходить, осмотреть другие кибитки, но Андрей был уже почти убежден, что они лишь такие же оболочки, как и первая.

И это понимание не давало ему уйти. Кибитка что-то скрывала. И раз не могли ничего скрыть ее стены, следовало поглядеть, что под ней.

Следующие несколько минут Андрей ползал по полу, простукивая его костяшками пальцев.

Тук-тук.. звук другой. Внизу пустое пространство.

Андрей так надеялся на это, что не поверил, когда услышал.

Пустота простукивалась в круге диаметром около метра.

Андрей принялся водить кончиками пальцев по границе круга, отыскивая щель. Ведьмы живут под землей, но они выходят наружу. Думай, Андрей, думай.

Если бы он, Андрей Брюс, хотел скрыть вход в свое подземелье, он бы сделал его так, чтобы не отличить от остального пола. Так сделали и ведьмы. Затем он бы придумал простое устройство, чтобы можно было люк открыть или закрыть. И замаскировал бы его так, чтобы простодушные степняки его не нашли.

Ключ где-то рядом с люком, чтобы при нужде можно было быстро уйти вниз.

Андрей начал водить рукой вокруг люка, ползая по расширяющимся кругам, пока не отыскал на полу небольшой плоский камень, округлый и почти незаметный. Андрей повозился с камнем минуты три, прежде чем тот послушно сдвинулся, обнаружив углубление. И как только Андрей нажал на это углубление, раздался шорох, плита поднялась вертикально и снизу пробился слабый свет.

Андрей заглянул в люк — там виднелась неглубокая шахта со скобками в стенке.

Колодец был выдолблен в скальном массиве — умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников.

Андрей ступил на скобу — спуск был прост.

Скобы кончились. Андрей стоял в туннеле, слабо освещенном бездымным светом факела, укрепленного в стене.

Дуновение воздуха скользнуло по щеке. Андрей отшатнулся: черной маленькой тенью пролетела летучая мышь.

Никакого плана у Андрея не было. Он знал лишь одно: надо быть осторожным. И чем позже его заметят, тем больше шансов чего-нибудь достичь.

Он шел медленно, гладкий пол приятно холодил разбитые ступни. Впереди туннель пересекался с другим.

И тут гулко застучали шаги.

Андрей успел лишь прижаться спиной к стене.

Старуха прошла близко, она несла в руке какой-то металлический предмет — Андрей уловил лишь тусклый отблеск, не осознав формы. Из-под капюшона виднелся острый профиль, как у крысы. Нижняя часть лица была скошена и стремилась, как и лоб, к кончику носа, чуть повисшего от старости. Шаги старухи раздавались часто и дробно, будто у нее четыре ноги. Даже хотелось приглядеться, нет ли хвоста. Черное одеяние волочилось по земле, наружу лишь белые пальцы рук и лицо.

Было что-то зловещее в деловитости ведьмы. Она прошла по коридору, перпендикулярному туннелю, где стоял Андрей. Когда ее шаги затихли, Андрей добежал до слияния туннелей и осторожно выглянул.

Он успел увидеть, как старуха остановилась у гладкой стены и провела по ней рукой. В стене обнаружилась черная дыра, в которой ведьма и скрылась.

Андрей стоял за поворотом туннеля, поглядывал на неровный и тусклый огонь факела, на черную дыру в стене и мысленно уговаривал старуху: ну, выходи же, спать пора, чего ты ночью разгуливаешь?

Гробовая тишина пещеры стала невыносимой. Андрей уже сделал было шаг вперед, но тут в проходе снова показалась старуха. Она провела ладонью по стене, отверстие затворилось.

Старуха просеменила мимо. Сейчас остановится и скажет: «Здесь человечьим духом пахнет...» Что за чепуха лезет в глову! Три дня назад Андрей и не подозревал, что его жизнь будет зависеть от ведьмы.

Шаги затихли. Андрей просчитал до ста. Будем надеяться, что ведьмы отправились спать.

Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли.

Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным, стены неровны, кое-где свисали сталактиты.

Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость.

Натужно загудев, плита пошла в сторону.

Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Приключения смертельно надоели.

И тут загорелся тусклый свет.

Андрей стоял в обширном зале. Своды его были укреплены каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей; прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа, поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины.

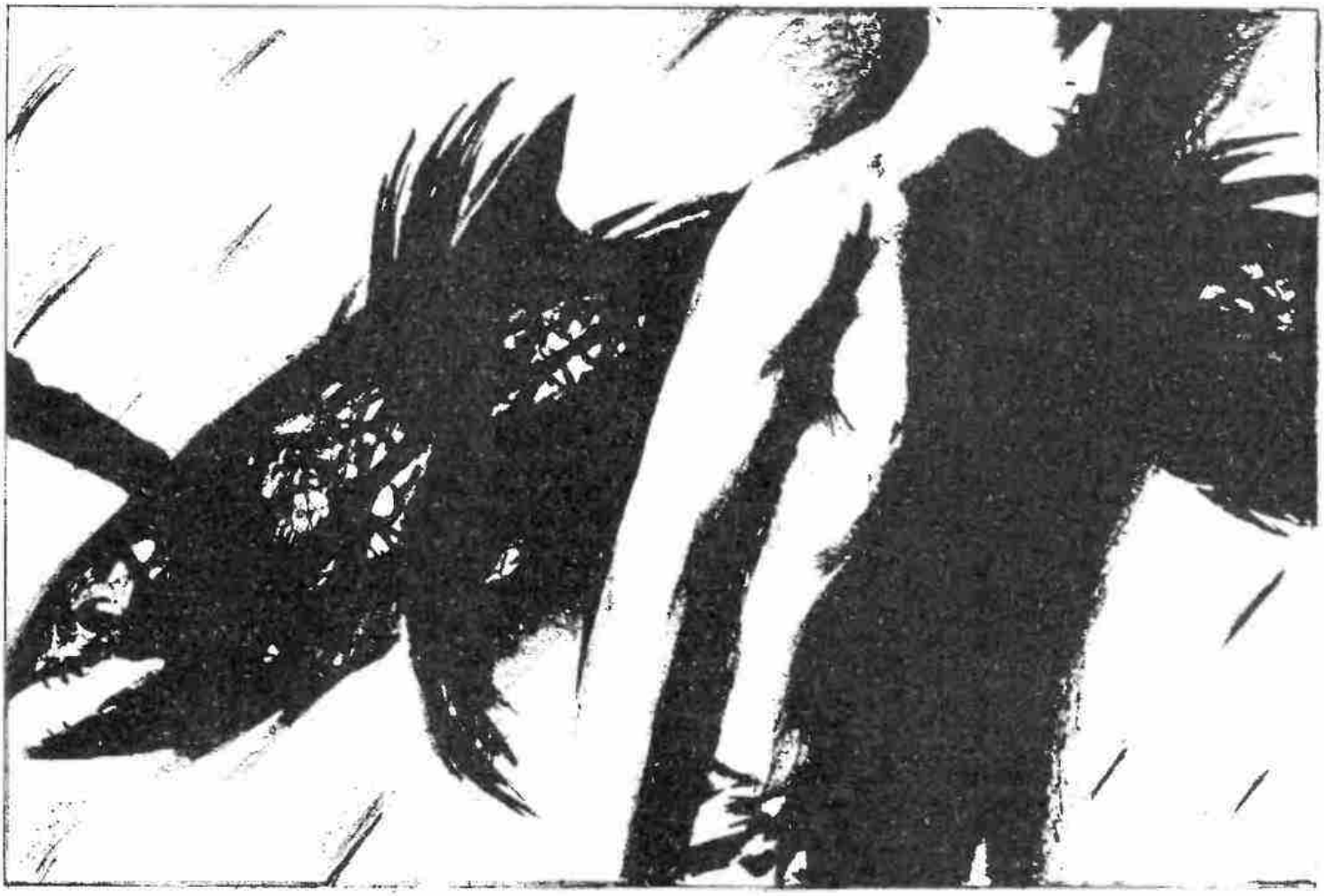
Андрей прислушался. Только привычный стук капель.

Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь: там было темно; можно было лишь предположить, что шкаф наполнен водой.

Центр зала заставлен витринами; они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно заблудиться. Нет, это не музей, а запасник.

Протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения, некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система; в отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших к входу витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие и неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в два метра... Лишь пройдя сто метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И наконец он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно — число витрин и их разнообразие были невероятны, а размеры увеличивались до гигантских; в витрине умещался диплодок, а далее — многометровая акула. Андрей отдавал хозяевам музея должное: они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми.

Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей, и это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они



остались в подземном складе. А сами собиратели улетели. В покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий. И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают...

Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца.

В четвертом зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем питекантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра.

Странно, думал Андрей, почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице? Их тоже смущала нелогичность этой планеты?

И тут Андрей увидел человека.

Было мгновение — Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать.

Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучела животных, но не чучела людей. Тем более это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек: грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошена и лоб покат,— но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставляла поверить в то, что человек «заспиртован».

У ног дикаря лежали кремневые скребки и костяные иглы.

Это сделали не люди, решил Андрей, переходя к следующей витрине, из которой на него в упор глядела девочка лет десяти. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы между заспиртованным человеком и заспиртованным ящером.

Людей в том зале оказалось немало — более сотни.

Андрей медленно и с неохотой совершал путешествие между тесно составленными витринами — аквариумами для людей. Каждый из них застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал: лица были спокойны.

Андрей, не в силах более идти по этой выставке, свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены, но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов...

Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и наконец добрался до конца выставки — дальше были лишь пустые, подготовленные для заполнения секции.

Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину.

На него смотрел Жан, худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный — поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты, карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели...

Хозяева музея не улетали с этой планеты.

Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв: им нужны экспонаты.

И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга — Жан и Белогурочка, теперь не осталось ни одного.

Зачем-то Андрей старался разбить витрину и освободить Жана. Занятие оказалось бессмысленным: даже если бы Андрей витрину разбил, он ничем не смог бы помочь другу.

Смерть Жана была горем, положение его — в банке, на показ — унизительным. Нагота Жана — нагота мало занимавшегося спортом, очень цивилизованного человека — была нескромной.

Потом Андрей спохватился: нет ничего глупей, чем пустая трата времени. Кончится тем, что сам угодишь в банку.

И он пошел прочь, не оглядываясь.

Он должен вырваться отсюда, уйти из этой проклятой котловины и вернуться к людям. Октин Хаш — лишь жалкая марионетка в руках ведьм. Какие они, к черту, ведьмы! Это замаскированные, спрятанные под темными тогами, холодные и расчетливые вивисекторы, умы далекие, пришлые... Если бы найти ответы на все вопросы, Галактика стала бы проста и благодушна. Ты достигаешь понимания на одном уровне, ты бьешься за него только затем, чтобы за следующим поворотом увидеть человека, стоящего на голове. Почему вы стоите на голове, спрашиваешь ты невинно, ведь у тебя дома люди не стоят на голове. Этот же человек, не меняя позы, выпускает в тебя смертельный луч, потому что ты оскорбил его своим вопросом.

За музеем, в котором стояла витрина с Жаном, начинался длинный широкий коридор. Вместо стен в нем тянулись металлические шкафы пятиметровой высоты. Освещен коридор был паршиво, редкие пятна света горели в потолке. Андрей поймал себя на том, что бежит трусцой, устало и мелко. Дыхание его, сбитое, порывистое, слишком громко летит по коридору. Он заставил себя идти медленнее, потом остановился, прислушиваясь.

И тогда услышал шаги. Неуверенные, осторожные. Андрей застыл, готовый метнуться обратно.

Из коридора вышла человеческая фигура. Человек был гол; судя по прическе, он принадлежал к стае Октина Хаша.

Напасть первым?

Человек увидел Андрея и пошел быстрее.

Тогда Андрей побежал назад. Бежать было трудно, распухшие ноги скользили по каменному полу. К тому же Андрей не мог заставить себя испугаться. Им овладела апатия, рухнувшая на него, когда он увидел то, что осталось от Жана.

Андрей обернулся. Голый дикарь бежал за ним.

Андрей свернул обратно в зал музея — там можно скрыться среди витрин.

Впереди поднялась витрина с телом Жана...

— Андрей! — услышал он.— Андрей, это же ты, я тебя узнал!

Слова относились к нему, и произнести их было некому, кроме человека, что преследовал его.

Андрей остановился.

— Андрей, ты меня не узнаешь? Это я, Жан!

Андрея охватил ужас.

Один Жан, мертвый, стоял совсем близко.

Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади.

— Стой! — закричал на него Андрей.

От злобного тона Андрея Жан остановился.

— Я не понимаю,— сказал он.— Что-нибудь еще произошло? Я что-то не так сделал?

— Вопрос не в том, что ты сделал,— сказал Андрей, не двигаясь с места.— Вопрос в том, что с тобой сделали?

— Пока ничего,— сказал Жан.

— А это кто? — Андрей показал на тело Жана в витрине.

Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад.

— Ну и глупо я выгляжу,— сказал Жан.— У тебя нет какой-нибудь тряпки прикрыть чресла? Очень неприлично, а понимаешь только со стороны.— Собственное раздвоение Жана не удивило.

— Да я не об этом! Это твое тело?

— Это отличная голограмма,— сказал Жан.—Если бы я не знал, что я здесь, решил бы, что я там.

— Понимаю. Но зачем им снимать с тебя голограмму и выставлять здесь? Они же имеют тебя во плоти.

— Я тебе скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они делали, я любовался. Ты думаешь, это просто голограмма? Это кочан капусты: миллион голограмм по слоям моего тела — оно все закодировано там, до последней клетки. Это совершенный памятник мне. Завтра утром меня отдадут колдуну, и его воины кинут меня акуле. Ты видел, какая тут в озере живет акула?

— Видел.

— Я погибну, а у них останется точная моя копия.

— Пойдем отсюда,— сказал Андрей.— Поговорим там, снаружи. Они могут в любой момент хватиться.

Уже прошел двойной шок — от встречи с мертвым Жаном и от перехода к Жану живому. Надо было действовать.

— Они не хватятся,— сказал Жан.— Они спят.

Все же они пошли прочь из музейного зала: соседство с копией Жана было неприятно обоим.

— Кто эти ведьмы?

— Не знаю,— сказал Жан.

— Ты с ними не говорил?

— Говорил. И немало. Но с невнятными результатами.

Они вновь вышли в коридор.

— Есть другой путь наверх? Или надо возвращаться через этот проклятый музей?

— Меня через музей не проводили.

— Ты так и не сказал, зачем они это делают.

— Андрей, ты задаешь слишком много вопросов,— улыбнулся Жан.— Я сам мало что знаю. Делают они это... потому что так положено. Это ответ, который я сам получил. Им дают жертву, то есть пленника, лишь на время, на одну ночь. Считается, что они готовят ее к смерти. Но эта жертва — не их, она принадлежит стае. Они ее должны вернуть. Таков обычай.

— Это ничего не объясняет.

— Они меня привели в свою лабораторию.

— У ведьм лаббратория?

— Когда они меня туда привели, у меня как камень с души. Значит, я не у дикарей, которые не знают пощады. Значит, здесь есть цивилизованные существа. Я гляжу на эти грязные старческие рожи и говорю им: «Поймите, тут недоразумение. Я попал сюда по ошибке». Но они так и не поверили, что я не дикарь...

Жан замедлил шаги.

— Хочешь посмотреть на лабораторию?

— Ты уверен, что они не спохватятся?

— Загляни.

Жан открыл дверь в стене. Он тоже понял, каким образом открываются здесь двери. Каменная плита утонула в полу.

— Осторожнее, не ушиби макушку. Здесь у них неполадки с энергией,— сказал Жан.— Я спрашивал, чем они питаются. Они поняли меня буквально, будто я говорю о бутербродах.

— И что же ответили? — с интересом спросил Андрей.

— Что им не надо питаться. Они выше этого. Они ведьмы.

— Логично,— сказал Андрей, ступая в большое сводчатое помещение, тесно уставленное приборами, назначения которых не угадаешь.— Они сами со всем этим управлялись?

— Вполне профессионально.

— Ты не сопротивлялся?

— Я на своем опыте понял, что ведьмы сильны, как медведи.

Андрей подошел к операционному столу, с него свисали пластиковые ремни. Он толкнул стол, тот поехал.

— Я сначала решил, что они меня разрежут. Очень испугался.

Они шли за столом, который катился в угол комнаты.

— Одна из ведьм уговаривала меня, что мне не будет больно, что мне не причинят вреда.

— Ты можешь уловить акцент, когда они здесь говорят?

— Я способен к языкам. Я их чувствую. Это был их язык. Но говорил лишь рот. Лицо в этом не участвовало. Это ненормально.

— И дальше?

— Дальше они начали меня исследовать. Они не только сняли с меня голограмму, они брали образцы крови, кожи, волос — порой это было неприятно. Они были жутко деловиты.

— Между собой говорили?

— Нет. Но я, как успокоился, начал задавать во-

просы. И они отвечали. Они сказали, что меня исследуют, чтобы оставить обо мне память. А самого меня отдадут акуле, так велит закон. Мне было бы понятнее, если бы они плясали вокруг меня, колдовали, шаманствовали, а они проводили физиологическое обследование. А потом я увидел, как в стеклянном цилиндре проявляется моя копия — сначала это был скелет, потом он стал обрастать сосудами, внутренностями. Зрелище интереснейшее. Когда появилась кожа, я думаю, кто это такой знакомый. А это я, собственной персоной.

— А как ты от них сбежал?

— Эти гуманисты заперли меня в пустой камере. Но я подсмотрел, как здесь открываются двери.

— Гуманисты?

— Разумеется. Они удобно устроились. Они никого не убивают. Они настоящие ученые, экспериментаторы, они собирают музей, никому не вредя. Они берут напрокат лишь тех, кому по законам степи положено погибнуть. Помнишь, как делала инквизиция? Преступник передается в руки светских властей...

— Я удивлялся,— сказал Андрей,— откуда у Октина Хаша столько железа?

Жан остановился у очередной двери.

— Ведьмы здесь. Я искал выход и наткнулся на них.

В небольшом помещении с несколькими погасшими экранами, над пультом, протянувшимся вдоль одной из стен, стояли неподвижно, темными привидениями, шесть ведьм. Шесть одинаковых черных фигур, закутанных в темные тоги. Они были одного роста, одного сложения, они стояли строго в ряд, как манекены. И это окончательно укрепило Андрея в его предположениях.

Жан остался у входа.

Лица ведьм были одинаковы. Глаза открыты и пусты.

Андрей внимательно осмотрел первую из старух. Он приподнял холодную тяжелую руку.

— Осторожно,— испуганно шепнул Жан.

— Помолчи, Жан,— сказал Андрей.— Ты замечательно умеешь разбираться в языках, а я умею разбирать и собирать часы.

— Часы?

— Чтобы посмотреть, где там сидит жучок. Если часы с обманом.

Говоря, Андрей отыскал тонкий шов на тоге ведьмы — черную молнию. Тога распахнулась. Жан, должно быть, ожидал увидеть внутри старческое белое тело и собирался отвернуться. Но увидел панель. Пальцы Андрея работали быстро, но осторожно; он был похож на сапера, который обезвреживает мину, прислушиваясь, не начнет ли она отсчитывать секунды перед взрывом.

Щелкнуло. Панель откинулась. Андрей грубо рванул на себя какую-то планку. На пол, зазвенев тонко и жалко, посыпались микроскопические детальки.

— Вечного тебе покоя, бабушка,— сказал Андрей, переходя к следующей ведьме.

Когда они выбрались из черной кибитки, снаружи было светлее. Становище на том берегу спало. Лишь в одном месте алым пятном догорал костер. Кибитки казались горстками земли, выкинутыми кротом на зеленую лужайку. Было так тихо, что, когда далеко на склоне заржала лошадь, показалось, что звук родился рядом.

— Здесь нет цикад,— сказал Андрей тихо.

— Красота какая! — сказал Жан.— Я и не предполагал, что буду снова любоваться звездами.

— К счастью, память избирательна.

— Ингрид очень любила ночь. Больше, чем день. Странно?

Андрей не ответил. Он смотрел на вторую черную кибитку.

Потом сказал:

— Я загляну туда. Время еще есть.

— Вот этого мы и не знаем,— сказал Жан.

Но пошел вслед за Андреем.

Андрей откинул полог. И включил факел, который снял со стены в подземелье ведьм. Светильник был ловко сделан под факел — хозяева ведьм не хотели, чтобы попавший внутрь дикарь почуял неладное. На конце факела вспыхнуло пламя неровное, мятущееся и похожее на настоящее.

Пересекая кибитку, тянулся невысокий длинный стол. На нем были разбросаны белые кости.

Андрей подошел поближе.

— Осторожнее! — предупредил Жан.

Андрей чуть не наступил на череп. Человеческий череп. Кости на столе тоже были человеческими. В глубоком кресле сидел скелет. Остатки блестящей гладкой одежды свисали странной бахромой. Андрей понял, почему скелет не рассыпался и не упал с кресла: он был пришпилен к спинке тремя короткими копьями.

Неровное пламя факела заставляло скелет в кресле дергаться. Андрей обошел стол. На полу лежал еще один скелет, на кисти руки, перехваченной металлическим браслетом, поблескивал какой-то прибор. Одежда была разодрана в клочья. Андрей понял, что до трупов добрались грызуны или муравьи. Череп человека, лежавшего на полу, был раскроен топором.

Андрей прошел за стол и опустился на корточки, шаря рукой по полу. По аналогии с кибиткой ведьм здесь должен быть ход вниз.

— Кто они? — спросил Жан из полутьмы. Он не отходил от входа.

— Хозяева ведьм,— сказал Андрей.

— Кто их убил?

— Ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы.

— Степняки,— сказал Жан,— трепещут перед ведьмами. Они никогда бы не подняли на них руку.

— Удивительное убеждение.— Андрей нашел, наконец, нужный камень, и плита в полу сдвинулась.— Конрад верил в нечто подобное до последней секунды жизни... Степняки еще слишком первобытны, чтобы трепетать. Как только среди них родился сообразительный вождь, он смог сделать выводы. Выгодные для себя. Представь себе такую картинку...

Голос Андрея стал звучать глуше. Жан увидел, как пламя факела спустилось к полу, освещая круг шахты, и затем скрылось в ней.

— Ты куда?

— Надо же поглядеть, что внутри.

— Слушай, Андрей, сюда прилетит экспедиция, они не спеша все обследуют. Здесь... неприятно.

Жан все же отошел от входа и остановился над шахтой.

— Ну вот, я так и думал,— сказал Андрей. Факел осветил скелет, лежавший на дне. Скелет был одет в зеленый свободный костюм — в подземелье не добрались хищники.— Он успел закрыть люк, и Октин Хаш остался ни с чем.

— Ты уверен, что это дела Октина Хаша?

— Да,— ответил Андрей,— на сто процентов.

Он говорил, закинув голову, и пламя факела искажало его черты.

— Все это было экспериментом. Когда наши прилетят, они обследуют подземелье и подтвердят. Это был великолепный, грандиозный эксперимент. Даже нам такой не по плечу. Они взяли планету, на которой жизнь делала лишь первые шаги, и начали гнать эволюцию скоростными темпами. Они создали для эволюции оптимальные условия, они подгоняли генетику, они втискивали миллионы лет в годы.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что это — единственное объяснение тому, что рядом здесь живут динозавры и питекантропы. Я никак не мог сообразить, почему не вымерли динозавры? Почему птицы не вытеснили птеродактилей? А ответ относительно прост: они не успели вымереть. Эволюция здесь шла под контролем генетиков и генных инженеров.

— Но все равно это должно занять много лет.

— Тысячи лет, несколько тысяч.

— Но зачем, зачем? Кому это нужно?

— Я тебе назову множество экспериментов, которые ставила и ставит земная наука и которые могут показаться бессмысленными профану. Когда-то эксперименты генетиков с мухой дрозофиллой осмеивались как пустые... А знаешь, чем занимался мой дед, ува-

жаемый профессор? Он со своими учениками изготавливал орудия каменного века, рубил деревья каменными топорами, путешествовал в долбленых лодках и пахал землю деревянным плугом. Он хотел воссоздать технологию каменного века. Эксперименты, на которые идет наука, тем грандиознее, чем больше возможности ученых. Я могу поклясться, что, когда биологи и палеонтологи на Земле узнают об этом эксперименте, они взвоют от зависти. Воспроизвести эволюцию на целой планете — это же грандиозно!

— Но эксперимент затянулся на множество поколений...

— Этого мы не знаем,— сказал Андрей. Он опустил голову, глядя на скелет, лежавший у его ног. Свет факела вырвал из темноты остатки седых волос, обрамлявших череп.— Мы не знаем, сколько лет они жили. Может быть, они достигли бессмертия? Может, они жили по тысяче лет? Что мы знаем, брат Жан?

— Даже если это так, они потерпели поражение,— сказал Жан.

— Ты прав. Они могли разрубить горный хребет, чтобы осушить долину или соорудить болото для диплодоков. Они добились главного — создания разумного человека. Им пришлось приспосабливаться к тому, что они сами создали. Они сделали ведьм, чтобы поторопить людей и воспользоваться их верой в высшие силы. Люди сами стали приводить к ним...— Андрей искал нужное слово.

— Экземпляры,— подсказал Жан.

— Они продолжали торопить эволюцию, полагая, что прогресс социальный можно ускорить так же, как генетический. Вместо того, чтобы ждать тысячелетия, прежде чем люди сами додумаются до того, как плавить металлы, они стали выдавать им металлы. Причем уже в готовой форме — в форме оружия. Эксперимент дал результаты.

— Он был бесчеловечным.

— Боюсь, что эта категория была ими упущена.

— На чем бы они остановились?

— Не представляю. Но их остановил Октин Хаш. Он отлично понял, откуда приходят наконечники стрел и кинжалы. Для того чтобы стать властелином степи, ему нужно было больше железных ножей, чем он получал. Очевидно, они отказались удовлетворить его ненасытные стремления, и он решил взять эволюцию в свои руки.

— И застал их врасплох.

— Они слишком хорошо знали эту планету, они были уверены, что все здесь — создание их разума. Включая Октина Хаша...

— Чудовище Франкенштейна сожрало своего создателя?

— Хуже другое: Октин Хаш набрался опыта общения с пришельцами с неба. Он вкусил их крови. И это погубило наших с тобой товарищей. Опасно быть богом...

— Опасно полагать себя богом,— поправил Андрея Жан.

— Я пройду по этому коридору.

— Только недалеко,— сказал Жан.

У стен стояли бесконечные стеллажи. На них — контейнеры.

Андрей открыл наугад один из них.

Он был наполнен наконечниками для стрел. Железными, хорошо заточенными наконечниками. Они лежали аккуратными рядами, каждый в пластиковом пакете. Они были штампованы, но штамп тщательно имитировал неровность ручной ковки.

— Как ты думаешь,— донесся до него голос Жана,— почему не прилетели новые? Почему остались только роботы?

— Я не знаю,— откликнулся Андрей.

Стеллажи, стеллажи... Орудия, которые предназначались для степняков. И орудия, которые им еще предстояло получить. Ящик со стременами... контейнер со стальными мечами... пакеты с семенным зерном, железные гарпуны, стальные иглы... Коридор уходил далеко вперед, и для того, чтобы понять, где рубеж опеки, надо было потратить еще немало времени.

На несколько секунд Андрей задержался у широкой арки, что вела в еле освещенный зал, где длинными рядами стояли агрегаты, накрытые одинаковыми серебряными кожухами. Контроль над планетой требовал невероятной изобретательности и сказочных ресурсов... Но все это не спасло богов.

— Эй! — донесся далекий крик Жана.

— Иду.

Андрей выбрался из шахты.

— Что там? — спросил Жан, глядя на железный меч, который Андрей захватил с собой.

— Склады. Склады бус и других подарков для дикарей. Для общего образования.

Андрей пошел к выходу.

— Грустно,— сказал Жан, аккуратно закрывая полог, словно боялся нарушить покой тех, кто там остался.— Такие усилия — и все впустую.

— Не совсем впустую. Все те люди существуют.— Андрей обернулся к спящему становищу.

— Они рабы изувера — Октина Хаша.

— Кто такой Октин Хаш? Дикий мальчишка. Ему протянули конфетку, и он оттяпал руку дающую. Теперь ему придется надеяться лишь на себя.

Справа над горами небо начало светлеть. Прохладный ветерок зарябил темное озеро. В центре оно взбурлило, и волны разбежались, раскачивая тростник у дальнего берега. Акула проголодалась. Акула ждала жратвы.

— Не дождешься,— сказал ей Андрей, запахивая черную тогу, позаимствованную у выключенной ведьмы.

Жан не понял и спросил:

— Ты кому грозишь?

— Не знаю,— сказал Андрей рассеянно.

— Лучше бежать туда, через горы,— сказал Жан.

— И куда же мы побежим?

— Сначала надо уйти как можно дальше,— сказал Жан.— Потом мы найдем способ связаться с нашими.

— И далеко мы уйдем с тобой по степи пешком? В лучшем случае нас догонят через несколько часов, в худшем — нами позавтракает первый же тиранно-завр.

— Так что же, сдаваться Октину Хашу?

— Это вариант,— серьезно сказал Андрей.

— Мы выберемся отсюда, потом зажжем большой костер,— сказал Жан.— И нас увидят сверху.

— При нескольких условиях,— возразил Андрей.— Во-первых, надо быть уверенными, что наши вообще наблюдают за планетой. А большого смысла я в этом не вижу.

— Но ведь они должны нас отыскать!

— Судя по их информации, нас нет. Мы погибли на станции. Но даже если корабль все еще на орбите, как ты зажжешь костер? Трением? Или ты спрятал в ухе зажигалку?

— Это не означает, что мы должны сдаваться!

— Я тебя к этому не призываю. И если бы я любил сдаваться, то не стал бы тебя искать.

— Но ведь ты сюда добрался! Сам!

— Не сам. Я бы и часа не выжил в степи, если бы не Белогурочка.

— Белогурочка?

И когда это имя было произнесено рядом, другим человеком, вернулась и Белогурочка. Ее только что не было — она была изгнана из памяти. Белогурочка, которая спит, доверчиво спрятав голову у него на груди, Белогурочка с бешеными от злости глазами, Белогурочка, плачущая в лесу...

— Она меня выручила из плена,— сказал Андрей.— Иначе как я смог бы оказаться здесь?

— Правильно. Я думал все время, куда тебя спрятали? Ведь ты должен был оказаться в святилище раньше меня... Ее послал отец?

— Как-нибудь расскажу.

Они шли вдоль озера. Было видно, как просыпается становище. Раздался плач ребенка, откинулся полог в одной из кибиток, и женщина спустилась к тростнику за водой. Громкий голос доносился от табуна, что пасся на склоне.

— Странно,— сказал Жан.— А почему она оказалась в становище?

— Ты ее видел?

— Да, еще вчера. Она была в становище, разве ты не знаешь?

— Знаю. Она хотела выручить своего брата, но опоздала.

Андрей не хотел говорить Жану, что видел Белогурочку в кибитке Октина Хаша. Как будто говорить об этом стыдно.

— Конечно,— сказал Жан.— Ее схватили раньше, чем она до него добралась. Октин Хаш знал, что она придет.

Андрей кивнул, разумеется, ведь воины искали их у пещеры.

— И он сделал просто,— Жан рассказывал обыкновенно, с сочувствием к Белогурочке, но не более.— Он загнал в кибитку, где сидел и я, рабынь из ее стаи. Знал, что она будет их искать. А за кибиткой спрятал воинов. Так просто... Она только вышла, ее и схватили.

— Постой! — Андрей остановился.— Но я видел ее в кибитке Октина Хаша! Ночью. Она была свободна. Она с ним разговаривала.

— Она же дочь вождя,— сказал Жан.

И Андрей вдруг уловил в его голосе интонацию Белогурочки, как будто сейчас Жан скажет: «Какой ты глупый! Это же само собой разумеется!» Ничего для Андрея не разумелось.

— А что будет?

— Он возьмет ее себе в жены.

Андрей хотел возразить. Но не было правильных слов. И пока он их искал, на том берегу раздался тонкий крик.

Андрей взглянул туда.

В тростниках стояла женщина, которая показывала в их сторону и что-то кричала.

— Что случилось? — Андрей остановился.

— Она кричит, что видит ведьм,— сказал Жан.

— Ну конечно же!

Они оба были облачены в черные тоги, снятые с роботов.

Андрей опустил на глаза капюшон.

— Может, попробуем подняться здесь? — Жан показал на крутой склон, который начинался за кибитками ведьм.

— Нет,— сказал Андрей.— Мы пойдем с тобой к Октину Хашу.

В кибитке Октина Хаша горел свет. Он пробивался теплыми в рассветной синеве лучами сквозь швы шкур, которыми она была покрыта. Часовой сладко спал, свернувшись калачиком у входа. Андрей заглянул в щель. Внутри кибитки было два человека.

Октин Хаш сидел на шкурах, скрестив ноги, держа в руке чашу и отхлебывая из нее. Толстый колдун развалился на полу вялой грудой жира, казалось, что он тает, растекается. Между ними на железном треножнике горел факел. Андрей боялся увидеть Октина Хаша с Белогурочкой. Вдвоем. Он не хотел в этом сознаться даже самому себе.

Белогурочки там не было.

Андрей кивнул Жану, чтобы тот следовал за ним, и откинул полог уверенным движением хозяина.

Октин Хаш рванул голову вверх — на звук шагов, на резкий шорох полога.

Две ведьмы — в черных до полу тогах, капюшоны на глаза, высокие и худые — вышли на середину кибитки, как призраки мести.

Андрей был убежден, что Октин Хаш испугается. Он не может не испугаться. На этом и строился весь расчет.

Октин Хаш поднял голову. Тонкие губы были растянуты в улыбке. Толстый колдун хихикал, словно кашлял. Черные ведьмы остановились у входа.

— Мы недовольны тобой, Октин Хаш,— сказала одна из них.

Октин Хаш смотрел на босые, израненные ноги ведьм. Колдун задыхался от смеха.

— Ведьмы никогда не приходят сюда,— сказал Октин Хаш.— Мы ходим к ним. Но если кто-то надел на себя черную одежду ведьм, он будет нашим гостем.

— Что он говорит? — спросил Андрей.

— Он догадался, что мы не ведьмы.

— Мы смотрели, как вы шли вокруг озера,— сообщил Октин Хаш.— Вы убили ведьм? Мне не жалко. Ведьмы давно уже нам ничего не дают. Вы правильно сделали, что убили ведьм. Садитесь. Будем вместе пить и говорить.

Он засмеялся удовлетворенно — приятно быть умнее противника, а Октин Хаш опять был умнее пришельцев. Он заговорил.

Андрей откинул капюшон. Жан переводил:

— Когда поймали Белогурочку, он сразу понял, что ты близко. Ты настоящий вождь, а вождь не сидит в кустах. Он думал, что ты нападешь на него. Но ты пошел к ведьмам. И это правильно: что жизнь женщины, когда есть мужчина из своей стаи?

Андрей не знал, издевается Октин Хаш или говорит серьезно. Обвиняет ли его в предательстве или отдает должное мудрости.

— Мы смотрели,— слышал Андрей ровный голос Жана,— мы знали, что вождь небесной стаи пошел к ведьмам. Чтобы освободить Жана, который говорит на нашем языке. И мы ждали, вернешься ли ты, или ведьмы тебя убьют.

— Ведьм больше нет,— сказал Андрей.

— Их слуги, старые люди, давали нам оружие,— сказал Октин Хаш.— Они давали нам много наконечников для стрел и копий, они давали нам ножи. Они давали нам хорошие листы железа, они учили нас стрелять из лука. Но они давали мало. А нам надо было готовиться к большой войне. Мы пошли, чтобы взять все.

Октин Хаш обернулся к Андрею и замолчал, почесывая переносицу. Потом заговорил:

— Я могу позвать моих воинов,— сказал он,— вас принесут в жертву великой рыбе озера...

— Пускай он скажет, чего хочет,— перебил Жана Андрей.

— Йаххх,— заворковал Октин Хаш, довольный поворотом разговора. Он вскочил со шкур и принялся, наклонив голову, как петух, ходить вдоль стены.— Я не хотел никого убивать. Я не хотел убивать твоих людей. Но мне нужно оружие. Я наказал стаю старых людей, я думал, что ведьмы дадут оружие, но они не давали. Я наказал твою стаю и взял железо. Но мне мало! Я отпущу вас, чтобы вы приносили мне железо. Много железа. Я дам вам место для охоты и буду защищать вас. Я не хотел тебя убивать и Жана не хотел убивать! Я бы не кинул вас рыбе! — Октин Хаш хихикнул.— Я бы попугал вас. А потом сказал бы — идите к себе и принесите много железа великому вождю Октину Хашу.

Колдун мелко кивал, подтверждая мудрость вождя.

— Скажи ему,— произнес Андрей,— что мы подумаем.

— Хватит с него оружия. Он же бандит,— сказал Жан.

— Мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой,— сказал Андрей.— Ты хочешь, чтобы акула тобой позавтракала? Я не хочу. У нас полная свобода выбора.

— Я понимаю,— сказал Жан.— Но все равно противно.

— Тогда переведи, что мы подумаем. Если он сделает нам дурное, он ничего не получит.

Октин Хаш не скрывал торжества.

— Ты мой друг,— сказал он Андрею.— Мы будем скакать рядом по степи.

— Он даст нам коней и Белогурочку,— сказал Андрей.

Октин Хаш удовлетворенно захлопал ладонями по бедрам.

— Он говорит, что сам будет приказывать нам, сколько дать железа. И мы дадим ему луки, которые стреляют огнем.

— Обещай ему атомную бомбу,— сказал Андрей.— А что он говорит о Белогурочке?

— Он говорит, чтобы ты сам ее искал. Она ему не нужна.

— Где она? — почти закричал Андрей.

— Катурадж,— развел руками Октин Хаш.

Андрей помнил это слово.

— Они ее убили?

Заговорил колдун. Жан выслушал его, и Андрей с ужасом ждал, что Жан сейчас скажет: ее убили. Он даже поднял руку, словно хотел заставить его замолчать.

— Белогурочки здесь нет,— сказал Жан.— Она убежала. Она дикая, как зверь. Она им не нужна. По-моему, они не врут.

Октин Хаш хлопнул в ладоши. Вошел часовой. Вождь отдал приказание.

Андрей чувствовал великую, бездонную пустоту.

— Он говорит, чтобы мы не спешили. У него есть суп. Он хочет накормить нас. Он знает, что мы голодные.

— Если хочешь, поешь,— вдруг ожил Андрей,— а мне надо сделать еще одно дело.

И он, не оборачиваясь, вышел из шатра.

— Ты думаешь, они не отравят суп? — спросил вслед Жан.— Жрать хочется смертельно.

— Не отравят. Ему нужно железо. Он очень горд собой. Победители не травят побежденных. Они просто пляшут на их костях.

Снаружи уже накатился рассвет. Он был голубой, туманный, зыбкий. Пахло дымом.

— Ты далеко? — Жан выглянул из кибитки.

— Когда поешь, жди меня с конями к востоку от становища.

— Где здесь восток?

— Восток везде там, где встает солнце,— сказал Андрей.

Андрей быстро прошел мимо крайних кибиток. Там начинался подъем. Кусты были мокрыми от росы. Андрей как-то забыл за всеми событиями о странностях этой планеты и, когда на него спикировал небольшой птерозавр, он от неожиданности упал. Птерозавр клацнул пастью над самым ухом и сразу взмыл кверху.

С половины склона Андрей обернулся. Озеро затянулось туманом. Черные кибитки поднимались над ним, как затылки погрузившихся в воду купальщиков. Какого черта я не сказал Жану, чтобы он захватил для меня супа. Полцарства за глоток горячего супа!

Андрей подобрал полы черной тоги и начал карабкаться по крутому склону. Затея его пуста, но отказаться от нее нельзя.

Он вышел на плато в стороне от того места, где провел вчерашний день. Но сразу увидел дерево с обломанной вершиной.

Белогурочка сидела под ним, сжавшись в комочек. Ей было холодно. Видно, она дремала и услышала приближение Андрея, когда он был уже в нескольких шагах.

Она широко раскинула длинные смуглые руки и побежала к нему.

— Ты убил черную ведьму! — Голос ее звенел, дрожал от возбуждения и сладкого ужаса.— А я думала, что они тебя убили!

Она с разбегу прыгнула в открытые объятия Андрея, обхватила его руками и ногами, как обезьяна. Она была мокрой от росы и горячей.

Она повторяла, как во сне:

— Я все равно тебя ждала. Я убежала от них и ждала. Я бы тебя до конца ждала. Пока не умру. Ты веришь?

— Верю, Белогурочка,— отвечал Андрей.— Поэтому я и пришел сюда. Октин Хаш сказал, что ты убежала. И я сразу пошел сюда.

— Ты зачем говорил с Октином Хашем? Ему нельзя верить.

— Я знаю. Он нас не тронет. Он даже дал нам лошадей.

— Хээх! — воскликнула Белогурочка.— Ему нужно железо? Он убил старых людей, он убил твоих людей, он убил моих братьев, а железа не хватает. Я правильно говорю?

Белогурочка соскользнула на землю и стояла, тесно прижавшись к Андрею, как замерзший странник прижимается к печке. Голова ее была запрокинута, и в глазах отражалось голубое утреннее небо.

— Жан с лошадьми ждет нас у загона.

— Тогда пошли скорее, потому что Октин Хаш может передумать. Он решит: лучше пускай они сидят у меня, а я буду менять их на железо... Ты согласился давать им железо?

— Я согласился бы на что угодно, чтобы нам уйти отсюда.

— Правильно,— обрадовалась Белогурочка.— Ты будешь давать железо моей стае, и мы перебьем всех воинов Октина Хаша!

Они начали спускаться вниз по осыпи и по мокрой траве. Потом Белогурочка остановилась, велела Андрею подождать, стрелой взлетела обратно, вернулась с кожаной сумкой, оттуда достала кусок вяленого мяса.

— Я утащила у них,— сказала она.— Я думала: если Андрей живой, значит, он голодный.

— Светлая мысль,— согласился Андрей, вгрызаясь в жилистое мясо. Он никогда в жизни не ел такого вкусного мяса.

Белогурочка спускалась рядом и радовалась, что оказалась предусмотрительной.

— Ты ешь,— повторяла она.— Тебе надо есть, ты большой мужчина. А я уже поела, пока тебя ждала. Я думала, если ты мертвый, то я потом доем, а если ты живой, то обязательно голодный. А как ты убил ведьму? Это очень страшно? Ты был у них в кибитке?

— Угу.

— А другие ведьмы? Они будут мстить?

— Нет, мы с Жаном всех ведьм убили.

— Мой мужчина — самый сильный в степи,— сообщила Белогурочка.

Туман рассеялся, и они издали увидели, что Жан ждет у загона, рядом с ним три лошади. Несколько пастухов стоят поодаль, робко поглядывая на черную тогу ведьмы, в которую облачен Жан.

Их никто не преследовал, лишь у выхода из котловины их догнал всадник от Октина Хаша и дал им копья — Октин Хаш хотел, чтобы они добрались невредимыми.

Они выбрались из котловины той дорогой, какой пришел Октин Хаш. Тропа была широкой, пыль прибита росой. Жан все время оглядывался — ему казалось, что вот-вот сзади раздастся топот погони.

— Хэ! Глядите! — крикнула Белогурочка.

На берегу небольшого озерка, еще не высохшего от летней жары, в грязи, перемешанной копытами и лапами животных, приходящих сюда на водопой, топтался десятиметровый трицератопс. Треть громоздкого тела занимала голова, лобовой панцирь которой уходил веером назад, ложась на широкую спину, расширяясь и заканчиваясь костяными пальцами. Короткий хвост не доставал до земли — природа воплотила в ящере идеал обороны.

Вокруг чудовища вились, подпрыгивая, мешая друг другу, ящеры, похожие на страусов,— громадные задние лапы, длинный вытянутый назад, напряженный от охотничьей страсти хвост, змеиные головы, усеянные рядами треугольных зубов, передние лапы невелики, но увенчаны острыми когтями. Подскакивая к трицератопсу, они высоко взлетали и вонзали в панцирные бока ящера полуметровые кинжалы когтей. Когти скользили по панцирю, трицератопс лениво поворачивал маленькую голову, всем своим видом давая понять: «Ну что еще за несчастье, я пришел напиться, никому не мешал, а эти злобные твари меня беспокоят».

— Им его не одолеть,— сказал Жан, который тоже придержал коня.— Жадность их погубит.

— Зря они нападать не будут,— сказал Андрей.— Это не люди, чтобы тратить время впустую.

Белогурочка подскакала к ним.

— Сейчас он устанет,— сказала она.— И они его повалят. Это очень интересно. Я думала, что его больше нет, всех съели. Один великий воин сделал себе щит из его шеи. Два человека не могли поднять этот щит. Очень красиво.

Высокая трава скрыла озерко, и ветер унес шум сражения.

— Тебя не удивляет, как она свободно говорит? — спросил Жан.

— Я потрясен.

— Это мой метод,— сказал Жан.— Ну и, конечно, ее способности.

— Я очень умная,— сказала Белогурочка.— Я дочь великого вождя и жена великого вождя.

— Кто же твой муж? — спросил Жан.

— Мой муж — Андрей,— сказала Белогурочка, подъезжая к Андрею и кладя ладонь на его колено.

— Это новость,— сказал Жан.— Почему же вы раньше мне не сказали?

— А как же тебе скажешь,— удивилась Белогурочка,— если ты сидишь в плену у ведьм?

— Это в самом деле так? — спросил Жан смущенно, словно о чем-то слишком уж деликатном.

— А я откуда знаю? — вдруг озлился Андрей.— Ты думаешь, меня на этой планете кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает? Сначала меня объявили женихом и даже спасли из плена, затем мне было сказано, что все это чистой воды дипломатия, а на самом деле превыше всего интересы стаи. Затем Белогурочка чуть не вышла замуж за Октина Хаша...

Белогурочка зло, с оттяжкой хлестнула его кожаной нагайкой по плечу.

— Ты что? — крикнул он.— Что я сказал?

— Ты ничего не сказал.— Белогурочка ударила коня пятками в бока и поскакала вперед.

— Дикие нравы,— сказал Андрей, почесывая плечо, на котором вздулась полоса, будто от ожога.

— Не возбуждай в девушках тщетных надежд, господин кавалер,— сказал Жан.— Очередное столкновение цивилизации и дикости закончилось в пользу дикости.

— Я мечтаю о той светлой минуте,— искренне сказал Андрей,— когда ступлю на палубу самого обыкновенного космического корабля и забуду о дикарях и их покровителях.

— А я, пожалуй, останусь здесь,— сказал Жан.— Если станцию не закроют, я останусь. Удивительная станция, уникальная.

По небу прошла белая полоса. Черная точка мелькнула и пронеслась в сторону святилища.

— Андрей! — закричал Жан.— Это наши!

— Все-таки они не улетели,— сказал Андрей.

Планетарный катер опустился рядом с ними примерно через час после того, как они увидели его в первый раз.

Штурман сказал Андрею, что Ингрид пришла в сознание этой ночью, и тогда капитан «Граната» узнал, что виновниками нападения на станцию были люди Октина Хаша. Поэтому катер сразу был отправлен к святилищу ведьм.

Они были готовы к поискам, к сложным переговорам с дикарями, но все оказалось просто. Октин Хаш сам вышел к опустившемуся катеру, вынес с собой часы Андрея — он был спокоен и не боялся мести людей. Он знаками показал, что Андрей и Жан уехали. Штурман связался с кораблем, и оттуда с помощью «глаза» прочесали степь. В тридцати километрах от становища обнаружили трех всадников...

Катер стоял на берегу реки. Река была еще широка, хотя приливная волна давно уже прошла по ней.

Андрей поговорил с капитаном, вкратце объяснив ему, что произошло за последние два дня.

Разговаривая с кораблем, Андрей пил кофе и ел бутерброды, не замечая, что ест. А потом, когда связь кончилась, он спохватился, что Белогурочка голодная, а он совсем о ней забыл. Стало неловко. Вокруг Жана хлопотал врач — Жан с удовольствием отдался в его руки, но как-то сразу обмяк, его знобило.

Андрей, держа в руке большой бутерброд с сыром, вылез из планетарного катера. Он сразу увидел Белогурочку. Она повела коней к реке поить. Кони стояли по колено в воде, а Белогурочка сидела на берегу и глядела перед собой.

Андрей подошел к ней. Белогурочка не обернулась.

— Поешь,— сказал Андрей.— Это вкусно.

Не оборачиваясь, Белогурочка подняла руку ладонью кверху. Андрей положил бутерброд на ладонь.

— Ты улетаешь? — спросила Белогурочка.

— Конечно,— сказал Андрей.— Меня ждут.

— А я остаюсь?

Андрей кивнул, хоть она и не могла увидеть такой ответ.

Стало жарко. Между лопатками Белогурочки блестел пот.

— Тогда улетай,— сказала Белогурочка.— Зачем стоишь?

— Я думаю,— сказал Андрей.

— Брюс! — закричали от катера.— Мы поднимаемся?

— Давай, мы довезем тебя до твоего становища,— сказал Андрей слишком бодрым голосом.— Пускай они удивятся.

— Кто там удивится? — сказала Белогурочка.— Воинов нет, а про меня думают, что я уже убита.

— Тебе лучше лететь с нами, чем ехать одной по степи.

— А как же лошади? — спросила Белогурочка.

— При чем тут лошади? Они чужие.

— Я всегда говорила, что ты глупый! — Белогурочка вскочила и обернулась к Андрею.— Как я могу бросить в степи трех коней? Ты знаешь, что у нас в стае совсем не осталось коней? Ты знаешь, что конь дороже, чем ребенок или даже женщина? Ты ничего не знаешь. Ты только ходишь и обещаешь.

— Что я обещал?

— Ты обещал нам оружие, много оружия, ты обещал нам лук, который стреляет огнем. Ты обещал нам железный дом, в который не сможет забраться Октин Хаш, ты обещал нам много железных воинов...

— Белогурочка, что ты несешь! Это же неправда.

— Это правда, потому что без этого Октин Хаш возьмет в рабство всю нашу стаю. И ты это знаешь. И хочешь отнять у нас последних коней! Ты ничего нам не даешь, а все хочешь отнять. Ты очень плохой человек, и лучше бы тебя съели ведьмы!

Андрей вздохнул, пережидая вспышку гнева.

Белогурочка замолчала. Она посмотрела на Андрея в упор, и глаза ее были злыми.

— И что ты будешь делать? — спросил Андрей.

— Я подожду, пока спадет вода, и поеду домой. Но с конями. Все будут рады, что есть кони.

— А когда спадет вода?

— Когда солнце будет вон там,— она показала довольно низко над горизонтом.

— Хорошо,— сказал Андрей.

Он вернулся к катеру. Штурман ждал его у люка.

— Ну что, попрощались? Это ваша проводница? Неплохо сложена, правда?

— Отлично сложена,— сказал Андрей, входя в катер.

Он оглянулся. Белогурочка стояла на берегу и смотрела ему вслед.

Андрей включил микрофон и сказал капитану «Граната»:

— Слушай, Федор, я останусь здесь еще на пять часов. Вы заберете меня от нашей прежней станции.

— А что случилось?

— Я не хочу оставлять девушку, которая была с нами.

— Так пускай ее подбросят на катере.

— У нее три коня. Это большая ценность в степи. Надо подождать, пока спадет вода в реке.

— Может, дать вам кого-нибудь еще?

— Зачем? Мы же будем под наблюдением «глаза». Надеюсь, что вы больше нас не потеряете.

— Это рискованно,— сказал капитан.

— Это не более рискованно, чем было вчера и сегодня ночью, когда вы не знали, где я нахожусь и жив ли. Люди Октина Хаша меня не тронут. А от зверей мы как-нибудь убежим.

— Это необходимо? — В голосе капитана было сомнение.

— Да,— сказал Андрей.— До связи.

Жан слышал этот разговор.

— Может, я тоже останусь с вами? — сказал он.

Он лежал на откинутом пассажирском кресле, доктор массировал ему живот. Жан с наслаждением страдал.

— Не надо, ты же знаешь, тут недалеко.

— Ты прав,— с готовностью согласился Жан.— Недалеко.

Андрей не стал переодеваться. Так и вышел из катера в черной тоге ведьмы. Правда, перетянул тогу серебряным ремнем с бластером на боку, с аптечкой и передатчиком. Теперь Андрей был сильнее любого обитателя планеты... Хотя, впрочем, это не спасло Конрада.

Андрей отошел от катера и поднял руку, прощаясь.

Катер беззвучно и плавно взмыл к редким облакам. Сразу стало слышно, как журчат кузнечики и поют в траве птицы. Кони вышли на сушу и паслись недалеко от берега. Андрей спустился к Белогурочке.

— Все улетели, а ты остался,— сказала Белогурочка равнодушно.

— Я провожу тебя — сказал Андрей.— Вдвоем лучше.

— Я бы и без тебя отвела коней,— сказала Белогурочка.

— Катер прилетит за мной к становищу.

— Может, тебе места не хватило в той машине?

— Может быть.

— А я думала, что боишься за меня.

— На провокационные вопросы не отвечаем,— сказал Андрей.

— Я тебя не поняла. Говори со мной понятно.

— Ты хочешь учиться?

— Я уже все знаю,— ответила Белогурочка.

— Когда сюда прилетит следующая экспедиция, тебя могут послать в Галактический центр.

— Слишком много незнакомых слов. Они мне не нужны.

Она поднялась, закрыв собой солнце. Черный силуэт очертила золотая кайма света. Было жарко, и вода журчала мирно, перекатывая мелкие камешки.

Глаза слипались. Засыпая, Андрей подумал, что он бесчувственный чурбан. Он скоро расстанется с этой девушкой и, наверное, навсегда, словно лишь мельком взглянул на нее в толпе. Он не должен спать, он должен беречь каждое мгновение...

Когда Андрей проснулся, солнце уже сошло с зенита. Жара стала томной и неподвижной. Он был весь мокрый от пота. Кожа горела.

— Можно идти дальше? — спросил Андрей.

— Можно,— сказала Белогурочка.

Они нашли лошадей, переехали через реку, миновали рощу.

— Если ты возьмешь меня,— сказала Белогурочка,— я буду очень послушная. Я буду варить тебе мясо и охотиться.

— Где охотиться? — не понял Андрей.

— У тебя дома.

— Ценная мысль,— сказал Андрей. И улыбнулся, представив себе эту дикую девочку с луком в руке на перекрестке центральных магистралей Космограда.

— Не смейся,— сказала Белогурочка строго.

— Я сам могу охотиться,— сказал Андрей.— У себя дома я знаю, как охотиться. Это только в степи я не все знаю.

— А если ты останешься, ты будешь здесь охотиться.

Андрей не ответил. Они ехали по степной тропе. Пыль поднималась из-под копыт.

— Если ты не хочешь жить со мной,— сказала Белогурочка,— ты можешь жить с моей сестрой. Она тоже красивая. Она будет рада.

— Ты хочешь этого?

— Я хочу, чтобы ты остался.

— А что ты сделаешь, если я соглашусь?

— Я буду рада,— сказала Белогурочка.— А потом я убью мою сестру.

Она была беспредельно откровенна.

— Белогурочка, я не могу остаться здесь,— у меня есть мое дело, моя стая, моя охота. Я не могу взять тебя с собой. Там все слишком чужое. Давай больше не говорить об этом.

...Они миновали руины сгоревшей станции. В руинах возились ребятишки из стаи Белогурочки. Они узнали ее и побежали вперед, к становищу.

Становище было там же, в заросшей кустами лощине.

Белогурочка оказалась в кольце женщин, которые расспрашивали ее, потом одна из них зарыдала. Из шатра вышел старый вождь.

Андрей стоял в стороне, возле лошадей. Два подростка, почти воины, взяли лошадей и повели их в кусты.

Андрей почувствовал, как беззвучной тенью опускается катер.

Катер улегся на траву за его спиной. Оттуда вышел штурман.

— У вас все в порядке? — спросил он.

— Все в порядке,— сказал Андрей.

Надо было что-то сделать.

Белогурочка смотрела на него. Рядом стоял и ее отец, и другие люди стаи.

Они смотрели на катер и на Андрея.

— Мы вернемся,— сказал Андрей.

Белогурочка перевела его слова отцу.

— Полетели,— сказал Андрей.

Он заставил себя пойти к катеру. Что делать Белогурочке в городе? Ее место здесь. Рыбу тоже нельзя вытаскивать из воды, даже если можешь подарить ей отдельный дом на суше.

Андрей оглянулся, помахал Белогурочке рукой, как перед короткой разлукой. Белогурочка сделала шаг к нему и крикнула:

— Андрей!

— До свидания! — сказал Андрей и забрался в катер.

Штурман закрыл люк.

— Грустно расставаться с друзьями? — спросил он.— Мне Жан рассказывал, что она объявила тебя своим мужем. Смешно.

— Смешно,— согласился Андрей, глядя в иллюминатор.

Те, кто остался снаружи, были отрезаны непоправимо и навсегда, как в кино. Кусты смыкались вокруг кучки шатров. Катер прижался к земле, прежде чем ринуться в небо. Белогурочка побежала к катеру, но он взмыл вверх, и фигурка ее с поднятой рукой стала быстро уменьшаться. А вокруг расстилалась бесконечная степь, которая подстерегает Белогурочку, которая ждет ее смерти и жаждет ее крови. И завтра Белогурочка пойдет на охоту или столкнется с воинами чужой стаи... И он, Андрей, будет завтра мысленно ехать рядом с Белогурочкой и ждать, когда разойдутся кусты и на нее прыгнет саблезубый тигр или поднимет дубину мрачный питекантроп. И он не будет знать, вернулась ли Белогурочка к своему шатру... Не зная, он послезавтра снова мысленно выйдет с ней в степь и каждый день образ ящера, прыгающего на нее из кустов, будет тягостной реальностью, отделяющей Андрея от всех остальных людей.

— Обратно,— сказал он сухо штурману.

— Ты что? — удивился тот.— Что-нибудь забыл?

— Обратно,— повторил Андрей, потому что скажи он еще хоть слово, пришлось бы объяснять, а объяснить невозможно.

Катер падал с неба к становищу.

Андрей видел сквозь иллюминатор, что все люди становища уже разошлись по шатрам. Здесь быстро забываются события и трагедии. Только Белогурочка стояла на поляне и смотрела вверх.

Белогурочка не двинулась с места, пока катер опускался. Потом, увидев в люке Андрея и все угадав по его лицу, она пошла к нему, сначала очень медленно, словно с трудом, потом отбросила в сторону копье и побежала.

Сама, как будто не впервые, она вошла в катер, села в кресло. Она была спокойна, потому что рядом сидел ее мужчина. Но потом, когда катер поднялся, Белогурочка оробела, отыскала пальцы Андрея и больно сжала их. И не отпускала до самого корабля.

Давид САМОЙЛОВ

Притча о сыновьях Уцы

Ехал король на охоту,
Встретил цыганку Уцу.
Сразу в нее влюбился.
Вскоре на ней женился.

И принесла ему Уца
Четырех цыганят кучерявых.
Утром, едва проснутся,
Время проводят в забавах:
Лазают по заборам,
Рвут дорогие платья.
Словно для знатных принцев
Нет другого занятья.

Помер король. Оставил
Детям четыре царства.
Стали они королями.
Тут и пошли меняться
Замками и городами.
Город — на кобылицу
Мавританской породы;
Замок, леса и воды —
На заморскую птицу.

Часто они съезжались.
Тогда вынимали скрипки.
Долго играли на скрипках,
Покуда не уставали.
А когда уставали,
Тут же и засыпали.
И даже во сне пели.
А в безлунные ночи
Ходили в соседние страны.
И табуны угоняли.

Но возмутились бароны:
«Что это за государи?
Зачем играют на скрипках?
Зачем поют при гитаре?»

И собрались бароны,
Пришли в королевский замок,
Где не было обороны,
И королей убили.

Потом заперлись бароны
С прелатами в тронном зале.
И короля выбирали.
Долго его выбирали,
Между собой препирались,
Но выбрали государя.

Тот не играл на скрипках,
Только правил и правил.
Он половину баронов
На эшафот отправил.

А остальные бароны
Радовались и похвалялись
Тем, что в живых остались.

А внуков Уцы прогнали
Обратно в цыганский табор.
И стали ее внуки
Цыганскими королями.
Они на скрипках играют.
Они поют при гитарах.
На старых гадальных картах
Есть их изображенье.

Смотрины

...Его привел под локоть некий чин
На середину небольшого зала,
Где заседали несколько мужчин
И дама под вуалью восседала.

Он бледен был, обрюзг, нетверд в ногах.
Одет нечисто, несколько всклокочен.
Глаза косили. Слюни на губах.
И женщина произнесла: «Не очень!»

— Кто ты? — его спросили.— «Здешний принц».
— Как звать? — Молчанье. «Не знаток меморий»,
Блеснула женщина из-за ресниц.
— Ты знаешь, что тебя зовут Григорий?

— Я здешний принц! — и дрогнула губа: —
И вы меня ни в чем не убедите!
Он чувствовал: решается судьба.
Но женщина сказала: «Уведите!»

Ивана увели. «Такая чушь
Кому-нибудь из вас могла присниться,
Что подобает мне подобный муж?»
Все промолчали. И императрица.
«Но, впрочем, это не моя вина,
Что долг ему Россией не оплачен.
Убавить пищи. И лишить вина.
Он слишком толст и слишком неопрятен».
. . . . . .
Его везли от царства, от столиц,
От неожиданных фантасмагорий.
А он орал: «Я сей державы принц!»
Тут навалились: «Замолчи, Григорий!»

...Тогда в России были трех корон
Носители (при воцаренье новом):
Екатерина, Третий Петр и он.
Пожалуй, всех законней коронован.
Железными запястьями звеня,
Он все орал, пока его держали:
— Я бедный принц! Забыл, как звать меня!
Но я превыше принцев в сей державе!..
. . . . . .
А Катерина, бывшая Софи,
Разделываясь с призраком былого,
Перед трюмо сгримасничала «Фи!»
И приказала пригласить Орлова.

— К чему нам этот? — говорил Орлов.
Россия сумасбродами богата.
Не зря на государственных орлов
В ней зарятся голодные орлята.

Один из этих треплет в кабаках —
Мирович, в нем сидит мазепин корень —
Что, дескать, был бы взвод в его руках...
Подумала: «И ты был так проворен».

— Но это мысль! Не трогать дурака.
Притворно верить всем его посулам.
И дать ему команду от полка.
И в Шлиссельбург назначить с караулом.

А если сей болван пойдет на вал,
То это совершенно безопасно.
Чуть суматоха — подавать сигнал
И действовать инструкции согласно.—
. . . . . .
Он был убит... Но там, на рубеже,
Где сказочные море-окияны,
Неубиенные Петры, Иваны
Грозят короне, пусть они и «лже».

Вознесение Аугуста Лима

Местная быль

I

Люблю легенды. В них разбег
И краткость. (Ибо я не стайер.)
Пишу, покуда снег не стаял.
Не очень скоро стает снег.
Пишу сугробам. Но люблю,
Чтобы растаяли сугробы,
Чтоб потекли, осели, чтобы
Служили пополненью рек.

II

Вот так же думал Аугуст Лим,
(Но не ручаюсь, что об этом,
Поскольку не был он поэтом.
А просто — нелюбитель зим).
Он жил в приморском городке,
В домишке чистом и прелестном.
И слыл философом известным.
Сейчас я познакомлю с ним.

III

Мужчина. Лет за пятьдесят.
Он за столом работал редко:
Три слова, изредка — заметка.
А там его тянуло в сад.
Он наблюдал, как рос редис
Или подобное растенье.
С восторгом он встречал цветенье
И с неохотой — листопад.

IV

Амалья-Гамадрилла Фюнф
Жила у Лима экономкой.
Была девицею негромкой,
Зато достоинств — целый фунт.
Не буду я касаться здесь
О них неблаговидных сплетен.
Философ был великолепен,
Но перед ней стоял во фрунт.

V

Я даже кратко излагать
Его учения не стану,
Поскольку много в нем туману:
Идея, что Природа-Мать,
Но неизвестно, кто отец.
Ну и так далее. Не страшно
Прослыть профанами. Нам важно
Лишь то, что Лим любил гулять.

VI

Да! Я ведь начал про снега,
Но, отвлекаясь, их оставил.
А снег тем временем растаял.
И отделились берега
От моря. По большой воде
Бежали легкие буруны.
По вечерам сияли дюны,
Как лысина без парика.

VII

Лим вышел прогуляться. Он
В плаще легко шагал по дюнам.
Но вдруг весенний ветер дунул
И охватил со всех сторон.
И загремел весенний шторм.
Забушевала Мать-Природа,
Как часто в это время года.
Лим в этот грохот был влюблен.

VIII

От волн неслась морская пыль,
Волненье затопило пляжи,
Распространяясь ввысь и вширь.
Деревья закричали в раже.
Бесстрашный Лим, закутан в плащ,
Стоял среди морского гула.
Но вдруг порывом плащ раздуло —
И он взлетел, как нетопырь.

IX

Превыше всех высоких крон
Его взнесло одним ударом.
По воле ветра став Икаром,
Он мчал, врезаясь в небосклон.
Стал воздух бледен, как сукно.
В груди дыхание спирало.
Вокруг гремело и орало:
На город Лима нес циклон.

X

Стемнело. Город стал глухим.
Шторм, разрастаясь, бил по крыша!
Как бы влеком порывом высшим,
Летел философ Аугуст Лим.
В его душе восторг и страх,
Вблизи шарахаются тучи.
Шторм, разъяренный и могучий,
Свеж, молод и неумолим.

XI

От притяжения земли
Совсем освободилось тело.
Оно, блаженствуя, летело,
Как парусные корабли.
Внизу десяток огоньков
Мерцал в пространстве нелюдимом,
Порою тучами, как дымом,
Прикрыты.
Ветры вознесли

XII

Философа. И он решил,
Что это знак его величья.
Мелькнула мимо стая птичья,
Почти лишившаяся сил.
Его же призывал Зевес,
Чтоб воспарил ширококрыло.
Что там Амалья-Гамадрилла
Тому, кто от небес вкусил!

XIII

И было страшно глянуть вниз,
Где все расплылось и погасло.
Стихии, плотные, как масло,
Его держали. И лились
Куда неведомо. Летун
Был акробатом в диком цирке...
Но вдруг задел за флюгер кирхи —
Задел за флюгер и повис.

XIV

И сразу прохватила дрожь:
Ведь можно на землю свалиться!
Вот и летай теперь, как птица...
Клянусь, что этот факт не ложь.
Ну что ж, коль этот факт не ложь?
Лишь для пустого очевидца
Любая правда пригодится,
Хотя в ней смысла ни на грош.

XV

Я правдою по горло сыт:
А перед смыслом ум пасует.
Пусть тот, кого интересует,
О смысле сам сообразит.
И разберется что к чему.
Мне это не необходимо.
Итак, мы отвлеклись от Лима
Что с ним? Пока еще висит.

XVI

Висел он, как пиратский флаг.
И слабо вопиял: «Амалья,
Спаси меня!» Ведь знал, каналья,

Что дело не оставят так.
И впрямь, его пошли искать.
И обнаружили на шпиле,
Воздели руки, возопили:
«Вот до чего довел кабак!»

XVII

Наутро люди собрались.
Смеялись, гикали, орали,
С недоумением взирали,
Как Лим над городом повис.
Пожарный прискакал обоз.
И, наконец, беднягу сняли...
А все же, как насчет морали?
Возможно так: не возносись!

XVIII

Да что мораль!
Пришла весна,
Повеял с моря ветер вешний,
В его дыханье каждый грешный
Пьянеет, словно от вина,
И можно даже вознестись,
А хочешь — повисеть на шпиле...
Ужасно надоели штили
И благостная тишина!

Аркадий КАЙДАНОВ

☆☆☆

Для того, чтобы обосновать
Собственное в мире появленье,
Надобно учиться отвечать
За свое родное поколенье.
За его порывы и тоску,
За его ошибки и метанья.
Как мне это все вместить в строку?!
Повиманья жду — не оправданья.
Легче жить, во всем других виня,
Дескать, я один не много значу...
Но ведь будет спрошено с меня!
Именно с меня!
И не иначе.

Пенальти

Июнь. Семидесятый год.
Пятнадцать лет.
Ничейный счет.
Я должен бить пенальти!
В глаза не гляну вратарю!
Сейчас его перехитрю!
Мгновение — и нате!
А он, мой тощий визави,
Весь — вызов, весь — «Иду на вы!»
Подрежу в угол, низом.
Вратарь, мы на виду у всех,
Нас равно ранит свист и смех.
Я принимаю вызов!
Вот этот мяч сейчас — судьба.
Холодный пот смахну со лба,
И не поддамся дрожи.
Трибуны пятнами рябят.
Вратарь, мы — каждый за себя!
Но я немножко за тебя,
О чем ты знать не должен.

☆☆☆

Вначале жизнь! Откроем скобки
Иль, скажем, окна в день весенний!
Еще — легки, тверды, нескользки —
Лишь только вверх ведут ступени,
Еще от писем пухнет ящик
И не пугают телеграммы,
Еще свиданья с настоящим —
Без помощи телепрограммы,
Еще ни зависти, ни мщенья,
Еще мы в самом первом круге,
Еще нуждаемся друг в друге
И не нуждаемся в прощенье.

☆☆☆

Олимпиада зимняя в Гренобле.
Ангина. Ночь. Транслируют хоккей.
Из Франции несущиеся вопли
Я тщусь усилить хрипотой своей.
И удивлен не буду я нимало,
Не чертыхнусь (да и при чем здесь черт?),
Когда к нам в дверь прохожий запоздалый
Вдруг постучит: — Браток, какой там счет?..
Родителей не разбудить стараясь,
Прохожему тащу из кухни стул.
И вот уже кричит он, не стесняясь:
— Рагулин, Сашка, что ж ты, змей, заснул?!.
И кулаком натруженным рабочим
Грозит судье, в волнении привстав:
— Как наших бьют, так видеть он не хочет,
А тех чуть тронь, так сразу, бац, и — штраф!..
...Еще игра окончится не скоро.
Еще мне жизнь, как этот лед, гладка.
И время в той поре, вослед которой
Уже грядет эпоха Третьяка.

г. Нальчик

Рафига ГУСЕЙНОВА

☆☆☆

Ты небом мне был без конца и начала,
А я на груди твоей только звезда.
Я думала, ты — океан величавый,
Я — только осколочек хрупкого льда.

Равняя тебя с недоступной горою,
Всегда вознося до нездешних высот,
Я только хотела укрыться порою
Коротким теплом твоих нежных забот.

Но, видно, сама я себя распаляя,
В тебе обманулась, хотя уж тогда
Сама океаном и небом была я,
А ты был звездой и крупинкою льда.

Перевела с азербайджанского
Л. ТАРАКАНОВА

Вечеслав КАЗАКЕВИЧ

Семья

Поселок городского типа.
К забору притулилась липа.
Под липой шаткая скамья,
на ней сидит моя семья.

Отец с трескучей сигаретой,
мать с могилевскою газетой,
сестра с тетрадкою для нот
и толстый безучастный кот.

Кругом растет трава сырая,
сверкают звезды в вышине...
И я бы сел на лавку с краю,
но не осталось места мне.

Тайна

Рассказала мне мама без грусти,
что нашла меня в крепкой капусте
и закутала сразу в платок —
от росы я озяб и промок.
Но отец мне открыл, как мужчине,
что купил он меня в магазине,
на ходу попросил продавца:
«Вон того заверните мальца!»
А бабуля сказала с зевотой,
что принес меня аист с болота,
отдохнул он на крыше слегка
и подпрыгнул опять в облака.
Стал большим я, спокойным, степенным,
детским сказкам проведал цену,
но доныне в родительский дом
я неловким вхожу чужаком.
В чистом поле волнуется ветер!
Что мне стены укромные эти?
Загляну за свою колыбель
и увижу — болотную ель...

Звездочет

Чертежник Синицын, устав на работе,
желая скорее уснуть,
всегда представлял себя в звездолете,
летящем сквозь Млечный Путь.
К подушке припав, забывал он контору
и видел каюты металл,
таращились бойко экраны приборов...
И сладко он засыпал.
Не думал о премиях и хозрасчете,
взвалив одеяло на грудь...
Но как-то проснулся он в звездолете,
летящем сквозь Млечный Путь!
И с ужасом понял, что бездною жуткой
несется в железной трубе...
Эх, парень, мечтания — это не шутка,
счастливой дороги тебе!

☆☆☆

Шел я за водою мимо клуба,
у реки, плывущей тяжело.
Длинным клювом на макушке дуба
аист ремонтировал крыло.
Покопался он в гремучих перьях,
на меня надменный глаз навел...
И махнул на отдаленный берег,
где камыш стоит, как частокол.
Молча сунул я ведро в колодец...
Не ходить нам с аистом в дружках:
он пасет лягушек на болоте,
я всю жизнь витаю в облаках.

Владимир СЕМЕНОВ

Баллада о часах

Памяти отца
Семенова Василия Григорьевича

«За отвагу...» — в металл округленный —
прямо в фирменный гордый венец —
Незатейливой вязью червленой
Врезал надпись граверский резец.
Награжден был — в семнадцатом — ими
Мой отец... Молодым умер он...
В сорок первом — с его именными —
Я в саперный попал батальон.
В левый верхний карман гимнастерки
(Не положен солдату жилет!)
Тут же — в тесной армейской кантерке —
Опустил я старинный брегет.
...Бах! — кустистое пламя разрыва.
Взвод рабочий саперов-трудяг.
Тук-тук-тук! — сердце билось пугливо,
Но часы подбодряли: так-так! —
Звон брегета — уютный, домашний:
Динь-динь-динь! — трепет сердца живой.
А над лесом, над вздыбленной пашней —
Вражьих мин нарастающий вой.
...Буду видеть сквозь годы, сквозь дали
Столб огня — до скончания дней.
Вы, часы, отходив, показали
Время точное смерти моей.
...Круг солдат. Оброненное слово:
— Покажи! — я — живой — средь живых:
Прямо в сердце впечатан лилово
Круглый оттиск часов именных.
Изумлялись солдаты:
— Поди ты!
— Знать, в рубашке родился ты, брат!
— Вдрызг часы-то осколком разбиты!!!
Уцелел лишь один циферблат.

Был я, верно, белей, чем бумага...
— Прямо в сердце бы!
— Ну и дела!

...Ах, отец! Не твоя ли отвага
Смерть от сына в бою отвела?

Валерий ЗОЛОТУХИН

«ПОХОРОНЕН В СЕЛЕ...»

К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

Рассказ

Ваня Зыбкин студил клешни рук своих в речке Гумбейке, что впадает в реку Урал, а берет начало далеко от их колхоза, образуясь в самостоятельное течение от суммы бесчисленных пресных ручейков и солоноватых болотцев. Гумбейка еще не вспоролась брюхом, хотя весна пришла ранняя и лед истончал, однако восьмое марта — это и для ранней весны рано, и Ванюша студил свои руки в проруби.

С молодого утра этого замечательного праздника международной женской солидарности его руки много работы переработали и на день грядущий, и впрок, чего можно было сделать, сделали, искали заботы еще и еще, да заныли суставы, и Ваня спустился к Гумбейке остудить беспалые ладони и глаза заодно. Спустился, окунул клешни в воду и заплакал. Заплакал не от того, что ему стало вдруг жаль свои еще не воевавшие, а уже изуродованные руки (на левой — только большой и мизинец, на правой — нет мизинца и безымянного), а заплакал Ваня от распирающего его душу восторга и предчувствия близкого, неминучего теперь уже подвига, который время назначило ему совершить во имя живых и во имя тех, кто не вернется уже, кто звал похоронками на подмогу. Ваня уходил на войну. Стояла ранняя весна 1942 года. Шел парнишке весною девятнадцатый год, росту он был от земли один метр 63 сантиметра, весу имел в себе 57 килограммов.

Ваня уходил на войну добровольцем с тремя своими сотоварищами: Молчановым Васей, Голубевым Василием и Вдовкиным Петром.

Зыбкина и брать не хотели и не взяли бы, во-первых, по инвалидности, во-вторых, молод еще, дак ведь добился стервец своего: полгода обивал пороги военкомата, доказывал, показывал всем, как он клешнями своими владеет, одинаково пишет и левой и правой, как пять его оставшихся пальцев могут на балалайке всякую мелодию так выбренчать, что иному музыканту эдак шерстить научиться и десяти пальцев не хватит за век обучения. Опять же не забывал Ваня в такие походы к военному начальству прихватить и ящичек свой инструментальный. Начальник, бывало, еще с впереди стоящими беседует, а уж Ваня тисочки миниатюрные к его столу приладит, брусочки-колечки разложит, и напильничек его уже фокстрот знакомый по деталька вызванивает. И деталька эта чаще всего зыбкой малюсенькой оборачивалась. «Это вам на память — детишкам на забаву от породы Зыбкиных, товарищ главный командир,— шутил Ваня,— пошлите на войну, не обижайте род?!» «И смех и грех с вашей породой, куда мне твои зыбки девать, кого качать в них... И куда ж ты пальцы-то свои девал, за что держался так крепко, мозголов?» — утирал глаза и нос от смеха военный комиссар. «А лишние оказались, мешали. Родитель наш, царство ему небесное, с малолетства нас к пороху и наковальне приручал... В нашей родне и бортничали, и по железу вязью мастера отменные были... Тайну пояска-то булатного кто разгадал? Из наших кто-то... а как же?! А броню корабельную кто сварганил? Один из нас. И рудознатцы именитые в нашей породе известны нам и богатыри отечества! А как же?!»

Тут Ваня бил без промаха. Как карту козырную из-за пазухи, выбрасывал он на стол перед начальником картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». «Вот он, пращур наш... Нет, не на белом коне, а тот, что от страху крестится, с Георгиевским крестом за храбрость,— тыкал Ваня оставшимся мизинцем в старого, седого солдата, с желтыми от табака, развевающимися усами и глазами, распяленными оторопью и отвагой,— крестится, а идет, за Суворовым идет, в про-

пасть хоть, а как же?! И ружье, не подумай, не выронит... А мы что, хуже? И колеса гнуть, и полозья тянуть... коней ковать... Хотите, на спор... любому жеребчику в сей момент копытце зеркальцем зачищу и ухналь с одного удара в подкову вгоню. А пальцы... что? Двенадцать лет мне было, петарду малознакомую с Васильком Молчановым распознать пытались, да зашипел порох не вовремя... Я Василька — ложись! А петарду от себя подальше, как учили, да вместе с ней и пальчики в окно выкинул... К отцу в кузню примчался, а он: опрофанился — значит, лишние были, голова цела — стало, пригодится еще. И пригодилась голова, а как же?! Вот обещали весной экстерн у меня принять за десятый класс, так что не обижайте род Зыбкиных, пошлите Ваню на войну». «Ладно, мозголов, сдавай свой экстерн и приходи весной, в училище пошлем, а там, глядишь, и война, на твое счастье, кончится». «И на том спасибо, товарищ главный командир»,— пришучивал Ваня, аккуратно прибирая инструментарий в ящичек.

Балагурил Ваня, а тогда с петардой-то проклятой не до смеху было. Прибежал в кузню к отцу весь в крови, криком кричит: «Тятя!!! Тятя! Что я наделал?! Как же я теперь учиться буду? Ведь Ленин сказал: учиться, учиться и учиться, а я что натворил... тятя... тятя?!» Тогда-то и успокоил его отец немудряще, сказав, что для ученья еще и голова нужна, а люди есть — ногами пишут. А Ваню прозвали с той поры на селе «ворошиловским стрелком». Думали, отвоевался. А он — нет, отлежался в больнице, бабкам-знахаркам почтение оказывать стал. Они ему настои лука репчатого готовили, кислоты растительные для рук сочиняли, заговорами действовали, и руки беспалые оживать стали, и начал Ваня учиться писать заново — то левой, то правой, и выучился, что той, что другой — одинаково хорошо.

И наивный вопрос меня вдруг занимает, какой именно — правой или левой — рукой написаны эти два его письма с фронта, что лежат сейчас передо мной на письменном столе и которые я по странному обстоятельству получил восьмого марта 1982 года, ровно день в день через 40 лет, как он ушел воевать.

Отец умер рано. Их осталось у матери пять ртов — один одного меньше. Старшему, Михаилу, было пятнадцать лет, а меньшой, Валюшке,— одиннадцать месяцев, Ивану — неполных тринадцать, Лизе — девять, а Нине, любимой сестренке,— шесть лет. Мать была неграмотная, верила втихаря в господа бога, молилась и втайне от отца крестила всех. Долго она лихоматом кричала над гробом мужа-кузнеца Ивана Сидоровича: да на кого ты меня оставил... да с пятерней, с оравой такой... да кто мне поможет всех напитать, да нет у меня ни отца-матери — ни пожаловаться, ни пожалеть нас, сирот, некому... Но как ни убивалась, а утешилась, жить-то все равно надо, плачь не плачь, воем горю не поможешь и слезами кормильца из гроба не выманишь. И стали жить. Тогда, люди говорят, бедно жили, да дружно. Верили: вот придет она, заря коммунизма, воссияет и осветит мрак бедности и темноты несусветной. В колхозе работали не щадя живота — кто на поливе, кто на прополе, на косьбе-молотьбе-пахоте-жатве... Мать за коровами, телятами ходила, Михаил вместо отца в кузню стал помощником, Ваня коней, коров колхозных пас, людей веселил, когда надо. И всех речка Гумбейка подкармливала, в ней рыбешка всякая плескалась. А за рекой луга заливные, обильные, разнотравные... Летом ягоду собирали, сено косили, зимой по вставшей реке-дороге вывозили. В сограх калина росла. Пропасть сколько калины окрест Барановки было — с иного мало-мальского кустика индо ведро чистой натрясали, а то и больше, особенно когда ее первым морозцем шибанет и она сама от ветвей отлетает — чуть тронь. Идет Ваня за калиной, бывало, и слышит, как синица рядом где-то впечатлительно тенькает, и стихи у него сами собой складываться начинают — про то, как лоза приречная друг дружке, как подружке, тренькает на ушко, про непогодь предчувствия свои сообщая... А вот щегол к репейнику пристал, теребит репейничью головку, упрямым клювом семя себе добывая на пропитание. А по новой понове заяц наузорил, настрочил аппликации лапками... И вот-вот аппликации эти от голода и зависти начнет застрачивать лисица-огневка, держа хвост трубой, предсказывая свидание с косым, коль не убережется, кроваво-калиновое. А тишина кругом — в ушах ломит. Идет Ваня на охоту с самодельным, легкого бою, не веским ружьишком за плечами (тятька для сына сам смастерил), а его дымы села родного провожают, что в безветрие былинными столбами небо держат. И чует паренек не хуже зверя, из какой трубы какой дым подымается: из какой соломенный, из какой камышовый, а из большинства — кизяковый. Лес далеко, лес золотой, а дрова — серебряны. И отапливалась деревня в основном кизяками, и заготовить их нужно было тьму и больше. Весь колхозный навоз с конюшен, коровников, овчарен свозили за зиму к реке. Горы этого добра образовывались, и с них катались на санках, лыжах самодельных и ледяхах. Когда пригревала весна, горы оттаивали, навоз начинал перегорать активно... Перед сенокосом где-то недели на полторы выкраивался передых от полевых работ, и деревня выходила на заготовку топлива — «стряпать» кизяки. Навоз поливали обильно водой и сильно месили, топтали и своими ногами, и лошадьми. Босая, радивая нога хозяина безошибочно определяла конечную, технологическую готовность стоптанной массы. А выходили всеми семьями, нужно было заготовить и на себя, и на общество: школа, контора, сельсовет, словом, все «общественные институты» Барановки тем же кизяком отапливались. Дрова только на разжижку шли. У каждой семьи станки кизяковые были разные, своего отличительного фасона, как бы клеймо, личная метка. Станки на всякую силу, в том числе на ребячью и бабью, рассчитаны были: парные, тройные, четверные и даже шестерные, то есть шесть кирпичиков сразу получалось. Станки клали на ровные доски, в основном двери у бань, у сараев для этой нужды снимали. В станки, как тесто в формы, набрасывали приготовленную массу, опять же уминали ногами, осторожно сволакивали с досок, относили в сторону и опрастывали на землю рядками для просушки. Когда кизяки подсыхали, их складывали в кучи, и каждая семья выстраивала из них свою «архитектуру»: кто стеной, кто башней, четырех- или шестигранником, кубом, конусом, а то так и избушкой на курьих ножках. Малышня не могла дождаться, когда подвяленный кизяк сложат в эти разнообразные крепости, которые просквaживались ветрами, где кизяки окончательно досыхали. Но ребятне они нужны были для игр, для забав. Разберет чертенок лаз небольшой в какой-нибудь этакой пирамиде, заберется в нее Хеопсом, теми же кирпичиками заложится изнутри, попробуй сыщи его там, пока не обнаружит себя чихом или неловким поведением — повернется неуклюже, развалит пирамиду, ну и долго складывает, пыхтя, один.

Еще заготовляли камыш, полынь, солому и коровяки. Ходили на выгоны и собирали в мешки сухие лепешки. На отопление шла и картофельная ботва, и дудки подсолнуха, все впрок, про запас. Зимы в Барановке долгие, а зима, как известно, все съедает.

В такие длинные вечера глухозимья изба Зыбкиных часто наполнялась разным народом, молодым и старым,— еще при жизни Ивана Сидоровича такой обычай завелся. Все любили послушать хозяина, мужика бывалого, участника двух войн, двух революций, человека нраву легкого, но с взбудоражинкой и фантазией, для побасенок развитой изрядно. Сказку про русский скипидар рассказывал и изображал в лицах Иван Сидорович особенно часто, бессознательно внедряя в слушающих дух патриотизма, в сыновьях к тому же расшевеливая солдатскую жилку, удаль и безуныние.

Вез немец на базар
Разный военный товар.
Догоняет его казак:
«Чего, немчура, плетешься так?»
«Товару у меня немало,— немец отвечает,—
**Вот кобылка и устала».

«Что ж,— говорит казак,—
Помочь тебе?» «А как?»
«Способ очень прост:
Отведи у кобылки хвост,
А я уважу, русским скипидаром смажу!»

Тут Иван Сидорович приглашал в игру сына Ивана, призванного изобразить уставшую кобылку. Брезгливо, как немец-педант, воротя харю в сторону, приподнимал Иван Сидорович у «кобылки» воображаемый хвост и ловко из как бы склянки плескал под туда русского скипидару. Ванька принимался ржать и скакать по избе, как ошпаренный сумасшедший. Иван Сидорович комментировал:

Вот пошла кобылка чесать,
Немцу ее не догнать,
Выпучил глаза —
Не понимает ни аза.

Стал казака просить:
«Как же мне теперь быть?»
Казак говорит:
«Штука тут не хитрая,
Ну-ка, хочешь и тебя уважу,
Скипидаром малость смажу?»
Немец говорит: «Гут».

В «немцы» обычно избирался старший сын Михаил или кто-нибудь из парней посмелее. «Немец» приспускал штаны, и отец широченной кузнецкой ладонью, приговаривая: «Стал казак мазать тут в ответ на немецкий «Гут»,— давал «немцу» по голым половинкам леща!

Как припустился немец бежать —
нельзя удержать!
Усищи на бегу растрепал,
Кобылку свою обогнал,
Как ураган несется,
А казак стоит смеется!

«Стой! Куда, завоеватель?!» —
Кричит ему жена и Франц-приятель.

«Вы тут кобылку мою переймите,
А меня не скоро ждите,
От русского скипидару, вот досада,
Мне еще бежать и бежать надо!»

«Немцу» позволялось несколько минут буйствовать, куда у кого фантазия взбрыкнет. Чаще «немцы» на девчонках скипидар свой отыгрывали: щипали, мяли, плясали с ними, те визжали, хохотали, вырывались из плена — таму-тарараму было много. Гости, как говорится, «болони от смеху надсаживали». Иван Сидорович останавливал буйство и заключал, указывая на любимые свои картинки, что висели в красном углу вместо икон,— «Переход Суворова через Альпы» и про казаков Платова в Париже: «Русского скипидару отведали татары и турки, французы и немцы и многие другие, что в нашем русском огороде не прочь были почесать свое поганое брюхо!»

А девчонкам больше всего на свете нравилось, как отец китайцем притворялся. Лиза начинала, подружки подхватывали: «Тятя... тятя... дядя Ваня... расскажи, расскажи, как ты китайского Аноху генералу состроил!» «Ах вы, полторы тарары... И не надоело вам одно и то же слушать? Ну ладно, ладно, так и быть, «дело было под Полтавой», а дело было после войны с японцем. Запоминайте и детям своим передавайте. Набралась нас партия политических ссыльных, партия арестантов, довольно-таки внушительная компания. И вести нас нужно было через тайгу, через ту самую «глухую, неведомую» тайгу. И видим мы, что среди начальства заминка произошла — вести нас некому, проводника нет. А без проводника в такой тайге — гибель. И говорю я товарищам своим. ну, ясно, близким, конечно. «Кипит твое, говорю, молоко, говорю, на моей сковородке! Бройте, говорю, братцы мои, голову мою мне наголо, режьте мне усы мои бравые, стряпайте, говорю, документы мне липовые, эти начальники царские — тюха, пантюха да колупай с братом ни холеры не разберут, таким китайцем перед ними предстану!» Быстро меня товарищи обрили, в китайца превратили, подхожу к генералу, говорю: «Коспода началнук! Я хун-хуза, хоча помогати... рестан вести... Дорога знай, денга надо... Дети мал-много!!!» Он мне: «Да вижу, что хун-хуза, а паспорт, бумага есть?» Я ему: «Я... я... я... эст Зын Ван Син — умага верна». Такого Аноху китайского ему состроил — не отличил генерал Зын Ван Сина от Зыбкина Ивана Сидоровича, деньги вперед дал. И я повел. Так провел, что по дороге разбежались все, в том числе и хун-хуза. Ой, бесился, говорят, генерал, все елки вокруг себя повалил, все палки переломал, но доклад на себя подавать не стал, замял как-то, а скорее, откупился, все равно, мол, в тайге подохнут. Конечно, погибли многие, тайга кого выручит, кого выучит, но те, что выжили и добрались до России, втрое сильнее стали».

Когда Ивана Сидоровича не стало, вахту отца по потешной части Ваня перенял. Многие ухватки уловил от отца Ванечка-Ванюша, многие байки запомнил, песни заучил, сам сочинять пристрастился всякие притчи, скоморошины. Под балалайку на свой мотив пел Ванюша-маленький собравшимся и про «Бородино» — «...скажи-ка, дядя, ведь не даром...», и про пожар московский на свой лад:

Шумел-горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А он стоял с огромной ложкой,
Мешал картошку в чугунке.

А когда с гармошкой приходил Василек Молчанов — гармошка-матушка лучше хлеба-батюшки,— они наперебой тренькали и пришучивали про бесконечную Калугу:

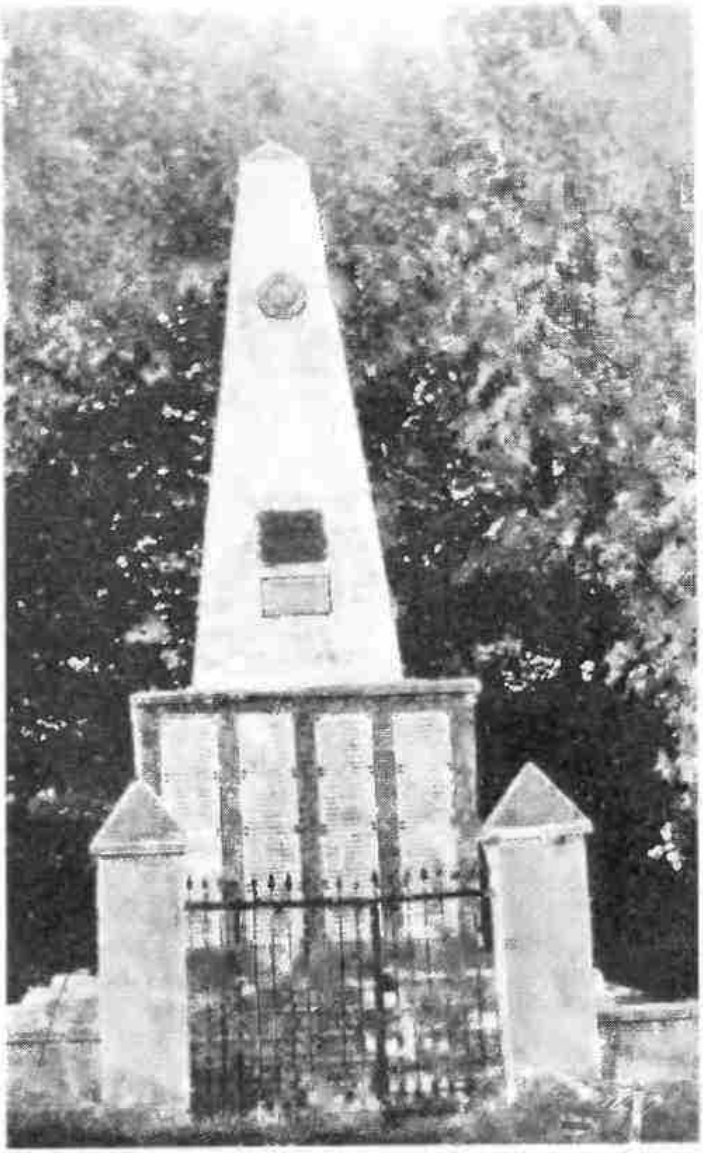
Ах, дервень, дервень
Калуга,
Дервень, радуга моя.
Тула, Тула первернула,
Тула, родина моя!
Вот Фома-то купил суку,
А Ерема кобеля.
У Еремы-то не лает,
У Фомы-то не визжит.

Не один мешок подсолнухов был излузган под эти скоморошины за вечеринку. Но лузга выметалась, пол шоркали голиком с дресвою, и изба становилась еще янтарнее, а стало быть, приветливее еще.

Жизнь деревеньки той поры была полна интересов и развлечений своедельских, самодеятельных, еще не выловленных железным прутом готовыми на голубом блюдечке из океана радио- и телеволн. Деревня сама и сказку и быль творила, вспоминая обряды, сочиняя игры, в затеях своих пользуя истоки народной нравственности, устои национальной жизни. И Ваня Зыбкин был главным хранителем, выдумщиком и заклинщиком всякого рода игрищ и забав. Но забавник он был добрый, природа его игрищ отличалась корнем улыбчатым, полезным, а не бедовым. Вокруг него табунилась вся малышня и девчонки тоже, быть может, оттого, что сестренка его Нинуська не отставала от него ни на шаг нигде, ни в чем, всегда была рядом, как верная собачонка,— жили эти брат с сестрой в одно сердце.

Старший же, Михаил, был словно из другого теста — нелюдимого житья, одиночного разбоя.

Парни и девчата, интерес которых стал кудриться не в одних скоморошинах, морозными вечерами часто разбредались по баням. Сядут там в темноте — шушу-шу-шу,— разными разностями делятся, тискаются неумело, или в картишки режутся, если кто лучину сумел запалить, а то и свечку из дому вынести. Мишка долго и хищно выслеживал эти темные посиделки и однажды в морозный вечер вышел на дело. Обошел несколько бань и двери снаружи подпер надежными кольями, чтоб посетители так просто не выпрыгнули при тревоге. Молодежь и просидела окоченелая до утра по баням, пока не проснулись хозяева. А хозяева проснулись и к узникам отнеслись по-разному, но все сурово, особенно родители, девки которых на выданье были. Ребята, конечно, разочли,



чьего мозга эта шутка, но сразу отплачивать не стали. Уже по весне, по грязи подкараулили они Мишку за деревней, сняли с него штаны, и каждый всыпал ему по голью изрядную порцию «оладушек» большой деревянной ложкой — сквозь строй прогнали. Домой Мишка буквально приполз. Запихнули его кое-как на печь, и месяц он оттуда не слезал.

Самой же большой дерзостью Ванюши была его подшутиха над бабкой Феклой, которая ему, кстати, руки заговаривала. Да и то не сам удумал, ребята подкузьмили старшие. Голос у него, хотя и пацан еще, раздольный и широкий был, а подражать любил — хлебом не корми, особенно попам: и басом и дискантом умел. Мальчишки пытались так спеть, у них не получалось, а у Ванюшки получалось, они и подбили его. Бабка Фекла богомольная страшно была. И вот в один из дней воскресных, летом... окно у нее было распахнуто, через плохонькие занавески видно мальчишкам было, как она ко сну приготовляться стала. Разобралась, в белое исподнее облачилась, свечку перед образами затеплила, стала молитву творить: «Господи, Боже наш, еже, согреших во дне еси словом, делом и помышлением... Ангела твоего хранителя пошли... Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков...» И только застыла было старушка в сердечном истовом поклоне, Ванька и грянул: «А...а... аминь! О...о... Господи, помилуй, Господи, помилуй нас...» Старушка часто, часто креститься стала, думала, Бог откликнулся, услышал-таки молитву под конец ее честной жизни — и вдруг... хохот, визг, улюлюканье... и врассыпную ребятня.

Летом спали на сеновале рядком — Мишка, Лизка, Нинка, Ванька; маленькая Валюшка еще в избе с матерью ночевала. И слышит Нина сквозь сон: «Вот дурак-то, вот дурак-то!» «Ты чего, Ваня, себя казнишь?» «Бабку Феклу обидел, дураков послушался и сам дурак стал». И долго-долго он так казнился, ворочался и тяжело вздыхал. А утром повинился перед бабой Феклой. Брат Михаил узнал и зло смеялся, называя его при этом еще и девчачьим пастухом. Но Ваня не обижался на брата, тянулся за ним, пытался столько же раз пудовую гирю выжать, а под мельничное колесо нырял смелее и чаще.

Гумбейка хоть и не нанесена была из-за невеликого своего течения на карту России, но в весенние разливы ширилась, что твоя Волга. Вдоль Гумбейки шла поднятая дорога, вернее сказать, плотина. На другой стороне мельница стояла водяная. От мельницы деревянный мост шел, который весенним паводком часто сносило, если мельник его вовремя не успевал к рукам прибрать в свой сарай. Вода в том месте всегда шумела, вертя мельничное колесо. Далеко-далеко был слышен этот союзный шум воды и каменных жерновов. Когда провели в Бурановку электричество, мельницу оборудовали мотором, но колесо еще долго вертелось вхолостую и пело зря. Ваня пропадал на мельнице всякую минутку свободную, дружил с мельником, мастером по электричеству, помогал им — постигал технику, устраняя мелкие поломки подчас самостоятельно. И народная усмешка «Ванька все знает, он на мельнице был» к нашему Ванюше в данном случае отношения не имела; Ваня действительно в свои лета знал и умел многое.

Мальчишки, пробуя себя на смелость, отчаянно ныряли под вертящееся колесо, кто глубже нырнет и дальше выплывет, часто получали от родителей взбучку — мало ли... ударит лопастью и не всплывет ни разу больше... Сестренку Ванюша, конечно, не допускал к таким состязаниям, но плавать научил рано, правда, чуть ли не на беду великую. А что случилось?

Праздник сущий, когда мать на базар в Магнитку ездила. Уж чего-нибудь, хоть и скудно жили и работали не шибко прибыльно, а уж чего-нибудь из сладостей и игрушек мать обязательно умудрялась в туесках привезти. Привезла она как-то трем дочерям своим сиротинкам ленты в косы и трех лебедей деревяшечных. Со всей деревни ребятня бегала вдоль ручьев после дождя смотреть, как эти лебеди плавали — не догнать, и ведь не тонули, не переворачивались, так искусно были сделаны — на любой быстрине держались. Два были с красными клювами — шипунами назывались, а один с желтым — кликун. И вот этого желтоклювика-кликуна двухлетняя Валюшка и упустила и поймать не смогла. А кликун как ждал — на простор гумбейкиной волны устремился, на стремнину, на волю вырвался. Валюшка в рев, а взрослых никого. Сбросила тогда Нинка заплатанное платьишко с себя и в речку за ним... саженками. Самой восьми лет не было, плавать толком не умела. Да не то чтобы не умела, а далеко не заплывала. А кликун удаляется, только клюв желтый да крылышки белоснежные на солнце посверкивают. Устала девчонка. Вспомнила, как Иванушка-Ванюша учил отдыхать на воде,— перевернулась на спину. А лебедь уж на той стороне, в камыше застрял. Доплыла, слава богу, схватила лебедя, еле на берег выбралась, из камышей выпутываясь. А малышня испугалась, ревут, кричат: «Не плыви назад, на лодку иди... на мост... к мельнице...» А мост далеко, да и характер взыграл на миру, хотя и на маленьком,— что там лодка, что там мост, «где наша не пропадала» — часто слышала она от брата. «Ладно,— кричит,— не бойтесь за меня!» Ничего, что мала была: камышу нахватала, наломала, надергала, ленту алую подарочную из косы выплела, перевязала сноп и с ним, как с плотиком, в воду пошла. Так с птицей в руке, с камышом под мышкой добралась Нинка благополучно до своего берега. А там мать уже кудахчет, хлопает по себе руками. И только дочь на бережок, мать за хворостину. Настегала больно, лебедя из рук вырвала, наземь бросила, ногой придавила и сама слезами умылась. «Ну что, мамочка,— кричит девчонка,— ведь не утонула, ведь же не утонула, Ванюша научил на воде держаться!» «Ах, Ванюш-

ка научил, паскудник...» — побежала мать в сарай, где Ванюшка со щенком Музгаром занимался, и ему подзатыльник.

Рассказала сестренка брату, как дело было, и лебедя раздавленного показала. «Ладно, Нинуля, на мамку не обижайся, под пяткой эту печаль топчи, а лебедя мы починим». Кликуна Ваня склеил, подкрасил, но что-то нарушилось в лебеде, плавать он разучился, не мог на течении держаться — набок заваливался.

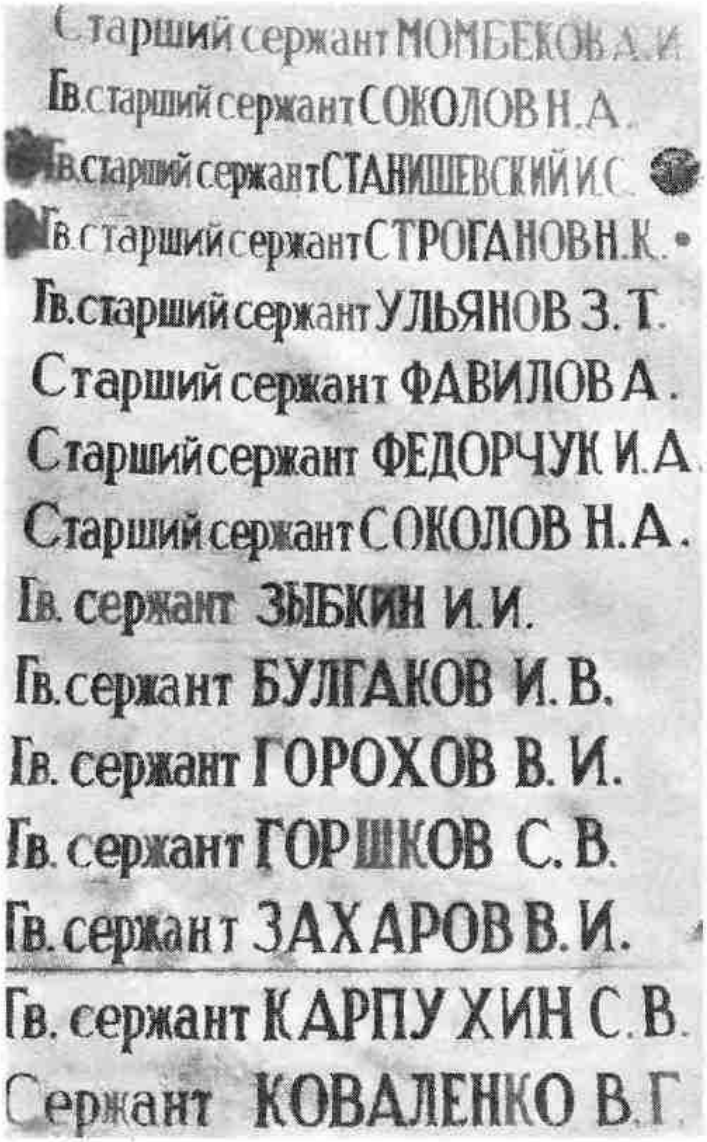
Заваливаться набок стало и детство босоногого народца глухоманной Барановки — великая война приближалась. Все больше и больше с каждым годом и днем о войне говорили, и все от мала до велика готовились к ней, правда, как потом оказалось, больше в песнях. Иванушка-Ванюша, хоть и нечем стало курок нажимать после неудачного опыта с петардой, однако о Красной Армии мечты свои не бросил. Решил Ваня крепко-накрепко пограничником стать, вырастить для себя и обучить пограничной службе верного друга-товарища четвероногого, для чего обзавелся щенком немецкой овчарки и назвал его Музгаром. И опять у детворы радости через край было, особенно как стал Музгар подрастать и в играх про войну участвовать. Делились мальчишки на красных и белых, воевали за власть Советов, дрались друг с дружкой не на шутку. Потом те, что белыми были, чтоб никому не обидно, в красные переходили, а красные нехотя в белых обращались. Музгар же неизменно был за красных и находил врагов-беляков безошибочно, а с девчонками-санитарками выносил с поля боя раненых.

Дом Зыбкиных сроду-то не закрывался, а тут они и вовсе спокойнешеньки за свое добро стали — Музгар охранял надежно. Когда кто был дома, он лежал в конуре или гулял по двору. Всех деревенских знал, и его знали. Но все же, если в доме никого, ложился у порога, и тут уж чужим заглядывать не следовало. Одного человека в Барановке Музгар невзлюбил по какой-то неведомой собачьей причине. Рычал на него, и все тут, шерсть дыбарем поднималась у Музгара, как чуял его. Мартыном этого человека звали. Идет, бывало, Мартын мимо спокойно, ничего не делает, не злит, не дразнит, а Музгар весь взъерошится и очень беспокойным делается. Не лает, не кидается, а вот именно — места себе не находит, когда в радиусе его чутья Мартын появляется. Как окреп Музгар окончательно, рычать он на Мартына перестал, но взглядом провожал долгим.

Однажды не случилось дома никого — мать с Валюшкой в телятнике, Михаил уж на действительной был, Ваня, Лиза, Нина в школе сидели, и зашел к ним Мартын зачем-то, может, за порохом или за патронами, у Ванюши их был большой запас, и Музгар продержал его в дому часа два. Прибежала Нина в переменку поросятам пойло разлить, а ее Мартын в избе встречает: «Наконец-то пришла хозяйка, может, домой уйду, а то этот паршивец не выпускает меня». «Дядя Мартын, а зачем вы в избу зашли, ведь Музгар у порога был, значит, дома никого...» «Да мало ли, дочка, ну лежит и молчит, я и перешагнул через него, а он за мной, и вот уж сколько времени подняться не могу, закурить не дает, паршивец». «Он не паршивец, он молодец, а вы ругаете его... и все-таки, какая у вас была нужда до нас?» «Тьфу, забыл, пока этот паршивец...» «Опять вы ругаетесь, уходите и будете знать, как без хозяев в дом входить!» И снова стал Музгар рычать на Мартына, только учует.

Мартын пожаловался в сельсовет, наговорил бог знает чего на пса, оговорил честную животину самым низким образом, и велели Ване держать пса на привязи, хотя все знали, что он никогошеньки не трогал, только на Мартына одного скалился, это да... А почему? Кто знает. Про Мартына потом говорили, что вскоре по прибытии на передовую он перебежал линию фронта, сдался в плен и стал стрелять по своим. Значит, еще тогда, в Барановке, в тайном ожидании войны, из его мозгов эти подлые помыслы просачивались черной энергией и вкруг черепа вились. И неужели другое живое существо — зверь, готовящийся не на живот, а на смерть защищать границы и интересы того пространства, которое человек этот замышлял предать, неужели зверь эту черную энергию вокруг головы Мартына мог видеть и чуять?! Одно дело, собака может предчувствовать предательство хозяина или опасность для него, а тут... Посторонний человек замыслил черное против своего народа, а значит, и против хозяина... неужели зверь может такое чуять?! Видать, чуял Музгар, знал и знание свое выдавал вздыбленной шерстью и злобным рыком. И человек заподозрил зверя в этом знании замыслов своих и убил его. Может, так. Иначе тогда зачем в один жаркий покосный день, когда в деревне никого почти не оставалось из людей, на привязанного Музгара уставился холодный шестнадцатикалибровый глаз ружейного ствола, и грянул выстрел. Потом человек освободил мертвую собаку от ошейника и подтащил к воротам. Ошейник покромсал ножом и дело выставил так, что собака будто бы порвала ошейник от ярости, завидя его, и он вынужден был в целях самообороны пристрелить ее. Может, так. А может, затем убил, чтоб шкуру сдать. Тогда с солью плохо было. Соль страшным дефицитом была, и отпускали ее за шкуры сусликов, крыс и собак. И, может быть, Мартын хотел похитить собаку, ободрать, сдать шкуру, а там поди докажи. Но что-то сбилось в Мартыновом плане. Но убить он мог и другую собаку. Скорее все ж Мартын убил свидетеля мыслей своих предательских. Ваня землей с лица взялся, так переживал — он остался без друга, с которым собирался служить на границе. «Ваня,— утешала его Нина,— не убивайся так, другого Музгара вырастишь». «Нет, теперь уже не успею».

Мартына оштрафовали, ружье отобрали. Ребятня ему ворота дегтем чуть ли не каждый день мазала, стекла в дому вышибала. Ваня собрал всю команду



и сказал, что стекла бить не надо и деготь на ворота тратить не к чему, а лучше давайте сочиним на него карикатуру. И нарисовал две картины. На одной Мартын, обвешанный шкурами крыс, собак и гиен, еле ноги за собой подбирая под их тяжестью, в магазин тащится сдавать трофеи. На другой — он из магазина ползет уже, куль огромный соли его совсем к земле придавил. А под картинками надпись в стихах:

«Рано утром спозаранку
Наш Мартын схватил берданку,
Второпях надел колпак,
Побежал он бить собак.

Вот Музгар — огромный пес!
Получу я соли воз!
За убитую мной псину
Раздобуду керосину!!!»

Мартына это бесило больше, чем все битые стекла и деготь на воротах.

А детство совсем, совсем завалилось набок. Воротясь как-то с Васильком Молчановым с ночной рыбалки, ребята застали Бурановку визжащей гармошками, пляшущей на дорогах, дико орущей песни, рыдающей и разгулявшейся хмельно и опасно. «Что случилось, что за праздник?» «Война!»

По небу поползли кроваво-черные облака. С западной стороны на горизонте даже днем стали появляться широкие огненные полосы. «Это хлеба горят кубанские и, как зеркалом, через небо заревом у нас отражаются, над уральскими ширями повисают»,— объяснял Ваня. Мальчишки сразу записались добровольцами — их отсрочили на год.

Ушедший на действительную Михаил к этому времени служил в Керчи. Там и застала его война. Последняя открытка от него писана в августе сорок первого, и всю войну потом ни слуху ни духу. На запросы-розыски пришел ответ: в мертвых не числится, в рядах Красной Армии не состоит, считаем пропавшим без вести. Тогда и вспомнили Зыбкины, как однажды ночью они проснулись от страшного крика. Это Нина кричала во сне. Разбудили осторожно — что с тобой, что случилось? Придя в себя, Нина рассказала: «Бык красный в окно влетел... потом церковь... много народу неподвижно по колено в крови... среди них Миша наш... кровь прибывает и прибывает... а они стоят недвижно...» Баба Фекла так и растолковала: это — великое терпение, жив Михаил, но в великом терпении, в плену, не иначе, раненый был бы, все равно отозвался бы.

Весна сорок второго ранняя была. Всю долгую осень и зиму Иван дни и ночи напролет, без сна, что называется, и отдыха грыз школьную науку и четвертого марта экстерном сдал последний экзамен за среднюю школу. Средняя школа была в поселке за рекой, в нескольких километрах от Бурановки. Каждый раз, возвращаясь из школы, различал Ваня на своем берегу в любую погоду фигурку любимой сестры: она ждала его, она встречала его, она провожала его до дома. И в этот час они торопились рассказать друг другу про все, что думали, знали, видели во сне и слышали от других за прошедшие сутки. В день последнего экзамена, возвращаясь домой на закате мартовского солнца, Ваня почувствовал: у него что-то случилось с глазами — он перестал видеть, перестал что-либо различать. Как чуть стемнело, глаза закрыла золотисто-черная пелена. Он брел медленно, осторожно, по звукам и запахам угадывая направление к Гумбейке, к тому месту, где на противоположном берегу его должна была ждать сестренка. И она ждала его. «Нина! Нина!» — услышала она оклик брата и увидела его как бы с протянутыми впереди себя руками. «Ты только не пугайся, не бойся... со мной что-то случилось, я ничего не вижу... Ты голос мне подай, ты здесь? Ты видишь меня, Нина?.. Ты слышишь меня?!»

«Ваня, Ваня! Что с тобой? Вот она я, здесь...»

«Где я стою, Нина... ты видишь?»

«Вижу, Ваня, ты стоишь левее моста, почти там, куда подходил всегда! Стой на месте, я сейчас приду к тебе или маме скажу».

«Нет, нет... Не ходи никуда, не говори никому, не предавай меня. Ты иди к подстанции, к мосту и пой... я за твоим голосом пойду».

«Да зачем, Ваня?! Я сейчас к тебе приду».

«Нет! Я тебе говорю — так надо! Не ходи по льду, промокнешь, иди по дамбе, иди и пой... Как дойдешь до моста, остановись, но петь не бросай! Начинай!»

«А чего начинать, Ваня, чего петь, какую песню?»

«Пой про Ёжика... или нет... «Шел отряд по берегу...», про Щорса пой!»

Она запела, пошла и повела его голосом:

Чьи вы, хлопцы, будете,
Кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем
Раненый идет? Э-э-х!

Так по разным сторонам Гумбейки дошли они до моста, она пела и плакала. Потом остановилась напротив, как он велел, и с новой силой:

Мы сыны батрацкие,
Мы за новый мир...

Ванечка-Ванюша перешел, держась за перила, мост, подхватил песню второй, они взялись за руки и пошли как заговорщики, знающие только вдвоем и хранящие великую тайну.

«Все, Нинуля, последний экзамен сдал, теперь на фронт».

«Как на фронт, на какой фронт, раз ты не видишь»,— хлюпая носом, робко пыталась подпустить ему червь сомнения сестра.

«Так это только в сумерках... Это у меня, наверное, куриная слепота. У меня было такое, я не говорил никому. Это от напряжения, витаминов не хватает. Морковки поем, и все пройдет, все нормально будет. Ты смотри, никому ни гу-гу про куриную слепоту».

«Не ходил бы ты, Ванюша, ну чего ты навоюешь с такими руками и слепотой? А голос свой куда деваешь, кому достанется он, кто услышит его, если случится что?»

«Что ты говоришь, сестра, что ты хоронишь меня... Миша зовет... где-то лежит его винтовка, кто поднимет ее, кто дальше пойдет, кто наш род воинский поддержит?»

«Наш род, брат, не только воинственный, но и с музами связан, музыкальный род. Ты и рисуешь, и стихи складываешь... А отец наш какой был, ты забыл разве? Слушай внимательно. Я сон сегодня вещий видела, и я тебе его расскажу, чтоб он сбыться не смог. Только ты не перебивай и не переспрашивай. Во сне сон короток, момент какой-то длится, но ясной, полной картиной нарисовывается, а чтоб рассказать, много слов потратить надо. Жила-была семья под покровительством двух фей. Одна фея воинственная, другая фея искусств — муза, короче. И конечно, больше работы было у первой, потому что из рода в род рождались мальчики, а мальчики рождаются к войне, и войны не прекращались, потому что мальчики становились мужчинами, и она уходила с ними на войну».

«Когда рождается мальчик, говорят на Востоке, это еще не значит, что из него вырастет мужчина».

«Не перебивай, а то не доскажу, и сбудется сон, Ванюша. И вот в роду появился мальчик, музыкальный, одаренный к искусствам, пел, рисовал, сочинял стихи... И муза так радовалась, аплодировала от радости — наконец-то пришел и ее черед в роду хозяйкой побыть. Но снова началась война, и мальчики засобирались на нее. И говорит фея искусств фее войны: «Что делать, что делать, сжалься, освободи его от войны, не бери его с собой, ведь у него такой голос и таланты разные, а убьют, и пропадет голос». А та отвечает: «Я не могу его удерживать, у него сердце солдата... У половины моих бойцов души поэтов, а кто их матерей и сестер защищать будет? Да и какой резон его оставлять, играть на музыкальных инструментах он все равно не сможет...» «А го-

лос?» «Голос? С голосом даю тебе совет — передай его другому мальчику!» «А разве я могу?» «Вот дурочка, ты же фея, при желании ты все можешь. Вон женщина рождает мальчика, далеко, правда, да что для феи расстояние, ты только скажи — быть посему, голос ему». Весь этот разговор фей, Ваня, происходил у изголовья нашего спящего рода, в ночь, когда днем потом войну объявили. Я этот сон три раза видела после этого. Слушай дальше. Фея войны говорит: «Слишком жестокая и долгая война будет, а жизнь на земле надо сохранить. Один брат испытывает свой жребий, и этому предстоит, а голос передай другому мальчишке». Они исчезли, и я проснулась».

«Ну и что, Нинуля, сон как сон, нормальная сказка. Вырастешь, детям будешь рассказывать, а про слепоту мою никому ни гу-гу».

Сговор этот у брата с сестрой про вещий сон и с песней про Щорса был четыре дня назад. А сегодня, восьмого марта 1942 года, Ваню Зыбкина с тремя его сотоварищами деревня провожала на войну. Они оставляли родных и знакомых, они оставляли колхоз имени Ильича, дымы Бурановки — кизяковые, камышовые и соломенные... Они оставляли изгибы речки Гумбейки, туманы и заросли ивняка над ней.

Их проводили восьмого марта, не успевших поцеловать своих первых девчонок, а через месяц, в апреле, глухоманная Бурановка получила на трех похоронки — в первом же бою друзья пали смертью храбрых.

Ване повезло больше. Он успел повоевать ладом, начальник сдержал слово, Ваню послали в училище и его похоронка отсрочилась почти до победной весны. До братской могилы в стране Венгрии было еще почти три года, а до обелиска над ней в селе Шеregейеш еще дальше.

А рассказала бы дочь матери про слепоту брата, может быть, и не лежать бы ему теперь в чужой земле, может быть, спасла бы брата и вещие сны ни с чем бы остались. Побежала бы мать, как всякая мать, забила бы тревогу, запричитала бы по всем начальникам — ведь добровольцем уходит, ведь калека, ведь негодный совсем к фронту парень, в обозе разве что хвостами конскими править, да и то в темноте по слепоте заблудится.

Но не таким она его родила, видать, чтоб за юбки мужик прятался, каким бы лихом ни наградила его судьба, и не таким отец воспитал, с малолетства огнем закаляя, уча держать в руках одинаково крепко молоток и ружье.

БОЛЬШОЙ ПОСТСКРИПТУМ

Одно время я был увлечен идеями метемпсихоза, палингенеза, реинкарнации и пр. Вопросы, связанные с существованием человека после его физической смерти, волновали людей с самых давних пор. Но дело не в этом. Дело в том, что в разгар увлечений этими идеями 8 марта 1982 года я получил с Центрального телевидения пакет. В пакет вместе с письмом, адресованным мне (так по всему выходило), были вложены следующие полуистлевшие документы:

1. Похоронное извещение на имя Ивана Ивановича Зыбкина
2. Два его карандашных письма с фронта
3. Временные наградные удостоверения:
   а) медаль «За боевые заслуги»
   б) медаль «За оборону Сталинграда»
   в) орден Славы III степени.

Женщина писала о том, что неожиданно услыхала по радио голос своего родного брата, погибшего 3 февраля 1945 года в Венгрии, при освобождении Будапешта и похороненного в селе ШЕРНИВЕШ. Далее она истово уверяла, что ошибиться в голосе не могла, что она забыла лицо брата и не узнала бы его, конечно, в толпе, но голос его она помнит как сейчас и различит его из тысячи других. К тому же этот артист, что с голосом брата, пел в фильме «Пакет» песню «Любезная хозяюшка», которая является своего рода родословной нашего рода... нашей семьи. Откуда ему знать нашу песню, если он не наша родня?

Я впервые в жизни — и не приведи больше никогда — держал в руках настоящую похоронку, пришедшую ко мне из 1945 года, а у меня растут сыновья... Мой отец пришел с войны с шестью ранениями, но живой.

Я ответил женщине — Щеголевой (Зыбкиной) Нине Ивановне, и мы выяснили, что, при самом воспаленном воображении, кровного родства быть не может, но что совершенно очевидно нас роднит единая память, единая душа нашего народа, вошедшая в меня голосом ее брата. И мы решили вместе во что бы то ни стало разыскать его могилу. Поразительно, согласитесь: через много, много лет, услышав похожий голос, она стала кликать родного брата, стала искать его последнее жилище, она захотела. ей понадобилось узнать, где и как он воевал и при каких обстоятельствах погиб.

Опущу все мытарства, разочарования и неудачи, что встретились нам на пути этого розыска, основная причина долгих поисков в конце концов оказалась в том, что в похоронке название венгерского села военным писарем было означено не в той транскрипции.

Как бы там ни было, через два года Нина Ивановна сообщила мне, как она выразилась, «печальную радость»: из Венгрии пришел ответ через Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, что действительно Зыбкин Иван Иванович похоронен в братской могиле в селе ШЕРЕГЕЙЕШ области Фейер. Ответ был сопровожден двумя фотографиями. На одной — общий вид мраморного обелиска в солнце и зелени — по 160 фамилий наших отцов-сыновей-братьев на каждой из четырех сторон. Другая фотография — увеличение той части мрамора, где выбиты фамилия и звание разыскиваемого,— гв. старший сержант Зыбкин И. И. За обелиском ухаживают пионеры села ШЕРЕГЕЙЕШ и члены Общества венгеро-советской дружбы.

Нина Ивановна пустилась опять в хлопоты — чтобы ей разрешили съездить, посетить могилу брата,— а мне захотелось написать об И. И. Зыбкине что-то достойное его памяти. Я стал всматриваться до рези в глазах в телевизионный экран, если он что-то передавал о ветеранах. Я вглядываюсь в их лица, морщины, седины, ордена, вслушиваюсь в слова, интонации... Мне хочется заглянуть дальше, по ту сторону экрана — в их время, спасшее меня.

Воевал Ваня на «катюшах». И стал я искать ветеранов, живых свидетелей, владевших в свое время этим грозным, легендарным оружием. И нашел. Так появился рассказ «Комдив четырнадцатый». В рассказе, однако, к моему большому сожалению, я допустил ряд ошибок технико-терминологического порядка, чем вызвал нарекания, порой гневные, со стороны специалистов-артиллеристов, людей, воевавших и прошедших через пекло Великой войны. Хотя были у меня и консультанты из тех же ветеранов-специалистов и живы еще непосредственные участники описываемых дел, но, по-видимому, время берет свое и в чем-то память стала сбоить. Хотя в любом случае вина тут только моя. В других письмах, тоже от ветеранов, воевавших на «катюшах», сообщалось, что они вообще впервые в художественной литературе встречаются с описаниями действий ГМЧ в Великой Отечественной войне и за то они автору благодарны.

И все-таки задача моя впереди.

Голос погибшего востребовал и мою память к ответу.

Не подвел ли я Ивана Ивановича? Не упрекнет ли меня павший вопросом: я отдал тебе свою душу, свой голос, а как ты живешь? И в голосе, вопросе его слышится для меня единая и неделимая душа народа моего, частичкой которой и я, может быть, когда-нибудь стану. И при чем тут реинкарнация, трансмиграция и прочие загадочные явления — человечество разберется в них без меня. А для моего дня — своих забот достанет. Вот, собственно, и весь затянувшийся постскриптум.

До новых встреч, читатель!

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Итак, сегодня «20-я комната» отправляется в свое первое путешествие.
Адрес — Рига.
Выездное заседание посвящено документальному фильму режиссера Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?».
На заседание приглашены: лауреат премии комсомола Латвии режиссер Юрис ПОДНИЕКС и герои его фильма.

Вопрос из зала:

— СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ ГЕРОЕВ НОРМАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОЛНОЦЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА?

Юрис Подниекс:

— ДА, СЧИТАЮ. ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ЗАДУМАТЬСЯ: НОРМАЛЬНО ЛИ ТАК ПРЕДВЗЯТО ОТНОСИТЬСЯ К МОЛОДЫМ?

В шестнадцать лет Юрис и сам пребывал в весьма непростых отношениях с тем миром взрослых, в который был замкнут. Теперь-то, задним числом, мы разобрались, как и почему западная молодежь породила движение хиппи, но в те годы у нас было не принято всерьез анализировать духовные искания хиппи, их попытку — пусть наивную — жить, презрев буржуазность. И уж тем более было не принято замечать, что и в наших больших городах появились мальчики и девочки, которые отстранялись от взрослых, живущих ради собственного благополучия, и пытались, насколько могли, походить на тех — настоящих — хиппи.

К такой компании и примкнул было Юрис, но когда отец его (голос диктора Бориса Подниекса, долгие годы звучавший по радио, а затем — на киноэкране, на слуху у каждого латыша) осознал, что с ним происхо-

20 вопросов в комнате 20

Как твоя жизнь совпадает с сегодняшним Временем?

Уверен ли ты, что умеешь самостоятельно мыслить? Считаешь ли себя личностью?

Случалось тебе идти на сделку с совестью?

Находишь ли в себе силы при любых обстоятельствах оставаться независимой личностью?

Что для тебя означают такие понятия, как честь, собственное достоинство?

Ты нашел человека, которому можешь рассказать все о себе? Или ты один?

Ради чего живешь? В чем видишь смысл жизни?

Кого любишь? Кого ненавидишь? К чему равнодушен и почему равнодушен?

Предавал ли ты кого? Предавали ли тебя?

В какие минуты живешь по-настоящему? Что содержат в себе эти минуты, часы, дни?

Что потрясало тебя? Может быть, внешне незаметное, но переворачивающее душу?

Мы обращаемся к тебе, юному нашему современнику, напиши о себе. Откровенно до беспредельности. Честно и прямо. Пусть это будет исповедь, пусть это будет дневник, пусть это будут размышления, пусть это будут сожаления о несостоявшейся любви или ее великом счастье, о неудачно выбранной профессии или первом творческом взлете.

Как бы ты преобразил мир? Можешь приложить к письму-исповеди свой проект, свои предложения.

Мы опубликуем эти рассказы как исповедь поколения.

Ждем.

Не откладывая, садись за стол. Объем письма неограниченный.

дит, он привел Юриса к себе на киностудию и убедил летом, в каникулы, поработать помощником оператора. Лето закончилось, но Юрис перешел в вечернюю школу и остался на киностудии. И в семнадцать лет — в семнадцать! — ему уже доверили кинокамеру.

Так он оказался совсем в другой компании — молодых рижских кинодокументалистов, которые верили, что правдивая камера всемогуща и что их долг — облагораживать нравы, разоблачать сомнительные мифы и способствовать торжеству справедливости. И хотя к концу шестидесятых годов уже ощутимо было забвение идей XX съезда партии и общественное мнение становилось все более иллюзорным, «рижская школа» — да, в нашем документальном кинематографе возникло такое понятие — не хотела с этим мириться. Юрис часто работал вместе с Герцем Франком, одним из лидеров этой школы, который восхищал его своим умением идти по лезвию ножа — а как иначе можно было в те годы высказаться? — и многому его научил. Юрис был неистовым оператором, и когда Франк, например, создавал фильм «Запретная зона», Юрис на несколько месяцев обосновался в колонии несовершеннолетних преступников — то, что он снял, было поразительно достоверно.

И настал день, когда Юрису представилась возможность попробовать себя в режиссуре. И знаете, что произошло? Он получил сценарий о показательной многодетной семье, а снял фильм о катастрофическом падении рождаемости в республике.

Взявшись сделать фильм о песнях латышских стрелков, он углубился в поиски еще живущих ныне и зачастую уже никому неведомых бойцов революции и посвятил фильм «Созвездие стрелков» их трудным судьбам. Работал над ним три года, видя свой долг в том, чтобы восстановить живую связь поколений, которую не подменишь почетным караулом у памятника...

Другой пример. Съемки фильма о трех ведущих скульпторах республики — Олеге Скарайнисе, Арте Думпе и Айваре Гулбисе — он начал, лишь когда убедился, что все трое, былые бескомпромиссные «шестидесятники», не хотят уже ни регалий, ни щедрых заказов, а хотят... остаться художниками. Когда к своему пятидесятилетию они вдруг устроили выставку гипертрофированно выразительных гипсовых муляжей, заявив, что фиксируют в этой документальной скульптуре время и людей, а чиновные коллеги затеяли вокруг выставки скандал, тут-то Юрис и принялся жадно снимать. В этом фильме («Катит Сизиф камень») он как бы выясняет свои взаимоотношения с людьми шестидесятых годов.

— Что ты ненавидишь в сегодняшнем дне и намерен ли бороться с этим или готов приспособиться?

— Что ты взял бы с собой в XXI век?

Позапрошлым летом такие вопросы Юрис задавал выпускникам рижских школ, и они отвечали ему, как на исповеди (а как не распахнуться перед человеком, который не подчеркивает, что он несколько старше тебя и кое-что знает про жизнь, а, напротив, держится на равных и говорит даже: «Не спеши соглашаться со мной — можешь плюнуть и не отвечать...»). Через год, через пять, через десять лет Юрис намеревался эти разговоры продолжить. Так начинал он работу над фильмом «Легко ли быть молодым?», но внезапно (в который раз!) изменил первоначальный замысел и сделал совсем другой фильм.

Однажды поехал за город, чтобы снять рассвет на Даугаве для выпуска о празднике песни. На обратном пути завернул в небольшой городок Огре. На открытой эстраде играла рок-группа, и молодежь, заведенная музыкой, дала волю своим эмоциям. У него оставалось лишь 180 метров пленки, но он снял и тех, кто бежал к эстраде и танцевал, и тех, кто был этим напуган...

Сделав с пленки множество фотографий, Юрис затеял очередной поиск — искал героев будущего фильма. Выбирал сложных, неоднозначных ребят.

Один из эпизодов фильма — на суде, перед которым предстали семеро с того рок-концерта: возвращаясь последней электричкой в Ригу, ребята продолжали веселиться и основательно подебоширили в вагонах. Автор спрашивает одного из них: «Как ты смотришь, что судят только вас семерых?» Тот отвечает, что знает многих, кто ехал в электричке, и мог бы назвать их, но не сделает этого, раз они сами не пришли сознаться... Но лишь один из семерых, который сел в электричку еще до Огре и дремал, когда в нее ворвалась вся эта компания, оказался совершеннолетним. И хотя осталось неясным, в какой мере он участвовал в этом дебоше, именно он и был лишен свободы — три года в колонии строгого режима! Едва фильм был завершен, Подниекс показал его и в прокуратуре, и в Верховном Совете республики, добиваясь смягчения участи этого парня. Да, государству был нанесен материальный ущерб, но разве лишь видимое торжество справедливости — не еще больший ущерб? Ущерб моральный. Кого же мы так воспитаем?

Автор не спешит найти ответы, предлагает нам — всем! — подумать. А тем, кто думать не научился или уже разучился, не стоит смотреть этот фильм.

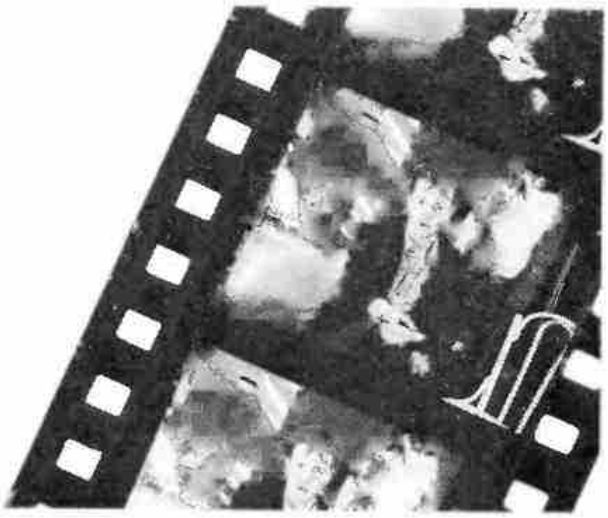
Одной из героинь фильма предполагалась молоденькая продавщица, которая доверила Юрису свой дневник. Она писала, что не хочет походить на людишек, которые ютятся на окраине жизни, что любит жизнь, хотя часто ею владеет отчаяние, и она ощущает себя ничтожной пылинкой, которую каждый может сдуть... Юрис уже начал снимать ее, но тут узнал, что из Афганистана возвращается Янис, и он день за днем встречал его на вокзале с другим «афганцем» Гунтесом. Они вместе служили, но Гунтес был ранен и уже возвратился домой. А девушка, отдавшая Юрису свой дневник, не раз, по словам жены, в эти дни звонила ему, но он был занят «афганцами». И по сей день он в смятении, что не предотвратил непоправимое... Но мог ли он подумать, что в один из этих дней она покончит с собой?

Для многих героев фильма он оказался тем первым взрослым человеком, которому они захотели довериться. И по сей день он встречается с ними, участвует в их жизни, а Игоря Васильева, любительскую ленту которого он «цитировал» в своем фильме, Юрис привел к себе на киностудию, где Игорь теперь и работает. Юрис убежден, что, будь сегодня в их возрасте, вполне бы мог оказаться на месте любого из них. Мог бы, естественно, и в Афганистан отправиться, а возвратившись, мучительно искать свое место в «довоенной жизни». Разговор с «афганцами» дался ему труднее всего — они прошли то, о чем он знал лишь понаслышке... Те трое, «афганцев», которых мы видим в фильме, не были на концерте в Огре, тут прием нарушен. Но Юрис выяснил, что в Огре были по меньшей мере пятнадцать ребят, которые сейчас служат в Афганистане.

Один из героев фильма говорит: «Кто-то преподносит мне поучительные, очень правильные истины — я переживаю, стараюсь исправиться. А потом натыкаюсь мордой на то, что сам этот человек все делает абсолютно наоборот».

Сняв фильм, Юрис Подниекс пришел к мысли, что разница между его поколением и нынешним в том, что его отец, хоть и с трудом, но передал ему те нравственные заповеди, которым стремился следовать сам, а родители сегодняшних ребят зачастую так меркантильны и бездуховны, что им и передать-то нечего...

Исповедуясь Юрису, ребята и нам, зрителям, исповедуются. Верят, что откровенность — единственный путь к пониманию. Мы дали им возможность рассказать о себе чуть больше, чем в фильме.



АЙВАРС: «Я ПРОСТО ХОТЕЛ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОМ МИРЕ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЯ, ЧТО ИМЕННО ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ»

Первое, с чем я столкнулся,— непонимание. Даже сейчас не могу определить его истоки. Прихожу, например, домой, говорю родителям: мне этот фильм жутко понравился. Они в ответ: ты какой-то идиот у нас, почему тебе нравится этот фильм, бессмыслица, что в нем хорошего находишь? И вот после нескольких стычек я понял, насколько я другой.

Наша компания состояла в основном из ребят, которые учились в художественном училище. Я сознавал, что мы еще не профессионалы, может, даже над нами будут смеяться, но хотелось показать свои работы, хотелось доказать, что мы тоже кое-что можем. И тогда, на Днях искусства, поскольку выставить свои ученические работы нам нигде не разрешали, я предложил: давай повесим одну картину на грудь, а другую — на спине и будем так ходить по улицам. Пусть люди смотрят. Если кому-то картина понравится, пусть возьмут ее.

Все свои картины я раздарил друзьям. Потому что для меня очень важно, если вижу, что человек смотрит на картину, которую я нарисовал, и у него блестят глаза. Я готов тут же ему ее отдать.

Как-то я предложил разрисовать магазинчик в центре Риги на Домской площади. Все у нас загорелись этой идеей. Но когда мы пошли в магазин, нам сказали: у магазина нет денег на краску. Ребята тогда поняли, что я не могу это официально пробить, и отошли от моей идеи. Тот магазин так и стоит весьма неприглядный. И он — укол в душе моей, что я себя не реализовал.

Нас с утра до вечера ругают, что мы не так одеты, не так причесаны, не так себя ведем, но благодаря своему внешнему виду я собрал вокруг себя единомышленников. По сути, мы все были одиноки. Или не хотели быть потребителями, как все вокруг. Кто-то сумел ближе подойти к обществу, кто-то вошел с ним в конфликт, но в конце концов мы собрались вместе. Мы по крайней мере понимали друг друга.

Хотите вы того или нет — все идет от мира взрослых. Слепо принять его законы я не могу, у меня внутренний протест. Значит, я должен исходить из своего нутра и жить, как умею. Вы бороться не способны и это же хотите воспитать в нас. А я не могу подлаживаться и лгать только потому, что вам так удобнее. Не вижу смысла. Получилось, что я отказался от одного театра в пользу другого.

Ненавижу жестокость, которая царит между людьми. Но как с этим бороться? Силой против силы? Или добром против силы? Я тогда этого не понимал. Я просто хотел что-то изменить в этом мире, даже не зная, что именно хочу изменить.

Для кого-то мы представляем любопытное зрелище, для кого-то жуткое, но, увы! — ни официальные лица, ни просто взрослые — никто так и не понял, что с нами произошло. Мы надели эти кожанки с заклепками и назвали себя громким словом «панки», чтобы показать всем, что мы есть. Да, мы грязные, ободранные, жуткие, но мы ваши дети, и вы нас такими сделали. Своим двуличием и ложью. Своей правильностью на словах, в лозунгах, но не в реальной жизни. Общество нас породило, а теперь пытается отмахнуться. Если оно этого не поймет, не изменит своего отношения к молодежи — после нас появятся другие, и все равно, как они там будут называться. Попытка сделать вид, что у нас нет панков, нет хиппи, попытка скрыть, замазать это — очередная тупость. Мы и так столько замалчиваем в нашей истории, что создается впечатление, что собственной истории боимся. Так и с молодежью. Нельзя говорить о молодежи как об однородной массе, которая сто лет живет без проблем.

Нас все время пытаются переделать. В школе мне сказали первый раз: немедленно причешись приличнo, что это у тебя за прическа! А потом вызвали и сказали: брось притворяться, не позорь честь школы! Мы не знаем, что у тебя внутри, но нам хватит одного твоего внешнего вида. То, что внутри, никого почему-то не волнует. Тот разговор был ужасным. Один из педагогов, которого я за бога принимал, взял и плюнул мне в лицо. Он говорил на уроках о добрых отношениях между людьми, о любви к Родине, о взаимопонимании. Он даже не понимал, что я тоже только об этом думаю... У нас у всех во рту одно слово. Короче, выкинули меня из школы. И за Дни искусства я тоже заплатил: теперь я не являюсь учеником художественного училища...

Для меня две вещи сейчас важны.

Во-первых, чтобы в башке не было пусто, чтобы я мог думать, и тогда мысли мои прорежутся то ли на бумаге, то ли на холсте.

Во-вторых, чтобы рядом со мной был человек. Девушка, которая любила бы меня. Чтобы все принадлежало нам, когда мы выходим с ней на улицу, потому что мы принадлежим друг другу.

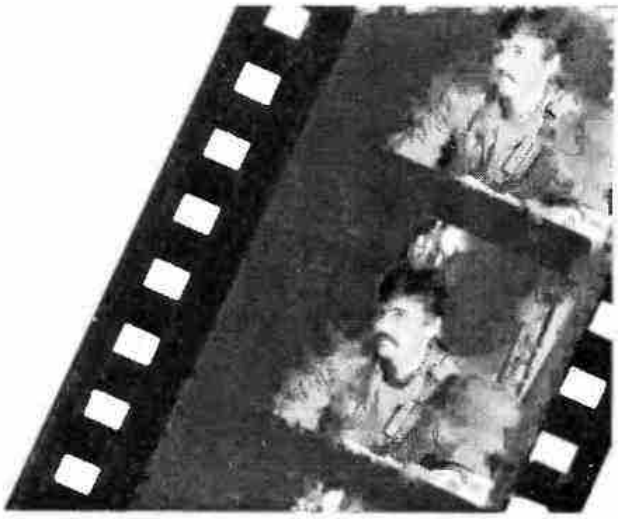
У меня жуткое впечатление, ощущение: вот я выхожу на улицу, солнце светит, люди бегут по делам, и если я вдруг упаду беспомощный — все так и пробегут мимо меня. Переступят через меня, и все!

Сверстники меня никогда не любили. Восхищались, презирали, боялись. Но никто никогда не любил меня так, чтобы я почувствовал: я кому-то нужен со всеми своими плюсами и минусами. В этом смысле я — нищий. Совсем нищий.

Да, моя жизнь состоит из ошибок. А у кого это не так? Но взрослые не позволяют молодым людям идти по пути познания через ошибки. Тем самым не позволяют приобретать собственный опыт. Я сознаю свои ошибки и тоже с ними борюсь. Приходят какие-то новые, и я опять с ними борюсь. Но ведь только так можно познать себя. Познать то, что происходит вокруг. А был бы я правильным, то только и достоинство одно, что приемлемым был бы для всех. Я считаю, что ошибки — это лучше, чем такая правильность. И, главное, честнее.

Записка из зала: «Не слишком ли вы увлеклись теми, кто не желает шагать в ногу со всеми, работать на совесть, стоять у станка, сельское хозяйство поднимать? Заставить их всех работать, и точка с проблемами! АРТЕМ Л.».

Записок было много. На все не успели ответить. В том числе и на эту. Может кто-нибудь дать ответ Артему?



ЮРИС: «...ЗА СВОЮ РОДИНУ, ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ ЛЮБОЙ ИЗ НАС, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, ГОЛОВУ ПОЛОЖИТ»

Помню жуткий момент, когда должен был в первый раз выстрелить в человека. Руки дрожали. Но понимал, что должен это сделать, чтобы в общем-то спасти и себя. Каждый человек дорожит своей жизнью. Ведь верно? Нам пришлось ползти на животе часа два. И когда все свершилось, я лег и попросил у товарища сигарету. Выкурил одну, потом попросил другую. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты, наверное, чувствуешь сейчас то же самое, что и я?»

Сознавал, что это в конце концов кончится и я вернусь домой. Но все равно мучила мысль, ну, как, например, смогу обнять свою маму, друзей, ведь я понимаю, что они знают, что я там делал. Как смогу им руку пожать? Как ни говори, во мне останется чувство, что я занимался чем-то грязным, чуждым человеку. Какое-то пятно на мне останется.

Но когда видишь кровь своих товарищей, видишь страдания, и ты весь кипишь от гнева и готов на все!

В первый раз просто жутко поднять оружие на человека. Но потом понимаешь, что этого не избежать и придется и дальше так действовать, и ты как бы внутренне черствеешь. И свое сознание, что ты человек, прячешь куда-то поглубже, чтобы осталась, ну, только оболочка. Это уже не ты, а кто-то другой это делает, и одна надежда, что все кончится и забудется. И все-таки не забывается. Я пробую, пробую, и не удается. Может, со временем глубже осядет, но пока это еще перед глазами.

Ты не имеешь права почувствовать себя сверхчеловеком. То, что тебя могут убить,— ну, стоит ли говорить об этом, потому как в двадцать лет никто не думает, что он может умереть, и это помогает.

Я никому бы этого не пожелал. Не только Афганистана. Вообще войны. Это ненормальные отношения между людьми. Вот уже полгода как вернулся, и сначала у меня было желание кому-то все высказать, чтобы люди тоже поняли, как все сложно и как трудно вернуться и жить просто так. Но нет, никому это было не нужно. И теперь мы все затаились в себе. Но все-таки страшно быть оппортунистом в двадцать лет. А слабым и растерянным тебя видеть никто не хочет. Ты должен выглядеть бравым, сильным. Смело шагать через все трудности и препятствия, созданные нашим же обществом, и... помаленьку обрастать жирком.

К нам приходили ребята из пополнения. Представляешь, какими они были раньше: белили волосы и так далее. Но у войны всегда привкус крови. От этого привкуса человек становится более мужественным, крепким. Тогда и начинаешь сознавать, что есть кто-то рядом, на кого можно положиться.

Думаю, у каждого поколения есть свой смысл, свои стремления. И так будет всегда. Каждое новое поколение будут считать немного сумасбродным. Носителями непривычных идей. Мне как раз нравится, что теперь молодежь стала раскованнее, на концертах ведет себя, как хочет. Конечно, есть какие-то пределы... Но все можно понять, они ведь молодые.

Нет большой разницы между теми, кто воевал сорок лет назад, и нами. Ребята себя показали. В разных ситуациях и так мужественно! И если уж так было там, то за свою Родину, за свою землю любой из нас, не задумываясь, голову положит. Не сомневайтесь.

Если кто-то за нас и переживает, так это матери и друзья. Помогают выстоять там и жить здесь. Война есть война. Раненые, покалеченные, убитые, о которых мы здесь вообще не слышим. Изредка где-то в большой статье пара скудных строк, а все остальное — под звуки победных маршей. Мне-то что, я вышел сухим из воды. Но за ребят, искалеченных Афганистаном, обидно и больно. Это меня просто бесит. Конечно, для них сделали все возможное, чтобы вернуть им здоровье. Но оно никогда не будет возвращено им полностью. А они ведь тоже мечтали там о танцах и тому подобном.

Есть такая книжка Анчарова «Самшитовый лес». Он очень хорошо сказал о войне: те, кто возвращается с войны,— они возвращаются в другую жизнь, где люди ходят на работу, дружат, любят. И после возвращения в жизнь, где нет взрывов бомб, стрельбы, они в этой жизни оказываются второгодниками. Я не могу освободиться от этого чувства: вот тогда я жил, а теперь мне осталось просто дожить...

Может, все-таки надо каждому хоть немного чего-то такого испытать. Мысли бы у людей стали сразу другие. Тем, кто не испытал, им слово «жизнь» легковесным кажется. Они никогда ничем не делились. Все старались взять побольше. А там — найдешь «бычок» и куришь его на троих, а то и больше. Как мы водой делились. Там ведь с водой трудно очень. Или, помню, паек кончился. Так мы сухари на пять-шесть частей разламывали, чтобы каждому досталось. Хоть кусочек. Чтобы друг рядом не остался совсем голодным. А тут — ты мне не брат, чего мне с тобой делиться, у меня есть — и ладно. Там у всех была одна судьба.

Принято считать, что на войне человек взрослеет. Это совершенно неверно. На войне человек стареет. И вернуться нам хочется не в эту, а в ту, предыдущую жизнь. Можно сказать, даже в детство, но это невозможно.

СООБЩЕНИЕ «20-й КОМНАТЫ»

В январском номере «Юности» была опубликована анкета «Давайте знакомиться». Более 15 тысяч читателей откликнулись на нее. Благодарим всех за ответы, а главное, за новые идеи и предложения, которые помогут нам делать журнал лучше. Обработку анкет ведут социологи Государственной республиканской юношеской библиотеки им. 50-летия ВЛКСМ. В ближайших номерах мы расскажем о результатах анкетирования. А пока сообщаем о лучших публикациях январского номера по результатам просчета 2000 анкет.

Лидирует «20-я комната» — 1355 голосов «за» и 10 «против». Повесть Бориса Васильева «Жила была Клавочка» — 986 голосов, против 67. Очерк Михаила Хромакова «Письма из райкома» собрал 416 голосов «за» и 20 «против». И далее: Сергей Михеенков «Ночь расставаний» — 275 на 57. Марина Есенина «Старая кукла» — 153 на 108. «Строгий талант» из наследия В. Ходасевича — 156 на 22. Михаил Курков «Реставрация — образ жизни» — 118 на 42. На поэтических страницах лидирует Марат Акчурин. Затем — Татьяна Кузовлева, Марина Кулакова, Константин Ваншенкин и Николай Дмитриев. Всего лишь один голос «за» и два «против» набрал Сергей Каратов. Сильно не понравился читателям в этом номере «Зеленый портфель». Например, Алла Лосева «Ссорьтесь научно!» заработала 150 голосов «против» и только 13 «за».

И вновь вопрос читателю: интересен ли для вас такой подсчет голосов? Стоит ли его сделать постоянным?

Ирина ЗАМСКАЯ.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ: «...Я НЕ МОГУ ЖДАТЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ТО, ЧТО СЕЙЧАС ХОЧУ СКАЗАТЬ»

В Риге стояли сокрушительные морозы. Маленькие улочки переметены снегом. В полуподвале любительской киностудии мы, едва согревшись чаем, сели за монтажный стол, и Игорь показал свой фильм. Еще почти не озвученный, не «подчищенный», все огрехи и промахи были видны на матовом экранчике, как на ладони... Игорь все пытался объяснить, что и почему у него не вышло. Но на этом же монтажном столе, где пленка перематывалась из одного брезентового мешка в другой, где ежами торчали куски вырезанной ленты, возле которого Игорь провел месяцы упорного труда, на матовом экране уже ясно видно было, что этому восемнадцатилетнему человеку есть что сказать не только о себе и своих сверстниках, но и о большом мире, о человеке в том мире.

— Нет, нет,— говорит Игорь,— ни одного кадра я не выдумал. Здесь все, что я встретил в жизни. Я хочу показать, что вся наша жизнь — это как узкий коридор, лабиринт, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет впереди за очередным поворотом или следующей дверью. Допустим, меня стала интересовать какая-то дверь, я ее открыл, и меня шокирует то, что я увидел. Проходишь через какие-то комнаты, где люди занимаются чем-то непонятным,— у них своя жизнь, свои страсти,— ты идешь мимо. Так же случайны люди, с которыми встречаешься: они возникают в жизни, потом исчезают, и не знаешь, появятся они снова или нет. Я сам убедился, что двери следуют одна за одной, и ты в полном смятении и некотором страхе: что там скрывает следующая дверь?

— Но разве ты не был счастлив в жизни?

— Нет. Я год уже как получил аттестат, но счастливого в моей жизни ничего не случилось. Одно счастье — школа окончена.

Его фильм начинается с кадров: сдан последний экзамен, и счастливые одноклассники шагают по улицам, веселятся в зоопарке, а потом, присев на лужайке, включают магнитофон. На кассете голос учительницы. Она говорит: «Дорогие мои дети! Со слезами на глазах я провожаю вас в большую жизнь. Со слезами, потому что те теплые чувства, которые связали нас за эти годы в один коллектив, не угаснут. Наша школа верит, что вы, ее выпускники, оправдаете надежды и с честью пронесете...» Компания до слез хохочет над этим монологом и выбрасывает в кусты ненужные теперь учебники.

— Со школой связаны и мои первые неприятности в жизни. Мы организовали рок-группу «Железная дорога». Я тоже играл, пел, писал песни. Нас ругали: почему вы не поете песни о любви, а поете об авариях, пожарах, каких-то страхах? Нам говорили: вы об этом поете, потому что вы агрессивные ребята, у вас одно злое за душой. Вам нельзя выступать на сцене. Я убеждал, что нам хочется выразить себя, сказать о том, что нас тревожит. Если хочешь себя выразить, отвечали мне, то выражай себя как другие люди. Ты вставил в ухо серьгу и выбелил чуб — значит, ты хулиган и ты против закона.

Сейчас школа окончена. Ощущение, что выброшен за борт в воду и никому не интересно, как ты там барахтаешься, кем ты станешь и как будешь жить. Некоторые от растерянности принимаются пить. А сейчас, когда вышло постановление против пьянства, многие мои сверстники ищут кайфа в наркотиках. Если сейчас не спохватимся по-настоящему, то через несколько лет возникнет острая проблема. Сам я не пью, не курю. Противно. Мне претит искусственная стимуляция. Надо жить только своей силой и энергией. Я вот «выключаюсь», когда снимаю кино...

Помните, там, в лабиринте, мой герой натыкается на парня со шприцем, который как полумертвый? В лабиринте он теряет всех, с кем, казалось, пройдет всю жизнь. Причем друзья как будто рядом, но они уже не те. У меня был друг, талантливый парень, вдруг увлекся наркотиками, и точка. И ничем я не могу ему помочь, стою перед ним как дурак, вижу: человек погибает, а спасти не могу. Спрашиваю у него: «Зачем ты это делаешь?» А он в ответ: «А ты почему этим не занимаешься?» «Ну, как,— говорю,— я хочу что-то сделать в этой жизни, какие-то идеи есть, планы на жизнь...» А он мне говорит: «Ты просто мещанин».

Еще эпизод из его фильма: веселая компания одноклассников проходит мимо церкви. Одна из девушек задерживается. Пытается отворить тяжелую черную дверь. Вдруг дверь отворяется сама собой, высовывается рука и втаскивает девушку в церковь. Компания переполошена. Бросается вслед. Вот они уже внутри. И видят свою одноклассницу в монашеском облачении. Она стоит на коленях. Она молится. Они зовут ее. Не откликается. Пытаются подойти ближе — и наталкиваются на невидимую преграду. Словно стеклянная стена между ними. Уже не докричаться до нее.

— Это я снял свой сон. Мне все это приснилось. Но здесь реальный смысл. Мы потеряли девушку. Она ушла дорогой веры. То, что меньше всего можно ожидать после школы. Был у нас нормальный парень. Вдруг в один из дней, как он говорит, «увидел бога». И точка. Теперь ходит с библией повсюду. Если я его встречу, он что-нибудь процитирует. Говорить с ним невозможно. Он за стеклянной стеной.

Считается, что молодость — это вроде как тренировочная дистанция, а это самая настоящая жизнь. Не говорю о других жанрах, но взять хотя бы кино: фильм о молодежи делают пожилые люди. Отсюда и вранье. Они стараются изобразить нашу молодежную жизнь такой, какой они сами ее видят. Получается очередная фальшивка, смотреть противно. Нам, молодым, самим есть что сказать о себе. Когда молод, замечаешь вещи, мимо которых старшие проходят не глядя. Может быть, когда я постарею, все это мне тоже покажется банальным, и тогда, в свою очередь, не замечу того, что замечает молодежь. И я понял, что не могу ждать двадцать лет, чтобы сказать людям то, что хочу сказать сейчас. Мне просто невмоготу терпеть и дожидаться, пока стукнет тридцать, появится положение в обществе и право на голос. Я решил попытаться показать на экране, как мы себя ощущаем — я и мои сверстники.

Ведь это так не просто быть молодым. Все время какие-то страхи, переживания. Задаешь себе вопрос: кому я тут вообще нужен? Даже не знаю, что со мной будет. Что там, впереди? Пока об этом не думаю. Рожки выставил и бодаюсь...

— А где ты теряешь вторую девушку из компании, с которой вы идете по фильму?

— Я теряю ее на рок-концерте... А потом встречаю в кафе, где она продает себя. Она угощает меня коктейлем, и я вижу, как она на моих глазах старится: ничего не меняется вокруг, бар еще двести лет будет таким же, только лицо ее меняется, появляются морщины, мешки под глазами, истасканность. Поймет ли она, что ничего не приобрела, всю жизнь отдав за наслаждение и комфорт? Все с ней случилось потому, что она изначально была одинока. Ведь с нами никто не говорит на равных о серьезных вещах. Смешно слышать, о чем взрослые с нами говорят: о наклейках на джинсах, о поведении на концертах... И молчат о потере молодежью интереса к жизни, о самоубийствах, о том, что молодежь сходит с ума.

Меня никогда не спрашивали, что творится в душе моей. Меня только спрашивали, почему я опаздываю в школу, почему на мне красные брюки, почему я выбелил волосы. Ни один не сказал: старик, ты еще мало что понимаешь, может, ты и правильно поступаешь, но вот в этом случае ты просто не эластичен, надо умнее отстаивать свои принципы.

Он конструирует свой фильм из метафор. Он говорит: «Не получился эпизод, где в черной комнате на меня прыгает черная кошка и начинает рвать зубами и когтями мое тело. Я в ужасе убегаю». И поясняет: «Черная кошка — это болезнь. Она всегда неожиданна и мучительна». Черный монах, который почти постоянно встречается героям его фильма,— это смерть. «Мы не задумываемся, что она всегда рядом,— говорит Игорь,— мы пробегаем мимо, не обращая до поры до времени никакого внимания на ее присутствие». На одной из улочек герой фильма видит женщину. Она приближается. Он узнает — это его мать. Зовет ее. Кричит. Но та молча идет, выставив вперед руки. Он понимает, что она слепа, не видит и не слышит его. И тут появляется черный монах и, обняв мать за плечи, уводит ее. Тот же монах возникает в конце фильма в эпизодах ядерной катастрофы. По замыслу Игоря, за кадром постоянно будет слышен монотонный голос из радиоприемника, диктор будет говорить одно и то же: что мир надо спасать, что в мире напряженная атмосфера...

— Я считаю, что политика — это такая штука, которая придумана для того, чтобы многие люди не остались без работы, и от этого страдают целые поколения. Нам говорят: «Вы боретесь за мир, против опасности уже тем, что хорошо учитесь». Какая чепуха! Как бы я хорошо ни учился, в мире напряженность не уменьшится. Нас только информируют: там что-то взорвали, испытали, и от этой беспомощности всем стало все равно. Я об этом говорю в своем фильме. Какой-то кретин может нажать кнопку, и все взлетит к черту. И не просто всё, а это мы взлетим — и даже знать не будем, почему он так поступил. Я готов бросить всю свою зарплату в фонд мира, но не уверен, изменится ли от этого что-нибудь. Если мы бросим все свои деньги в этот фонд, это поможет? Кто в это верит? Никто!

Мелькнул последний кадр. Экран погас. Юрис Подниекс, которого Игорь боготворит, часто спрашивал своих героев, что они предприняли бы, если бы у них в руках оказалась куча денег. Игорь ответил не раздумывая: «Я в одну картину бы все вложил, и получился бы, может быть, отличный фильм...» Игорь работает на киностудии плотником, а вечерами пропадает на любительской студии при Академии наук.

— Тут будто в раю — нет той привычной, напряженной атмосферы, нет двуличных людей, все открыты, откровенны, помогают друг другу. Любому могу позвонить в четыре часа ночи, сказать: послушай, дай аккумулятор для съемок или машину,— и он сделает все. Это братья по крови! Я увидел здесь людей, фанатично преданных своему делу. Их больше интересуют не деньги, не слава, для них существуют другие ценности. Они работают с восьми утра и неизвестно до какого времени вечером. Я только так хочу жить. Теперь начинаю догадываться, что счастье можно ощутить только после долгой работы и борьбы.

У меня есть Учитель. Это — Георг Баркан, преподаватель художественного училища. Он фанатично любит Старую Ригу, фанатично предан искусству. Когда встречаешь таких людей, видишь, что ни у кого нет счастливой жизни в привычном значении этого слова. Но как они счастливы, когда заняты своим главным делом! Меня нелегкое такое счастье не пугает. Георг Баркан научил меня любить старые вещи, все карнизы Старой Риги, булыжник... Я хочу сделать фильм о крылечках в старом городе, об этих нескольких ступеньках при входе в каждый дом, на которые люди ступают, не обращая внимания.

Еще хотелось бы сделать фильм о роботизации человека. И еще о людях, которые навязывают свои идеи с помощью кресла, в котором сидят. Понимаешь, что он ошибается, но он говорит с таким апломбом и таким начальственным тоном, что ты вынужден только поддакивать.

Игорь Васильев не стал никому поддакивать, не стал дожидаться, когда ему наконец разрешат говорить своим голосом. Этим он и был интересен.

«Цитатой» из фильма Васильева и завершает свой фильм Подниекс. Берег моря. Желтый песок и гладкая синяя вода. Спиной к нам на берегу и на плоских камнях вдали от берега и по колено в воде и совсем далеко стоят молодые люди и смотрят на спокойный синий горизонт. «Игорь,— спрашивает Юрис Подниекс,— почему ты решил закончить фильм именно таким кадром?» «Синий цвет — это цвет надежды,— говорит Игорь Васильев.— И все мы как бы стоим в синем море надежды. Еще это неизвестность: каждый должен искать. И нас очень много, по-моему, весь мир надеется. И ты ведь тоже?»

«Легко ли быть молодым?» — не фильм завершенных ответов. Этот фильм — фильм вопросов. И «20-ю комнату» очень интересует: а как бы лично ты ответил на эти вопросы, поставленные фильмом? Ведь наверняка что-то похожее случалось и в твоей судьбе? Напиши нам, легко ли тебе приходится на этом участке жизни, который называется юностью? ЧТО ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ, ЧТО ТЫ ХОТЕЛ БЫ ИЗМЕНИТЬ и ПОЧЕМУ ТЕБЕ ЭТО НЕ УДАЕТСЯ?

Выездное заседание «20-й комнаты» провели наши специальные корреспонденты Юрий ЗЕРЧАНИНОВ и Михаил ХРОМАКОВ.

Урок рок-музыки

На первом заседании «20-й комнаты» мы спросили читателей: «Кто сегодня лучший рок-музыкант? Какую рок-группу считаете лучшей?» Хит-парад на сегодняшний день выглядит так:

ЛУЧШИЕ ГРУППЫ	ЛУЧШИЕ МУЗЫКАНТЫ
1. «Аквариум»	
2. «Машина времени»	1. Борис Гребенщиков
3. «ДДТ»	2. Андрей Макаревич
4. «Ария»	3. Юрий Шевчук
5. «Круиз»	4. Юрий Лоза
6. «Форум»	5. Михаил Науменко
7. «Зоопарк»	6. Константин Кинчев
8. «Алиса»	7. Владимир Кузьмин
9. «Кино»	8. Валерий Гаина
«Урфин Джюс»	9. Виктор Цой
10. «Наутилус» (Свердловск)	10. Сергей Сарычев

Повторяем наш вопрос: «Кто лучший?» Для того, чтобы мы учли ваш голос при подсчете, на конверте пометьте: «ХИТ-ПАРАД-2».

Александр КАЗАНЦЕВ

На страже мира

Сапоги по ступеням — стук и звон —
вниз, вниз, вниз...
Над головою серый бетон тяжко навис.
Бункер подземный.
Соломенный свет — ломок и колок.
Пульты мерцают.
Впрессована смерть в пуговки кнопок.
По осциллографам — пляска лучей, дикая, злая.
Нет, не хочу я смерти ничьей! Нет, не желаю!
Чувствую, знаю: там, надо мной, возятся дети...
Смерть против смерти встала стеной,
смерть против смерти.
Дикость! Нелепость!
Но выбора нет, если случилось так:
Мир на иглах ракет стоит, не на китах.
Ты, человечество,
в тысячу лет смоешь ли этот грех?..
Тяжко ступая, выйду на свет —
вверх, вверх, вверх...

Упаду в траву густую, с облегчением дыша,
И с руки легонько сдую шебутного мураша.

Рифмованная проза

Как он глядится за рулем
Зеленых новых «Жигулей»!..
Строка рифмуется с «рублем»,
Вторая — с множеством рублей.
Высок и крепок новый дом,
В дому достаток и уют...
Строка рифмуется с «трудом»,
Хоть вложен тут не только труд.
В дому случаются друзья —
Высокопарны, как грачи...
Строка рифмуется с «нельзя»,
Хоть могут все они почти.
А кто не может — тот чужой,
Тому и шиш, и ни шиша...
Строка рифмуется с душой,
Хотя при чем же здесь душа?!

☆☆☆

Прицепились к памяти, как репьи,
Злые да колючие слова твои.

Злость твоя внезапная не нова,
Но всего печальней, что ты права:

Хоть на свете прожил я тридцать лет,
А уменья жить и поныне нет.

Все мое умение, может быть,
В том, что не умею, как надо, жить.

Марис ЧАКЛАЙС

☆☆☆

Есть право растрясти
Усталость и дремоту.
Есть право соскрести
Дурную позолоту.
Есть право колдовать
Над строчкой стиховою.
А патина под стать
Душевному застою.
Есть право на слова,
На гнев, по кривде бьющий.
Дает на них права
День завтрашний, грядущий.

После дождя

Как блещет зеркало слепое,
Как нежен склон береговой...
Мне это озеро лесное
Моею кажется судьбой.
Никто особенно тобою
Не занят,— всем хватает дел.
Вода аукаться с водою
Устала,— дождь отшелестел.
Уже беспомощные капли,
Глоток, еще один глоток,
Дождь спотыкается, не так ли?
Он утомился, изнемог.
Уже последние усилья
Он прилагает, может быть.
Еще серебряные крылья
Стрекозам страшно замочить.
Иди смелей, пускай дымятся
В сырой траве твои следы.
Навек, быть может, сохранятся
Они, наивны и чисты.
В родстве со всем в живой природе,
Погладить кустик не забудь,
Ведь ты с ним в общем хороводе...
Будь осторожен, ласков будь.
Не расплещи воды зеркальной,
Не затопчи лучей сквозных
В их чистоте полуреальной,—
Обидеть так нетрудно их.
Чья это щедрость? Чьи заботы?
Над ним — слепящий ореол.
Блести, листва, сверкайте, воды!
Какая радость: дождь прошел.

☆☆☆

Душа, как с ветви лист, срывается,
Снести не в силах зимней муки.
Неужто только тот спасается,
Кто попадает в наши руки?

Покинув сумерки осенние
И дрожь студеную в тумане,
Неужто только тот спасение
Обрел, кто спит в моем кармане?
Душа, как с ветви лист, срывается,
И человек, боясь разлуки,
Застыв, как памятник, прощается,
К листве протягивает руки.

Курземское каратэ

С младенчества верен мечте
одной — каратэ, каратэ.
С младенчества, лучше не тронь! —
свою тренирует ладонь.
Стол с края ладонью протерт
за годы... Удар его тверд.
Прием за приемом, не счесть,
освоил их все сколько есть.
Наш двор и его варьете —
одно каратэ, каратэ.
А сила, как тесто, растет.
Семнадцатый, кажется, год.
Девчоночья шейка тонка —
над ней нависает рука.
Слепой не сдержать ему пыл,
как ветку, ее обломил.
И ложка в тюремной еде
стоит — каратэ, каратэ.

☆☆☆

Сочится солнце алой ранкой
в морозных блестках и снегу,
и металлической чеканкой
любуюсь я на берегу.
Реки излучина дымится
на зимней утренней заре,
пейзаж зимы розоволицей
сплошь в тускло-синем серебре.
Напоминает лед скопленье
геометрических фигур,
в их гранях — смертное томленье,
и лес то высвечен, то хмур.
И так торжественна природа,
что мне неловко рядом с ней,
но и в торжественности что-то
таится странное: скорей
всего локаторы природы
на стаю первых птиц уже
наткнулись, и очнулись воды,
и что-то дрогнуло в душе.

Перевел с латышского
А. КУШНЕР

Елена ЛАВРЕНТЬЕВА

☆☆☆

Как путь выбирает река
единственный раз на века,
одну неизвестность любя,
так я выбираю тебя.
Как ласточка каждой весной
гнездится под крышей одной,
свободы большой пригубя,
так я выбираю тебя.
Как вечером окна в избе,
так светит мне что-то в тебе.
Не преданность и не любовь —
страдание выберу вновь.

☆☆☆

Изо всех на свете языков-наречий
есть один, который был у них предтечей.
И на этом самом древнем языке
что-то ивы тихо говорят реке.
И рябина кистью пишет в полумраке
алфавита первого огненные знаки.
Письменный и устный... И наверняка
не было на свете лучше языка.
Он в любую форму может мысль облечь.
Снегом и метелью возникает речь.
Возникает слово громом с высоты.
Меж собою шепчутся под дождем кусты.
Я с восторгом слушаю голоса грозы,
постигая древнего языка азы.
Вся природа в мире говорит на нем.
Что ты пишешь, молния, на небе огнем?

☆☆☆

Я знаю, как дерево стонет в жестокий мороз:
застонет, тревогу заронит, взволнует до слез.
Я видела, как в исступленье приходит зима.
А дерево — это терпенье и кротость сама.
Когда возникает из ночи тот голос опять,
я знаю, что не было мочи кому-то молчать.

☆☆☆

Ну, что ты никак не даешься?
Ведь ты зародилось во мне!
Опять ускользаешь и вьешься
и слышишься где-то извне.
И вновь возвращаешься в душу,
где тесно тебе и темно.
Так птица в жестокую стужу
стучится снаружи в окно.
Ты — звук, что бывает до слова.
Ты — стук, что до ритма возник.
Ты — чувство, которое ново,
и этого чувства двойник.
Никак мне с тобою не сладить,
никак тебя в плоть не облечь.
Ты — мысль несказанная,
ради
тебя
изощряется речь.

☆☆☆

Ты помнишь ли, как понимали мы
друг друга вдохновенно, с полуслова.
Во мне, как будто посреди зимы,
твоя, как вишня, расцветала мова.
Текли слова, сливались в речь одну,
а голоса — в единое звучанье,
и поглотив друг друга, в тишину
перетворились, в полное молчанье.
В любви так трудно не терять лица!
Мы этому значенья не придали.
Друг в друге растворялись до конца,
друг друга мы теряли не тогда ли?
Любимый мой, ладонь твоя тепла.
Но должен согласиться ты, не споря,
что наша речка в море утекла.
Попробуй возврати ее из моря!

г. Донецк

Павло МОВЧАН

Раскрытые окна

Дух времени камни разрушит, как угли,
Развеет по воздуху пеплом костра,
портянок нарвет из зеленой хоругви
и сердце мое оголит до ядра.
Где лето? Ушло вереницей видений,
и слово «зозуля» звучит как «зола».
Лишь в небе кружат перелетные тени,
и каждая некогда птицей была.
Вводить в заблуждение время нелепо.
Чеканить свой лик на монетах смешно.
Как мышь доберется сквозь щели до хлеба,
так времени в кровь просочиться дано.
А ты все усердствуешь зря, дурачина.
Довольствуйся жизнью — не будет другой.
Хоть раз обернись на свои же руины —
не дом ты построил, а склеп родовой.
Осталось лишь имя, что дал тебе ветер,
счетами и справками меченный путь.
Вот этой тщетою и жил ты на свете,
никчемный свой век норовя растянуть.
Боясь наследить, ты снимаешь ботинки.
Труху табака — из карманов долой.
Так чисто — на совести нет ни соринки.
О как, хлопотун, ты доволен собой!
Но ветер ворвался и в ту же минуту
тебя из квартиры выносит в окно...
В саду чья-то тень оболочкою сдутой
повисла на груше, засохшей давно.

Перевел с украинского
С. ГАНДЛЕВСКИЙ

Сознание

О, как белизна благотворна для взгляда,
в снега опрокинута неба громада.
Травинка из белого тела торчит,
дохнет ветерок — и душа заболит...
Прожито, забыто... подобием льда
бутыль из-под меда сверкает, пуста...
И тело застыло, и трудно вздохнуть,
серебряной кровь моя стала, как ртуть.
Тень птицы степной промелькнет в стороне.
Сознанье стеклянное вздрогнет во мне...
Засижено мухами, мутно окно,
лишь луч иногда пропускает оно,
не вижу ни хаты в окне, ни плетня,
лишь воздух горячий ласкает меня,
как будто отверстке в этом стекле —
морщины мои распустились в тепле.
И ловят снежинку, размякнув, ладони,
и крикнул бы — голос мой стынет и тонет...
И воздух губами, как глину, леплю
для тихого, горького слова — «люблю»...

Люблю перемены, изменчивость дней,
и блеск белизны, и ребристость стеблей.
Люблю эти трещины, раны, рубцы
и снежной ледышки в руке леденцы,
таинственность жизни, отраву ее,
щемящее это люблю забытье.

Перевел А. КУШНЕР

Зов

Оглянись, у берез загораются крылья сквозные,
небо стелется вслед за тобою, Мария...
Пахнет мятой, и стало просторней дыханье,
поднимись на курган, огляди полыханье.
Все горит — обрати ты свой взор на скитальца.
Ах, Мария, сидит по кукушке
на каждом обветренном пальце.
Стал бескрайним простор
от призывного их кукованья;
О Мария, вернись
и любовь возврати из изгнанья!
Путь соломой тебе устелю,
Чтобы ты не изранила ноги,
отступают холмы, что стоят у тебя на дороге.
Расцветают цветы, зеленеют увядшие травы,
созревают плоды золотые на древе кудрявом,
и склоняется день над пустой колыбелью.
Пахнет имя твое, как полночное зелье!
Обвивает меня стебелек безымянный,
виноградные гроздья в ладони не вянут...
О Мария, ты слышишь поющее сердце:
нам дарованы рай и бессмертье!

Перевела М. ВИРТА

Сергей ТАСК

Дебют в ЮНОСТИ

☆☆☆

Куда отлетает душа палача?
На небо? Но как повстречаться без страха
с душою того, кто был послан на плаху,
кому разодрал ты на шее рубаху
и место засек, чтоб ударить сплеча?
Куда уползает душа палача?
Под землю? Но глупо в подвалах загробных,
где виселиц нету и мест нету лобных,
бродить средь теней, ей зловеще подобных,
такой унизительный жребий влача.
Куда исчезает душа палача?
Ну, скажем, ты серым прослыл кардиналом,
мышьяк рассылая по тайным каналам,
но вот уже сам отнесен ты к анналам,
горячий поклонник огня и меча.
Куда ускользает душа палача?
И есть ли на свете такие метели,
чтоб дать ускользнуть ей они захотели?
А может, души-то и не было в теле?
А может быть, и не горела свеча?

Игорь ЛЯПИН

☆☆☆

Поезд шел, дребезжал и названивал,
Все навстречу посадки неслись.
Промелькнул полустанок с названием
Потрясающим — «Светлая жизнь».

И с волнением мягко лирическим
Ты сказала негромко: — Ну вот,
Проскочили. Да как символически!
В светлой жизни никто не сойдет.—

Это не было гласом пророчества,
Это боль была давняя вслух.
Потому что так долго нам хочется
Больше света увидеть вокруг.

Сквозь тревожные чувства и грустные
Продираясь, всем бедам назло,
Люди даже места захолустные
Называют особо светло.

Все мы тянемся к свету старательно
И в столицах, и в самой глуши.
Где осознанно, где подсознательно,
Но всегда по веленью души.

Пашем, сеем ли, пишем ли повести,
По космической бродим пыли —
Все мы мчимся в стремительном поезде
Удивительной нашей земли.

И друзья есть у жизни, и вороги.
Лишь не верить, не верить страшись,
Что конечная станция все-таки
Будет именно — светлая жизнь.

☆☆☆

Историю нисколько не щадя,
И к прадедам без должного вниманья
Мы улицам и древним площадям
Легко вручаем новые названья.
И в суете житейской городской,
Волнующей и вовсе не безгрешной,
Торопимся, увы, по нетверской,
Летим в такси уже по неманежной.
Когда мы переступим эту спесь?
Когда оценим славное наследье,
Подумаем сначала: кто мы есть,
И чьи мы есть на этом белом свете?
Когда и кто впустил нам в души яд,
Что так глаза туманом застилает?
И если до сих пор Арбат — Арбат,
От гордости нас просто распирает.
Растет столица, строится, гремит,
Поток машин стремителен и гулок.
Но вслушайся, твой прадед говорит:
— Каретный ряд... Дегтярный переулок...
У леса, у болота, у реки
Он не жалел ни силы, ни старанья.
Он знал одно: построй и нареки.
Какие хошь давай тогда названья.
Проблем сегодня — выше головы,
И всюду закавыки и загвоздки.
В толстенной книге «Улицы Москвы»
Уже сейчас стоят сплошные сноски.
Представим же, как после, в свой черед,
Мир потряся глобальными делами,
Потомок наш в пылу перечеркнет
Рожденное и названное нами.

Инна КАШЕЖЕВА

Воспоминание об Архангельске

Северная Двина, словно живая ртуть.
Песня, хмельней вина, нас провожает в путь,
Деревом град обшит, как рыбацкий баркас.
Каменный Петр глядит, с порта не сводит глаз.

В этом порту в поту от парика до ботфорт
Купану быть Петру, чтобы построить флот.
На то она и дана однажды в моей судьбе,
Северная Двина — сверенная длина,
Путь от тебя... к тебе.

В утренней тишине, подняв со дна якоря,
По Северной Двине двинем во льды-моря.
Уйдем, оставляя след, как игла на слюде.
Мои восемнадцать лет плывут все по той воде.

☆☆☆

Общежитие боли — больница.
Только здесь, в этих стенах, заметь,
так боится душа оступиться
и чужое страданье задеть.

Не окно — крепостная бойница,
этот суженный мир до зрачка...
Как война, проверяет больница
и бывалого, и новичка.

Словно вырвана кем-то страница
из еще не прочитанных книг.
Старомодное слово «сестрица»
умещается в собственный крик.

Что предсказано, все состоится:
рана есть, значит, будет и соль...
Навсегда, до конца затаится
где-то в памяти острая боль.

Сон, шершавый, как шрам, повторится
эхом стона, слезами на вкус...
Общежитие боли — больница,
между мигом и вечностью шлюз.

Памяти Кайсына Кулиева

Ты любил повторять:
«У поэта нет отчества, есть лишь Отечество».
Кайсын,
Ты любил в человеке любом
Человечество,
как сын.
Ты во всем был неистов, строг,
и щедр, и красив...
Это счастье: в огромных словах
твоей жизни
существует и мой курсив.

Помню давний отъезд: мы шутили, шумели,
та разлука была нам легка.
Ты обнял нас... Шершавей солдатской шинели
уколола твоя щека.
И повеяло дымом огненных далей,
и упала на миг военная мгла...
Превратился простой перезвон медалей
в вековечные колокола.

Без тебя опустела тетрадь Чегема.
Сколько раз ты листал ее на заре,
сам живая солнечная поэма
о своей балкарской земле.
Сколько раз улыбался при мне младенцу,
старику и женщине, белизне вершин...
Полоснула меня сегодня по сердцу
не боль, а радость: ты был, Кайсын!

День как день, а узнали и сразу — дата,
под глазами синь у друзей легла...
Потеряла страна своего солдата,
но поэзия сына не отдала.
Сколько б ни было встреч,
до единой все помню,
хоть они далеко-далеко...
Столько дал моему ты счастливому полдню,
что и в полночь мне будет легко.

Может, это и есть непонятное — слава?
А в глазах некролог полыхает кроваво,
затмевая собой белый свет...
Ты сегодня на «ты» дал впервые мне право:
у Отечества был — и будет! — поэт
Кайсын.

☆☆☆

Какая зимняя зима
была тогда на белом свете!
Она сама вошла, сама,
как в мое сердце, в строки эти.
Стыл поцелуем на губах
морозный шепот разговора,
и шарф твой вьюгою пропах,
которая пройдет не скоро.

Вокруг — на счастье! — ни души,
и улицы узки, как тропы...
Ты глаз горячих не туши
об эти синие сугробы.
Ты все сказать мне не спеши,
не торопись к огням и людям.
Здесь, в замороженной тиши,
давай еще чуть-чуть побудем.

Не повторимся эти мы,
не задержать минуту эту...
Не уходи из той зимы
в прощание,
в разлуку,
в Лету!

Аркадий ТЮРИН

Дебют в юности

☆☆☆

Спасите вечность от забот
Во всем измеренного царства,
И у ее стальных ворот
Отбросьте жалкое лекарство.
А вы — не все ли вам равно,
Разоблачатся ли обманы:
Когда бросаются в окно,
Не собирают чемоданы!
Хоть жизнь сложилась из моментов,
Из них бессмертья не сложить;
Не ставьте вечных монументов —
Им памяти не пережить.

Когда приходит время сна...

Когда приходит время сна,
Так трудно снова стать ребенком,
Загородиться тонким одеялом
От незнакомых мыслей и людей
И белой простыней — от темноты.
И так же трудно оставаться взрослым,
Когда приходит время просыпаться.
Еще не наступил рассвет, а фея
Судьбы уже садится в изголовье,
Ломая сосны каменным крылом.
Откроешь дверь в ненастье —
И вздохнешь...

☆☆☆

Мы слепо следуем судьбе
И зову собственной природы.
Но мне достаточно свободы
Невольно думать о тебе.
Как возвратить тебе тепло
Воспоминаний бестелесных?
Я — лишь один из неизвестных,
Которых время унесло.
Но мне случалось уловить
Изгиб луча, оттенок тени.
Мир состоит из откровений
Для тех, кто смог его открыть...

☆☆☆

В слове «пирамидальный» есть
Пирамиды, медали и миндалины,
Которые недавно удалены;
Но в нем вместо шпиля —
Лишь горстка горькой пыли.
Важнее гамлетовского «...или не быть?»
Один вопрос: «Вы были?»
А есть слова, охватывающие свой смысл
Только зыбким кольцом...
Есть — скрывающие его,
Точно взгляд под тонкою пленкой
Усталого века...
А вы видели когда-нибудь дерево
С лицом
Еще никогда не жившего на земле
Человека?

НЕЛИЦЕМЕРНЫЙ СУД ДЕРЖАТЬ...

Беседа с народным художником СССР Ильей ГЛАЗУНОВЫМ

КОРРЕСПОНДЕНТ. Ваша выставка, которая состоялась в Москве, затем в Ленинграде, в Иркутске, а недавно и в Лондоне, вызвала большой интерес. Довольны ли вы? Довольны ли вы тем, как отнеслись к ней наши искусствоведы, ваши коллеги, печать? Известно, что в книгах отзывов сделано много записей посетителями выставки. Что наиболее характерно в них? Как вы относитесь к суждениям профессионалов и любителей живописи? Бывают ли резкие расхождения в оценках одних и тех же работ? Чем это объясняется? Сделанное часто видится иначе по прошествии времени. Каково ваше отношение к тому, что уже выдержало это испытание временем?

И. Г. Вопросы непростые, начнем с конца, чтобы приблизиться к началу. О профессионалах и о любителях. В последнее время у нас, как и за рубежом, усердно проводится формирование мнения, что есть искусство двух видов: одно искусство элитарное, для понимающих, другое — для широких масс, так называемый кич. Мне всегда хочется задать вопрос: для кого писали Пушкин, Сервантес, Достоевский, Толстой — для элиты или для масс? Для кого писали Суриков, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Веласкес, Эль Греко и многие, многие другие? Я думаю, что мечта каждого художника — быть понятым. Альбер Камю сказал, что многие художники в двадцатом веке понимают свободу в искусстве как право на произвол. Мы же должны говорить о свободе «для», а не о свободе «от».

Всегда важно понять, во имя каких духовных ценностей художник ведет диалог с обществом, что и как он утверждает, как воздействует художник на общество, членом которого является. Если только пять человек купили книгу писателя, что же остальные — ничего не понимающая масса? Разве пустой зал — не провал музыканта? Мне думается, что это в корне неверная постановка вопроса, потому что каждый находит в искусстве свое. Искусство — это демократия. Искусство принадлежит всем, как всем принадлежит небо, солнце, море, шум леса, и каждый воспринимает его по-своему. Прекрасный критик и художник Александр Бенуа вначале, например, не понял великого Врубеля. Годами позже он сам говорил, что не понял этого гениального художника. По первой работе иногда сложно судить о трудном духовном пути художника. Как нельзя по одному стихотворению составить мнение о творчестве поэта.

Для меня как для художника большая радость и честь, что более двух миллионов посетили мою выставку в Москве и Ленинграде. Самым дорогим, самым важным критерием для меня является книга отзывов, она написана народом. Общеизвестно, что художник работает для народа, для общества. Важно, какие философские и моральные идеи лежат в основе деятельности художника. Иное дело, что каждая картина, каждое стихотворение, каждая симфония рождается в таинстве. А уж потом становится общественным достоянием. Сейчас, когда наше искусство находится в поиске, когда сосуществует столько разных направлений и стилей, народ ждет ответов на вопросы, поставленные нашим временем, нашим тревожным XX веком, великим, ищущим, наполненным самым страшным, что есть в сегодняшнем дне,— возможностью уничтожения мира, страхом перед войной, где не будет победителей. Федор Михайлович Достоевский говорил: «Красота спасет мир».

Сегодня красота, т. е. искусство, должна служить делу единения людей, высоким духовным идеалам и давать свою оценку расстановке сил добра и зла в мире. Если не будет ответов на вопросы, зритель останется равнодушным, не будет ходить на выставки, не будет покупать книг, слушать музыку современных композиторов. Как никогда остро звучат слова, сказанные Михаилом Сергеевичем Горбаче-

вым, что «самое плохое в искусстве — это полуправда, надо говорить правду». Русская школа живописи, русская культура всегда отличались, особенно в девятнадцатом веке, жгучим чувством поиска правды, сопереживаемостью с силами добра, подверженного влиянию зла. Об этом написаны романы Достоевского, об этом написаны сотни картин русских художников разных направлений. Я очень люблю круг русских художников «Мира искусств», передвижников, А. Иванова и П. Федотова, которые столь много сделали для нас, как и портретисты XIX века. Мне думается, сегодня и критика, и зритель ждут от живописи картин. Что значит «картина»? Это то же, что роман в литературе. Это выражение мыслей, образного мира художника.

Идеи, которым я отдал свою жизнь, можно разделить на четыре цикла: «Вечная Россия», «Современный город» (дневник современника, живущего в городе XX века с его любовью, надеждами, тревогой, городской весной и осенью), «Федор Михайлович Достоевский и образы русской классической литературы» и «Портрет», потому что я считаю, нет ничего современнее, чем изображение современника. Особняком стоят циклы «БАМ», «Чили», «Вьетнам», «Никарагуа». Я делал многие работы в трудных боевых условиях, стараясь точно зарисовывать то, что я видел. Художникам я отвечаю просто: «Кому не нравится моя живопись — возьмите кисть и сделайте лучше, буду только рад».

Вершина взаимодействия художника и общества — это признание того, что он делает. Я думаю, что если бы в Большой театр никто не ходил, то его пришлось бы закрыть. Если бы не ходили на концерты или выставки, это свидетельствовало бы, что художник равнодушен и не может взволновать своих современников. Когда на одной из последних выставок на чистом холсте было написано что-то вроде «у меня было плохое настроение, и я ничего не мог написать»,— это вне искусства, вне таинства рождения образа. Протест протесту рознь. Давно известно: современное искусство — то, которое выражает современника, говорит с ним, волнует его, делает лучше, заставляет задуматься. Как говорил Гендель, великая музыка — это огромное дерево, в тени которого отдыхает уставший от пути жизни путник. Говоря о народности, о популярности, мы должны четко сформулировать понятие моды, понятие духовного воздействия художника. Критерием является долговечность того или иного произведения. Например, когда мы слышим современную эстраду, можно ли говорить о ее народности? Я думаю, что это продукт определенного времени и на определенное время. Мы знаем, как быстро проходит мода на иных художников, писателей, певцов. Мы всегда можем назвать вечные ценности, вечно юные, вечно современные. Пушкин, Лермонтов, Блок, Гумилев, Андрей Рублев, Александр Иванов, Суриков, Врубель и многие другие. Разве можно сказать сегодня, что Микеланджело устарел? Разве можно сказать, что музыка Баха исчерпала себя? Мы можем говорить о явлениях моды и о явлениях вечно юного человеческого духа. Потому дешевая популярность и понятие успеха — это две разные вещи. И о многих наших деятелях культуры XX века тоже говорили, что это эффект, дешевая популярность, но тем не менее они прочно вошли в нашу культуру, культуру двадцатого века. Мне думается, что нет художников современных или несовременных. Я рисую квадратиками, ты рисуешь кубиками — и мы современны? Современность определяется лишь современностью решения проблемы добра и зла и заинтересованностью художника в судьбах нации и мира. Самое важное в любом искусстве — это школа.

Уже несколько веков существует русская Академия художеств. В ней учились разные художники, такие, как Васнецов и Репин, Рябушкин и Брюллов, Кустодиев и Александр Иванов. А у нас считают, что быть современным — это значит повторять давно прошедшие уроки русского авангарда двадцатых годов. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что каждый дилетант механически становится модернистом, потому что трудно сыграть музыку Баха, трудно написать портрет, как писали великие Веласкес, Рибера, наши Левицкий, Боровиковский: трудно станцевать, как Уланова, сыграть, как Рихтер. Для этого нужна школа. Не случайно великий Дягилев показывал русский театр, русскую живопись, русскую музыку в Париже, и это стало эпохальным событием, эхо которого доносится до сих пор. Не случайно в Париже есть площадь имени Дягилева, а на театре, где выступал впервые русский балет,— надпись. Не случайно все балерины мира хотели взять русские имена: Катя, Наташа, Вера, чтобы хоть этим приблизиться к великому русскому балету. Все это происходило и будет происходить, если художник наделен идеалом, пониманием задач и целей, выражает национальное самосознание. Продолжать традицию может школа, и борьба за школу сегодня — это борьба за наше будущее.

Можно изучить всего Пушкина и Лермонтова и не стать поэтом, но нет ни одного современного поэта, который не знал бы Пушкина и Лермонтова. Александр Блок писал: «Пушкин, тайную свободу пели им вослед тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». В конце XIX и начале XX века в России художники обратились к возрождению живописи Древней Руси, тогда засверкали красками находившиеся под копотью веков и записей иконы. Не случайно Рерих написал восторженную статью о новых впечатлениях, полученных миром от наших, как он называл, священных изображений. А Матисс говорил, что каждый современный художник должен учиться у русской иконы, как делал это он, Матисс. Можно спорить с Матиссом, но бесспорно одно: задача школы — формирование художника, вооружение его профессиональным мастерством, глубокой породненностью с великими традициями, которые составили нашу великую цивилизацию. Как говорил Врубель, вдохновение свойственно всем людям, особенно в молодые годы, но не будь строго рассчитанного механизма мастерства, вдохновение, как пар, уйдет в воздух. Возьмите ранние рисунки Пикассо — это свидетельство школы, они овеяны духом испанской культуры Сурбарана, Веласкеса. Я был поражен, что Пикассо рисовал гипсы так точно и талантливо. Никто насильно не заставлял Врубеля рисовать антику, изучать старых мастеров. Никто не довлел над Суриковым, который сказал великую фразу: «Я композицию старых мастеров очень любил, а потом ее повсюду и в жизни видеть стал...» Сочинение (composition — французское слово, означающее «сочинение, композиция») — это самая сложная форма, где требуется огромная культура мастерства, и подменять это эрзацем самовыражения, модой, когда выплескивается из дырявых банок разная краска на холст,— смешно. Мы обкрадываем молодежь, не вооружая ее и не вводя, если хотите, в храм высокой культуры. Сегодня странно было бы услышать в консерватории — «не надо изучать Баха, забудем Моцарта, зачем Рахманинов?». Но случается, если в художественной школе скажешь, что надо изучать Леонардо да Винчи, надо преклоняться перед Ивановым и изучать его метод ведения картины как многопланового великого русского романа в литературе, — это вызывает порой удивление.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Мне известно, что вы возили своих воспитанников в Италию...

И. Г. Впервые за многие десятилетия институт имени Сурикова смог с помощью ЦК комсомола и Бюро молодежного туризма «Спутник» организовать поездку молодых художников, студентов Института имени Сурикова, в Италию. Мы с Петром Петровичем Литвинским были свидетелями того, с каким молитвенным восторгом смотрели на работы прославленных мастеров молодые художники, как они были потрясены итальянским Возрождением — Тинторетто, Веронезе, Караваджо. В одном из храмов Рима похоронен Орест Кипренский. Мы специально поехали туда. Нам сказали, что мы первые русские, которые посетили могилу. На надгробии по-итальянски написано: «Умер король римских художников, великий русский художник Орест Кипренский». Я видел в Риме заполненные музеи, где находятся творения великих итальянцев XVII и XVIII веков, и пустые залы так называ-

Белая ночь. Ф. М. Достоевский.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР И. С. ГЛАЗУНОВА

Княжна Катя.
Иллюстрация к повести
Ф. М. Достоевского
«Неточка Незванова»

Северная твердыня.

Автопортрет с семьей

Портрет
писателя
В. Коротича.

Девушка
с одуванчиком.

У озера.

емого современного искусства. Чужды этому великому уроку прошлого многие молодые художники Италии сегодня. Здесь есть над чем подумать. Я счастлив, когда слышу о том, что наша молодежь принимает участие в охране памятников истории и культуры. Это верные сыны Отечества и цивилизации! Сопричастность молодежи наследию предков дает веру в будущее.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Сейчас вся наша страна живет в ритме перестройки. Как должны включаться в этот процесс художники?

И. Г. Перестройка — прекрасное слово. Когда мы говорили с молодыми художниками, я предложил назвать их будущую выставку «Перестройка». Я всю жизнь нес определенную идею. Родился я в Ленинграде, видел блокаду, мои родители умерли тогда от голода, как и сотни тысяч ленинградцев. Потом я работал два года в колхозе... Потом учился, ездил по стране. Мы копировали картины в Эрмитаже, Русском музее, в библиотеках, вокруг мы видели искусство, великий город, овеянный памятью Пушкина и Блока. И меня всегда поражало несоответствие реальности жизни тому ложному миру пафоса, лакировки, который виделся на иных картинах. Мы не видели возможности проекции своего мировосприятия и чувства правды жизни среди подобных картин. Очевидно, то же чувствовали передвижники, которые пришли в Академию и отказались писать картины на библейские темы, объявив, что источником их вдохновения должна стать история России, того общества и тех людей, которые их окружают. Я бы хотел напомнить совет Крамского Репину: «Запритесь и постарайтесь сделать так, чтобы хоть одна работа вас удовлетворила».

Я всегда, в каждой своей работе, как мог, ставил новые задачи, будучи верным своему чувству пути. Сегодня мы должны перестраиваться в главном — в поднятии духовного, нравственного уровня нашего искусства, в возможности говорить правду, отвечая на самые злободневные, как говорил Белинский, роковые вопросы нашего времени. Мы видим прекрасные примеры в нашей литературе, достаточно назвать творчество Айтматова, Бондарева, Распутина, Белова, Солоухина, Астафьева и др. Что касается нашего искусства, перестройка должна идти не в плане разболтанности, когда демократия переходит в демагогию, но в главном: в подготовке и вооружении культурными ценностями, воспитании духа молодых художников. Перестройка в том, что художник должен почувствовать ответственность перед временем, эту ответственность чувствовали все художники, от великого Эль Греко до Репина. Отношение к Родине, настроение, как говорили Саврасов и Левитан: главное в пейзаже — настроение, а настроение есть скрытая мысль. Мысль и ответственность — вот, я считаю, главное, что должно лежать в понятии перестройки изобразительного искусства. Высокий реализм — это трудное и высокое понятие, но он понятен всем.

Но может ли художник дать свою оценку миру, если он не знает его, если он видит мир однобоко, из своего окна? Мне думается, что духовность, стремление будить, как говорил Врубель, современников великими образами духа, это задача трудная, интеллектуальная, это самосжигание художника, который творит, ставя на карту свою жизнь. Невольно вспоминаются слова Ибсена, который сказал когда-то: «Что значит жить? В борьбе с судьбою страстями темными сгорать? Творить — что значит над собою нелицемерный суд держать». Нелицемерный суд держать... Но для того, чтобы держать нелицемерный суд над собой, надо знать, надо сравнивать, иметь духовные идеалы. Еще раз хочется сравнить культуру с деревом, чьи корни глубоко уходят в многовековую толщу земли, и отсюда дерево становится могучим и плодоносящим. Так же и человек, и художник должен черпать силы в традициях, имея в руках компас национальной культуры, смело смотреть в лицо урагана времени, чтобы не потеряться в нем. Он должен знать и понимать, что такое добро и что такое зло. Это и есть основа искусства всех времен и народов.

ОН ОСТАВИЛ О СЕБЕ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

В последнем прижизненном сборнике Якова Шведова «Избранное» есть примечательное стихотворение «Иван-чай». В нем рассказано, что на пожарищах выросли сорняки — татарник, бурьян, чернобыл. «Несли эти травы лесам нашим смерть, но только кипрей не смогли одолеть!»

Стихотворение венчают строки: «В кипрее люблю не одну красоту, упрямый характер я свято чту».

Может быть, именно это стихотворение — ключ к пониманию поэта.

Книги Якова Шведова не так уж часто издавали. А ведь его творчество — существенное звено в нашей поэзии.

Вспомним хотя бы песню «Орленок» — прекрасную, незабываемую. Эту песню при самом ее появлении полюбил Н. Островский. Ее пели интербригадовцы в Испании. Пели и поют по всей Советской стране и далеко за ее пределами. На суперобложке одной из книг поэта — изображение памятника Орленку, воздвигнутого комсомольцами Челябинска. Широкую популярность приобрели также песни на стихи Я. Шведова: «Смуглянка», «Рос на опушке рощи клен».

Кстати, упомянем, что Я. Шведов был составителем Антологии советской песни.

Но ограничивать значение творчества поэта одними песнями было бы неверно. Им создано немало запоминающихся стихов, отмеченных «лица не общим выраженьем».

Ключевой раздел в книге «Избранное» — «Ясность». И в самом деле это стихи, отчетливые и определенные по своей гражданской позиции. Стихи о Революции: «Ты, красный цвет, стал совестью моей»,— говорит поэт в стихотворении, примечательно озаглавленном «Любимый цвет».

Одно из лучших стихотворений Я. Шведова — «Разговор с Наташей». Отец, ветеран 20-х годов, идя по Москве с дочерью, вспоминает эпизод из своей комсомольской юности. Перед праздником он получил кумач на оформление демонстрации, своею волей, волей комсомольского вожака решил: разрезать материал и сделать из него кумачовые платки для девушек. И триста работниц на демонстрации сами были как триста знамен!

В стихотворении «Весною это было» комсомолец 20-х годов дает бой ультрасовременному модничанью, которое он называет «фальшивый блеск, да мишура».

Некоторые стихотворения Я. Шведова по своей структуре напоминают балладу: они строго сюжетны и вместе с тем песенны.

Из стихотворений, посвященных Отечественной войне, я бы выделил «Говорят уцелевшие в уличном бое». Обороняющим дом отдают приказ его покинуть. Но они втроем проводят «свой совет военный» и решают отбиваться до последнего. А потом приходит новый приказ: «чтоб на нас равняли линию сраженья, наступленье фронта начиналось с нас».

Знаменателен образ женщины, у которой «светились все черты». «Воплощением Отчизны эта женщина была»,— пишет поэт.

Перешагнувший семидесятилетний рубеж Я. Шведов работал до последней минуты жизни. В книге «Избранное» опубликованы замечательные воспоминания об Э. Багрицком, Н. Полетаеве, А. Фатьянове. Шведов готовил отдельную книгу воспоминаний. А ему было что вспомнить: со многими писателями героической судьбы сводила его жизнь. Как человек, многие годы знавший Якова Захаровича Шведова, могу засвидетельствовать: память его была удивительна по точности и множеству деталей, которые она сохранила, и по значительности фактов.

Молодое поколение, вступающее в жизнь, не забудет одного из первых поэтов Революции, которой в этом году исполняется семьдесят исторических лет.

Григорий ЛЕВИН,

«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества».

П. Я. ЧААДАЕВ,
«Апология сумасшедшего».

Вячеслав
НЕДОШИВИН

...ЧТОБЫ МОГЛИ НА НАС ССЫЛАТЬСЯ!

Самовольничаю... После этих пушкинских слов — «чтобы могли на нас ссылаться» — стоит точка. А я ставлю восклицательный знак. Мне не хватает ударения, возвышающей интонации, восклицания. Мне хочется подчеркнуть, выделить в них курсивом — да простят меня пушкинисты! — два этих слова: «на нас».

А что? Почему бы каждому — тебе, ему, мне — не прожить свою жизнь так, чтобы могли ссылаться и на нас?

Я самовольничаю. Но дело в том (как бы объяснить сложную, опосредованную связь?), что и каменный обелиск в центре Ленинграда тоже похож на восклицательный знак. Я заметил это лет десять назад, почти столько, сколько он стоит здесь. И вид его — гранитной черточки, какого-то немыслимого апострофа на покатой нашей земле — как «сноска» к фразе «Чтобы могли на нас ссылаться», как восклицательный знак к знаменитой 38-й странице третьей масонской тетради Пушкина, как последний комментарий к великой эпохе русской жизни. Еще бы, с этого места — и это доподлинно! — Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский и Бестужев-Рюмин бросили свой последний взгляд на петербургское небо, на «лучший из миров», на нас с вами — выстроившихся в затылок потомков. Вот она связь: и фразы, и Пушкина, и заговора, и дня сегодняшнего. Так что, глядя на гранитный знак, торопливо пролетая мимо, или реанимационно развалившись у окна туристского автобуса, впору думать о пунктуации самой истории — об исторических знаках препинания.

...История. Пугающая бездна. Зеркальная автострада, превращающаяся в мостовую, потом в дорогу, в проселок, в еле заметную тропку. Невидимое, неощущаемое, наконец, неведомое нам прошлое. И все равно слитое, сцепленное с каждым из нас тем, что мы дышим и думаем благодаря ему, что в ячейках памяти, в генах и рецепторах да просто на коже оно навсегда отпечатало все удары, тычки и рубцы времени...

Сколько живу — удивляюсь: как же все перевязано между собой. Спутано. Скручено. Сжато. Диффузия прошлого и настоящего, броуновское движение одного и всех, случайность и закономерность событий, поступков, дел. И повторяе-

мость, и новое развитие, и сшибка дат. Еще летом мы отмечали годовщину казни героев «14 декабря», а через полгода поминали трагическую гибель Пушкина, для кого все они были «друзья, братья, товарищи». А ведь между этими событиями было не полгода — долгих одиннадцать лет...

Все связано! В поисках места казни, той точки, где надо было ставить стелу, уже наш современник Александр Григорьевич Петров «позвал» в свидетели и первого декабриста В. Ф. Раевского, и первого поэта А. С. Пушкина. «Овидиев племянник» (так звал Пушкина Раевский) и «спартанец» (так звал Раевского Пушкин) — добрые кишиневские приятели — снова, но уже через полтора столетия встретились, чтобы помочь нам установить истину. Тот Пушкин, который за три года до Сенатской предупредил Раевского об аресте — о самом первом аресте в стане заговорщиков. И тот Раевский, прошедший ссылки и тюрьму, кто пережил и, намного, своего не изведавшего крепостей товарища.

И как тут не верить в судьбу, в провидение, черт знает во что, если вспомнить разминувшуюся, к несчастью, чету Пушкиных в день дуэли, задуматься о судьбе бесчисленных Раевских в жизни поэта (ведь даже поп в Вороничах, святогорской глуши, с которым Пушкин был дружен, носил эту фамилию!), описать тайную, в мороз, скачку А. Тургенева с телом поэта, когда он заблудился в родовых пушкинских местах, и лошади сами ткнулись в заиндевевшее крыльцо тригорского дома. Словно и впрямь Пушкин, брошенный в последний час почти всеми, взял вожжи в свои руки и привез — доставил себя туда, где ему было лучше всего: покойно, искренне, весело и вольно. Где он когда-то угорело носился по комнатам, где из высоких бокалов пил жженку, сваренную в серебряном ковшичке соседкой, где кокетничал и врал женщинам, что с Якубовичем «разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева» и где пережил одно из самых сильных своих увлечений. В тот дом, кстати, где, стоя у печи в зале, он впервые услышал, «что в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы». Услышал и «страшно побледнел»...

История... Прошедшим летом, занимаясь делом, о котором хочу рассказать здесь, я подолгу гулял белыми ночами вкруг Петропавловской крепости, по кронверку. Ходил и думал о годовщине казни, воображая, как все это было. Как первым шел к виселице Каховский — всклокоченный, небритый, «ходячая оппозиция», по выражению Рылеева. Как осужденные придерживали носовыми платками, продетыми в ножные цепи, свои же кандалы, чтобы легче было идти. Куда? К собственной гибели? В 23 года, в 30 лет и 33? Как, наконец, отмерили они свой последний шаг от кронверкской куртины до «тет-де-пона» — предмостного укрепления вала...

Я думал об этом, я подолгу стоял у обелиска и однажды... Жаль, что не нашелся, не бросился вдогонку какому-то парнишке в нейлоновой куртке пузырем, который на ночной набережной, нет — на покатой нашей земле, вдруг перелез проворно через ограду, метнулся к обелиску и быстро положил к его подножию цветы.

Впрочем, и хорошо, что не нашелся. Так символичней... Кто знает, может, в нем, в незнакомом мальчишке с цветами, все так или иначе окажется связанным и сцепленным в наступающем дне?

Уверен, все сойдется, как задачка с ответом, все рано или поздно будет сказано: где честной страницей, где выполненным долгом, где исторической ссылкой на дело, а где и просто восклицательным знаком. Чтобы перечитали, вернулись к началу, подняли голос или успели выкрикнуть, вспомнили или хотя бы удивились...

А началось все... Нет, в этой истории, похожей на детектив своими поисками, сопоставлениями, сверками, жадным интересом к факту и полетом самого пылкого воображения, каждый сам должен решить для себя — с чего это началось?

Лично для меня все, быть может, началось с беспомощности, бессилия выразить словами чувства, создать объемность мгновения — ведь порядок предложений, абзацев и страниц не помогает — мешает описать и мысль, и аналогию, ощущение, догадку, и тот снег на разгоряченных лицах, и пистолетный дымок, раздувающий ноздри, и звон надломленного клинка над головой...

Да, все началось с чувств. Возможно, с веры, какой был полон рассказ матери, когда в далеком детстве она привела меня на площадь Декабристов (бывшую Сенатскую, бывшую Петровскую), на раскатанное морозным ветром пространство, где, по словам Тынянова, исчезли люди «с прыгающей походкой». Я зачитывался Тыняновым и помнил: «Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга». Хорошо писал Тынянов!

А может быть, все началось с легкой грусти, когда два года назад, прикрыв скрипучие ставни в гостиной восстановленного дома Трубецкого, мы зажигали свечи в бронзовых подсвечниках, и к старой фисгармонии садился Женя Ячменев, молодой директор иркутского музея декабристов, чтобы в этих стенах заметались, соперничая с пламенем, забились, как ощутимые воспоминания, звуки той музыки, которая звучала здесь (могла звучать, конечно!) столетие назад...

Или — с царапнувшей сердце ревности к Александру Бестужеву, про которого любимая мною женщина, прислонившись как-то к парапету Невы у знаменитой площади и забрав у меня сигарету, словно так только она и могла увидеть тот день, сама удивляясь, сказала: «Представляешь... Точить шпагу о камень Медного всадника на глазах восставших и царя. Талант, вызов, юность — все было в этом картинном жесте дерзкого офицера, явившегося на площадь в полной парадной форме». «Кто,— спросил я, не сообразив сразу.— Ты о ком?» Но она меня не слышала: «Помнишь, как начинаются воспоминания Бестужевых? — Она откинула челку со лба.— Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря...»

Да, все началось с чувств — с обиды, восхищения, досады, любопытства, с взрывной смеси переживаний. Все началось с того, что А. Д. Марголис, заведующий отделом музея города, часа три водил меня по крепости и азартно, скорей себе, чем мне, ставил вопрос за вопросом:

«Декабрист Андрей Розен пишет, что пятерых казнили «на валу высоком, за рвом непроходимым». А вал окружал огромную площадь кронверка, примерно пятьсот на шестьсот метров. И где же тогда место, на котором совершилась казнь?»

Я не знал.

«Другой декабрист — Толстой, читая воспоминания Розена, против слов «на валу высоком...» пометил: «У ворот кронверка». Но у каких? Были западные, восточные и северные ворота?

Я не знал.

«Или пишут, что видели собравшийся у моста народ. Но у какого моста? У Иоанновского, по которому провели осужденных из крепости, или у Троицкого наплавного — через Неву? А ведь от этого зависела и точность воспоминаний. Разве не так?»

Я не знал ответов... А ведь вопросы, заданные мне, были азбукой; на деле поиски точного места гибели «первенцев свободы» были гораздо сложней и запутанней.

«...Это было в 4 часа утра,— напишет Владимир Федосеевич Раевский, сидевший в «третьем нумере» кронверкской куртины.— Тусклое окно мешало сначала видеть хорошо, но с рассветом я увидел очень ясно, что на валу сделана платформа, поставлено два столба и на столбах перекладина». Он — очевидец события — сумел рассказать нам, как из дома на кронверке вышли «один за одним» пять человек,

во что они были одеты, как взошли на платформу и как у них «дернули скамейку из-под ног»...

Повторяю, это рассказ очевидца. А Пушкин, его кишиневский знакомец, написавший за свою жизнь тысячи и тысячи строк, этому конкретно событию посвятил едва ли не одну, да и то полузачеркнутую фразу. На той самой 38-й странице третьей масонской тетради он вывел (бегло ли, задумчиво, мрачно?): «И я бы мог как шут на...» Потом «шут на» зачеркнул, оставив на бумаге только пять слов, будто по числу казненных. И тут же, на горячем еще листе, дважды нарисовал виселицу с пятью повешенными.

Можно гадать сегодня, какой из двух рисунков сделан раньше? Одними ли чернилами? Можно спорить еще лет сто о смысле полузачеркнутой строки, породившей целую литературу (я насчитал полтора десятка толкований ее, начиная с описания изображенного В. Е. Якушкиным в 1884 году, с атрибутирования рисунков С. А. Венгеровым в 1908 году — до самых невероятных версий последних лет!). Но одно удивительно: оба рисунка поэта, не видевшего казни, поразительно точны и даже в деталях бесспорны.

Известно, они горячились между собой — Пушкин и Раевский, много спорили и «всегда,— как вспоминал Липранди,— о чем-нибудь дельном». Но в «нахождении» места казни, в скупости слов и линий «про ту ночь» оказались единодушны. Только вот откуда Пушкин смог так точно, так верно изобразить «происшествие»?

Загадка? Несомненно.

«За скальпель истины возьмется будущий век»,— написал о восстании декабрист Штейнгель. Барон, как умный человек, отказал в поиске истины своим современникам. Что ж, он был почти прав — десятилетиями всякое шевеление официальной мысли о «14-м декабря» считалось преступлением, ведь заровняв и утрамбовав место казни (словно можно утрамбовать память?), многие действительно считали — это надолго, чуть ли не навсегда... Разве что «будущий век» — не раньше!

Не раньше — и ошибается Герцен. Он называет местом казни декабристов кронверкскую куртину, т. е. крепостную стену между Меншиковым и Головкиным бастионами...

Не раньше — и путаются многочисленные ученые, неточно указывавшие место казни, в том числе и такой знаток истории декабризма, как И. С. Зильберштейн...

Не раньше — и я удивляюсь, листая переизданную книгу А. Гессена «Во глубине сибирских руд...». В ней фотография и подпись: «Кронверк Петропавловской крепости. Здесь 13 июля 1826 года были казнены...», ну, и так далее. А на фотографии не кронверк — Нарышкин бастион крепости, который, как известно, вообще в противоположной, выходящей к Неве, стороне.

Будущий век... Но, заметьте, уже через год после казни, точнее 15 сентября 1827 года, Пушкин, историк по духу, по чести, по призванию, скажет те слова, с которых я начал эти заметки. «Чтобы могли на нас ссылаться,— скажет он и тут же добавит: — Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря». А ровно через месяц, подтверждая сказанное, торопливо запишет на клочке бумаги случайную свою встречу с Кюхлей, следовавшим под конвоем. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили»...

Так что — слова Штейнгеля о «будущем веке» можно, думаю, переиначить. Смотря кто возьмется за «скальпель истины»!

Да, для каждого оглянувшегося в прошлое все начинается по-своему. И это хорошо; иначе мы имели бы не историю с ее столкновениями, психологией и непредсказуемым случаем, а оструганную до ствола официальную версию, грубо окрашенную лживым духом того или иного режима, его верными трубадурами и капельмейстерами. Ведь помним же мы, как сообщало о восстании «Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям»: «Две возмутившиеся роты.., ими начальствовали семь или восемь Обер-Офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках... не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных»... Ведь читали, как Рафаил Зотов, лакей обобщений, ответил, почему не нужно нам тайных обществ. Потому что «для добрых дел везде существуют общества, но не тайные... Недовольные самолюбцы, будучи в мелких чинах.., видя местами злоупотребления (где, в каком веке и народе их не было?), они требовали в своих сходках не исправления, а истребления... Не понимая, что все права соединены всегда с обязанностями и что без строгого, добросовестного исполнения последних никто не может пользоваться и первыми». Но почему же, хочется спросить, почему груз обязанностей человека всегда как-то перевешивает даже легчайшие как дыхание права его? И если у дышащего нет обязанностей или их мало, значит, и прав у него мало или вообще нет?

Как видим, и так писалась история; и сквозь розовое стеклышко режима почти не видна была кровь на снегу Сенатской... Но, к счастью, режимы с их гремящей амуницией и походными ширмами приходят и уходят. А история — великая история горя, пота и слез, со всеми тычками, рубцами и ударами — остается!

Все начинается с чувств, все и у каждого начинается по-своему. Но вот вопрос: почему в наше время точным местом казни заинтересовался пенсионер Александр Григорьевич Петров, а не какой-нибудь Главный архив, Центральный музей или Институт истории?

Занятный вопрос, и на него не ответит уже сам Петров, ныне покойный... Но большая удача, что поиски начал именно он — профессиональный военный в прошлом (для кого «эполимент», «аппарель», «гласис» и даже «тет-де-понд» были не пустыми звуками, а реальными фортификационными понятиями), автор статей по истории, основатель Совета содействия музею города. С ним нынче полемизируют ученые, на него ссылаются, а тогда он один дерзко и упорно занимался установлением точного — до метра! — места казни пятерых декабристов. И только где-то в начале семидесятых к нему присоединился уже знакомый нам Александр Давыдович Марголис. Присоединился, надо сказать, по другому поводу: приближалось 150-летие «14-го декабря», и он, работник музея, всерьез опасался, что чей-то бредовый проект поставить памятник восстанию рядом с Медным всадником вполне может осуществиться. «Нельзя! — переполошился Марголис, а вслед за ним и музей.— Как можно? Ведь красивейшая площадь, исторически сложившийся ансамбль...»

И вот тут-то и родилась эта идея с памятником на кронверке. Тут и вспомнили маленькую статейку А. Г. Петрова «Штрихи ложились на бумагу...», которую он незадолго до этого опубликовал в одноразовой газете «Пушкинский праздник». Тут и возник он сам, человек, для которого все началось и раньше, и, пожалуй, естественней всего — с любви к моему городу, с пристрастия к факту, армейской четкости.

Все правильно! Главное, в чьих руках «скальпель истины»... В данном случае он оказался в любящих руках!

Мне кажется, фраза Пушкина, вынесенная в заголовок, сегодня звучит, как завещание:

«Непременно должно описывать современные происшествия,— чеканит как наказ поэт и лишь вслед за этим добавляет: — Чтобы могли на нас ссылаться»...

А «происшествие» пряталось до времени в тиши музеев, в библиотечной пыли, в старых картах и чертежах... Все-таки гениально: найти план крепости 1820-х годов и, подогнав масштабы, наложить его на пушкинский рисунок...

Впрочем, я забегаю вперед. Это сейчас, с высоты времени, все элементарно просто, а тогда начинать приходилось с тысячи загадок, с архивных пробелов, с ломких подшивок пожелтевших газет.

«Казнь» — впервые это слово промелькнуло через три недели после восстания. «Примерная казнь,—

сообщал «Русский инвалид»,— будет им справедливым возмездием». На другой же день газета «поправилась», но леденящее это словечко (за полгода до суда, до приговора) уже вспорхнуло над головами арестованных. И кто же мог знать тогда, кому выпадет Сибирь, а кому— плаха?

8 января: в записной книжке некоего Сулакадзева появляется запись: «Сказывают, что на Волковом поле расстреляли п я т ь (выделено мной.— В. Н.) бунтовщиков».

20 февраля: в дневнике одного из семинаристов читаем: «На нынешней неделе некоторые гвардейские роты при параде среди С.-Петербурга расстреливали п я т е р ы х (выделено мной.— В. Н.) бунтовщиков... Троих из них объявлены и фамилии, а именно Бестужева, Рылеева, Трубецкого».

23 июня: пополз слух, что преступников «будут вешать...»

Читал ли эти газеты Пушкин, внимал ли в Михайловском этим жутким слухам? Неизвестно. Мы знаем только, что в июле под одним из стихов он нацарапал несколько загадочных букв и цифр. Пушкинисты расшифровали запись так: «Усл/ышал/ о С/ибири/ 25 /июля 1826 г./. У/слышал/ о с/мерти/ Р/ылеева/ П/естеля/ М/уравьева-Апостола/ К/аховского/ Б/естужева-Рюмина/ 24 /июля 1826 г./.

О виселицах, которые из «всей России сделали страшное лобное место» (это — Вяземский!), газеты сообщат глухо: без имен и фамилий. Узнать, кто погиб на виселице, Пушкин мог в конце июля только изустно — не из газет. И десятилетиями еще будут лежать неопубликованными воспоминания участников и свидетелей этого события.

— Нам в поисках точного места казни не помогли и воспоминания,— рассказывал мне Марголис.— Источников было много, не было нового для нас. Словом, мы зациклились,— усмехнулся он, энергично разгоняя рукой табачный дым.— Здравый смысл подсказывал: далеко, к северным воротам, осужденных не поведут. Но здравый смысл — не доказательство... Короче, оставались только рисунки Пушкина, которые «подозрительно» точно сошлись со старыми чертежами кронверка у Петрова.

Да, столкновение документа — безмолвной, неизменной материи, с живой страстью и интересом дает, разумеется, результат. Но сначала это «столкновение» рождает вопросы. И какие!

Например, насколько графика поэта документальна? Ведь на рисунках изображены не только виселицы, но вал кронверка, ворота, какое-то строение на дальнем плане. Когда эти рисунки возникли в потайной тетради Пушкина? В сентябре, когда царь вызвал его в Москву, или в ноябре, когда поэт ненадолго вернулся в Михайловское? И если Пушкин прав в деталях (а на рисунках были скрупулезно изображены и крюки на перекладине, и веревка, наброшенная на нее внахлест), то уж в расположении эшафота на валу, в расстоянии до ворот, столь важном для исследователей, он, тем более, значит, прав? Только вот какие ворота изобразил он вверху и внизу листа? Или это вообще одни и те же ворота, но с разных сторон вала?

Ну и, наконец, главный вопрос: коль скоро рисунки документальны, то от кого Пушкин мог узнать столь тонкие подробности казни, если в Петербург поэт вернется только через год — в мае 1827 года?

Трудные вопросы! А если учесть, что в истории восстания на Сенатской, да и в пушкиноведении проблема места и времени гибели пятерых до сих пор интересовала немногих (интересовала, но не до минуты, не до метра!), то вопросы эти вообще казались едва ли разрешимыми. Но, с другой стороны, не ставить же и второй памятник погибшим (первый был открыт в 1939 году на острове Голодай, там, где приблизительно могли захоронить казненных), п р и м е р н о в том месте, где располагался эшафот! И что же тогда за участь, теперь и посмертная, у тех, кому все мы должны быть столь благодарны?

Уверенно, ах, как уверенно писал когда-то А. Г. Петров, что восточные ворота кронверка изображены на верхнем рисунке поэта. А внизу 38-й страницы — «несомненно, западные»... Теперь, через три года, этот факт не казался ему столь уж бесспорным. Да, Петров ошибался (это доказывает Г. А. Невелев в вышедшей недавно книге «Истина сильнее царя...»), но тогда, в первой половине семидесятых, даже ошибка его стоила добрых открытий. Она подвигла ученых на сопоставления, на поиск аргументов и доказательств.

Снова и снова открывалась А. Г. Петровым и А. Д. Марголисом летопись жизни поэта, сводились воедино события и факты, место и время встреч Пушкина с теми, кто мог после июля пересказать ему то, что легло основой в его рисунки. И особенно тщательно изучались события с 8 сентября 1826 года — с момента, когда царский фельдъегерь доставил поэта в Москву.

Москва встретила его оглушительно.

«Впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре..,— так отмечала Е. Н. Киселева,— может сравниться только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее А. П. Ермолов, только что оставивший кавказскую армию...» «Все альбомы и лорнеты в движении»,— добавлял еще один наблюдатель... «В мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно»,— это уязвленный голос Шевырева. «У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности»,— а это — Н. В. Путята, новый знакомый Пушкина, который, как и Вяземский, приехал в Москву на коронацию.

На высшей степени популярности... Но отчего же после шквала веселья, после какого-то умопомешательства балов, театров, светских раутов и салонных вечеров, не просто вежливой фразой, не скрытым комплиментом осужденным дышат слова Пушкина, сказанные им Александрине Муравьевой в последние для нее московские вечера. «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести»... О, здесь не минута, не настроение! В этих словах, если хотите, продолжение и разгадка полузачеркнутой строки: «И я бы мог как шут...» В них глубокая, потаенная работа ума и сердца поэта...

А вообще, среди московских собеседников поэта единственным очевидцем казни оказался адъютант генерала Закревского Н. В. Путята. Именно с ним в этот свой приезд поэт слишком часто встречается. Кто он? Что он мог видеть? Да и был ли очевидцем? — задавались вопросами наши исследователи.

К счастью, сохранилась записная книжка Путяты, а в ней оборванный на полуслове рассказ:

«Накануне казни носились о приготовлениях к ней глухие слухи. Весь вечер я бродил по улицам Петербурга, грустный и взволнованный. Проходя по Морской, я завидел огонь на квартире Н. А. Муханова.., зашел к нему и просидел у него за полночь, но ничего положительного о предстоящем событии не узнал. По выходе от Муханова вместе с Неклюдовым, влекомые каким-то безотчетным, тревожным любопытством, мы направились к набережной Невы. Исаакиевский мост был уже разведен. Мы взяли ялик и поплыли мимо Биржи, по малой Неве, огибая крепость. Скоро нам послышался стук топора и молота. Мы вышли на берег и, направляясь по стуку, неожиданно очутились на площади пред сооружаемой виселицею, и остановились тут. Осужденные на каторгу в Сибирь, как выходя из крепости для выслушения приговора, так и возвращаясь в нее уже в арестантском платье, шли бодро и взорами искали знакомых в толпе. В числе зрителей, впрочем состоявших большей частью из жителей окрестных домов, сбежавшихся на барабанный бой, я заметил барона А. А. Дельвига и Н. И. Греча. Тут был еще один французский офицер Де-ла-Рю, только что прибывший в Петербург в свите маршала Мармона, присланного послом на коронацию императора Николая Павловича. Де-ла-Рю был школьным товарищем Сергея Муравьева-

Апостола в каком-то учебном заведении в Париже, не встречался с ним с того времени и увидел его только на виселице».

Все. На этом повествование в записной книжке обрывается. Но для поисков места казни, которые вели наши герои, и этого отрывка было достаточно. Был, существовал человек, который в московские два месяца поэта мог рассказать ему о казни, как о ч е в и д е ц. И рассказ этот совпадал с более поздними воспоминаниями свидетелей казни. Оставалось только еще раз уточнить время рисунков. Ни А. Г. Петров, ни А. Д. Марголис не сомневались — они были сделаны той московской осенью. Но если бы знать точнее?

«Виселицы» 38-го листа третьей масонской тетради датированы «осенними месяцами 1826 года»,— утверждал один из пушкинистов. «В конце ноября»,— возражал другой. «Между 15 и 22 ноября»,— настаивала третья. А в упоминаемой уже книге «Истина сильнее царя...» Г. А. Невелев вообще доказывал, что рисунки могли быть сделаны поэтом начиная прямо с 8 сентября, со дня приезда Пушкина в Москву. Перспективный, на мой взгляд, вывод... Ведь если потаенная тетрадь поэта была с ним в Москве, то этим и в самом деле легко объясняется приблизительность верхнего рисунка виселицы, который мог быть черновым, предварительным наброском поэта, и абсолютная точность, окончательность рисунка нижнего.

Все так. Но, увы, этого накануне 1975 года не могли определенно утверждать ни Петров, ни Марголис. Они знали, скажем, что ворота кронверка, от которых нынче не осталось и следа, были когда-то не выше самого вала, как на нижнем пушкинском рисунке. Из этого следовало, что нижний, а не верхний рисунок был точней, ближе к истине. Но из этого совсем не следовало, что на нижнем были изображены восточные, а не западные ворота. То есть как ни крути, а им не хватало еще одного, решающего звена. Последнего доказательства...

А между тем времени на его поиски уже не оставалось. Приближался декабрь — 150-летие со дня восстания. Уже было решение Ленсовета о создании памятника, уже был готов проект его, уже пора было начинать земляные работы — копать место под фундамент на валу...

— И, знаете, что нам помогло,— спросил меня Александр Давыдович,— «третий нумер». Ну-ка, вспомните, кто из декабристов сидел в кронверкской куртине?

— Пятеро приговоренных к смерти,— уверенно ответил я.— Их перевели сюда накануне казни.

Марголис кивнул.

— Ну, еще, если не ошибаюсь, Лорер, Цебриков, кажется, Лунин, Ентальцев... Еще Розен, его после экзекуции поместили в камеру Рылеева... Кажется, это был «14 нумер»...

Марголис кивнул.

— Кто же еще? Толстой, так ведь? И, по-моему, Владимир Федосеевич, «первый декабрист».

— Вот! — воскликнул Марголис.— Верно. В «третьем нумере» сидел Раевский. Он еще ждал суда, его не выводили на экзекуцию, он был единственным свидетелем казни от начала и до конца. Но мы выпустили из виду, где могла располагаться его камера, каков был обзор ее окна, мог ли он, допустим, видеть западные ворота? Или только восточные?

О «третьем нумере» вспомнили, когда предварительно обсуждали ход поисков места казни. «А вы не забыли Раевского?» — спросили работники музея наших исследователей. «Проверьте, можно ли видеть из его камеры левый фасад Артиллерийского музея напротив — место, где примерно стояли западные ворота?» «Но не забудьте, куртина перестраивалась с тех пор, в ней меньше окон теперь»...

Так было найдено последнее доказательство. И — точное место казни, где и был поставлен памятник. Минувшим летом и я зашел в эту куртину. Там сейчас запасники музея истории города — лакированный паркет, гнутые стулья, запах древних гравюр и уютный дневной свет над широкими столами. И нет частых стен, разделявших эти большие комнаты, которые одни, быть может, и могли еще помнить, как в предсмертную ночь пел здесь Сергей Муравьев-Апостол, как поразительно был спокоен Пестель, как протяжно крикнул, выходя на казнь, Рылеев: «Простите, простите, братья!» Но зато из крайнего окна «третьего нумера», в двухстах метрах от меня, через пролив, я отлично видел освещенный солнцем обелиск — памятник казненным. Он был словно крошечный поплавок, вынырнувший из толщи времени, и словно огромный восклицательный знак на покатой нашей земле...

Туда, на вал кронверка, 18 апреля 1828 года приходили Пушкин и Вяземский, подобравшие пять рубленных топором сосновых щепок. «В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ..,— сообщал жене Вяземский.— Мы садились с Пушкиным в лодочку... пошли бродить по крепости и бродили часа два...».

Туда в мае 1836 года, за восемь месяцев до дуэли, приходили Пушкин и Дурова. «С ужасом и содроганием,— вспоминала бесстрашная «кавалерист-девица»,— отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь...».

И только Пушкину и Раевскому не суждено было прийти сюда вместе. Но, яростные спорщики, они умиротворенно согласились бы здесь друг с другом. Как «согласились» через полтора столетия их воспоминания о главном месте самой черной ночи среди белых петербургских ночей. Как сошлись в истории строка и рисунок, буква и линия.

История — еле видимая во времени тропа, проселок, скрипучая мостовая и широкая, гладкая — хоть чаи в машине гоняй! — асфальтированная дорога. Удобно ли ехать? Не трясет ли на ней вас, мои современники?

Не трясет... Летят, летят мимо обелиска машины с застывшими, как в гербарии, чеканными профилями наездников. Куда летите? — хочется крикнуть вдогонку... Постойте, помолчите здесь у гранитного памятника тем, кто мостил ваш путь. Жизнью — мостил! Для себя выбрав единственный путь: сначала на площадь, потом на эшафот или в Сибирь... А ведь можно было — и были! — сидеть и качать, качать опущенной головой, и скрипеть зубами, и повторять помешанно в такт уходящим годам и жизням: «Что же делать?.. Что же все-таки делать нам?..»

Тропка, проселок, мостовая и удобная, укатанная дорога... «Молодым,— слышу,— везде у нас дорога!» Читаю: «Позови меня, дорога!», «Трудное счастье дороги!», «Строить дорогу — строить себя!». И думаю: что же это за дорога? Почему никому не придет в голову заняться наконец всерьез, научно, что ли, значением всевозможнейших дорог в нашей жизни и того, куда они ведут?

Метра полтора высота кронверкского вала сегодня. А был этот вал, если помните, две сажени. Или по-современному — четыре метра. Да плюс эшафот — метр. Да плюс скамейки школьные, услужливо принесенные для казни из училища мореплавания поблизости. Итого: пять с небольшим метров — вот высота, на которую поднялись под петли осужденные герои, мудрецы, поэты. Пять метров — ничтожная высота для века ракет и самолетов. Но на этом лобном месте их видела вся Россия, их видел в далеком Михайловском Пушкин, их видим по сей день и мы — в затылок выстроившиеся потомки...

История нуждается в истине; прошлое должно быть точно, предметно, осязаемо. И истина — единственная защита истории.

...Из толщи кронверкского вала, с того места, где сколотили когда-то эшафот, экскаватор, копая яму под фундамент памятника, извлек в конце 1975 года какие-то непонятные вещи: скрученное железо, обломки древних, полуистлевших бревен. Экскаваторщик заглушил машину и позвонил в музей...

Первым на место примчался Александр Давыдович. Сердце его, признавался он потом, выскакивало

из груди не от бега — от волнения. А вдруг? Кто знает — вдруг...

Скрученным временем железом оказались кандалы. Что до бревен, то дендрологический анализ показал: сруб их был сделан примерно в 1815 году. Заманчиво, и по сей день заманчиво признать, что это те кандалы, те бревна. Но — будем дотошны, будем верны истине...

— Будем искать доказательства,— тихо сказал Марголис.— Я ничего не исключаю, но разве в самом древнем пласте города не могло быть остатков и других сооружений, не только эшафота? А если говорить о кандалах, то, во-первых, декабристов, как известно, расковали перед казнью и вешали в ремнях, а во-вторых, здесь в кронверке, на верфи, работали когда-то колодники и каторжники. И разве «железы» не могли принадлежать им? Впрочем, если у нас будет музей декабристов, мы выставим и это — вещи, найденные на месте казни. Кстати, в Москве-то уже открылся музей.

Истина — защита истории. «Скальпель истины» — единственное оружие прошлого. От проворного человека, способного передернуть факт, от чиновника, легко мешающего героя с подлецом, от ученого мнения, связанного порой сиюминутным личным интересом.

«Если будет музей...» — обмолвился Марголис. А я подумал: как же дико это звучит? Сто шестьдесят лет нет в Ленинграде музея декабристов. В городе, где совершилось восстание, где декабристы приняли жестокий приговор за нас, потомков, не только нет музея, но сотни вещей, экспонатов, бумаг разбросаны по всевозможным хранилищам, запасникам, архивам и коллекциям. Никто и никогда их не видел еще вместе. Почему?

Почему в доме Русско-Американской кампании, где жил когда-то Рылеев, сегодня — стыдно сказать! — ломбард? Почему на доске этого дома кто-то запретил выбить слова «Здесь был штаб восстания», оставив в граните лишь сообщение «Здесь жил...»? Почему, наконец, рядом с площадью Декабристов одна из улиц носит имя... Якубовича?

Да, кому история мать, а кому — мачеха... В 1923 году бывшую Ново-Исаакиевскую переименовали в улицу Якубовича. Я прочел об этом в книге «Почему так названы?». И захотелось спросить: а действительно, почему?

Почему среди сотен названий переулков, улиц, проспектов и площадей я нашел в книге имена лишь четырех, не считая Якубовича, декабристов? Есть улицы Пестеля, Рылеева, Одоевского, есть переулок Каховского. Все! Напрасно вы станете искать улицы имени Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Не помнят улицы города о таких именах, как Оболенский, выбранный на декабрьской площади диктатором, которому не хватило трех судейских голосов, чтобы занять место на эшафоте рядом с пятерыми. Не помнят о Якушкине — одном из шести основателей еще самого первого в России тайного общества, кому не хватило до казни совсем малости — двух голосов. Нет улиц братьев Бестужевых, сгинувших в «водовороте 14-го декабря», нет улиц Пущина, Лунина, Никиты Муравьева, Сергея Волконского, Вильгельма Кюхельбекера. Нет, не ищите их. Зато есть улица Якубовича. Проворного фразера, который сорвал главный план восстания, кто переметнулся на сторону царя, кого Рылеев, уходя с площади, назвал трусом и изменником и кого молодой Щепин-Ростовский прямо на площади «оскорбил действием», то есть попросту дал по физиономии. Улицы Щепина-Ростовского, поднявшего первый полк, который и начал восстание на Сенатской, нет, а улица Якубовича, которому император велел передать восставшим предложение сдаться, кто жаловался, что даже «солдаты хотели меня тут же заколоть», и кто еще рядом с морозной площадью — раньше всех, по сути! — признался, что «он гнушается замыслами преступных», лежит, раскинулась в центре Ленинграда. Почему? Уж не потому ли, что мертвые герои декабря не могут защитить себя сами? А может, потому, что кто-то из детей и внуков их оказался быстрее, пробойней, проворней остальных? Но на что тогда мы с вами, вставшие в затылок? На что тогда, наконец, колющее и режущее оружие истории — «скальпель истины»?

...История! Пушкин назвал ее полем. «Какое поле — эта новейшая Русская история! — воскликнул за год до смерти он, историк по духу, по чести, по призванию.— И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано, и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять!»

История — поле, дорога, история — мать своим сыновьям. Но история — это и цепь бесконечных (устных ли, письменных!) ссылок поколения на поколение. Именно так создается она, зачеркивая в граните одни слова и выбивая новые, восстанавливая по крупицам, по линии в рисунке, истину, воздавая иным говорливым «храбрецам» наше презрение и воспевая других — подлинных великанов эпохи...

Верю, все сойдется как задачка с ответом. Все будет восстановлено. Где честной страницей, где выполненным долгом, где исторической ссылкой на дело, а где и просто — восклицательным знаком самой истории.

И СНОВА О «ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВ»

В 11-м номере «Юности» за 1986 год была опубликована статья молодой учительницы литературы из Ленинграда Татьяны Служевской «Без шаблона!». Эта статья имела подзаголовок «Заметки о воспитании чувств». То, о чем остро и темпераментно рассказала Татьяна Служевская, вызвало огромный, хотя и неоднозначный, читательский отклик. Что и как преподавать в школе, как возникает стандартное мышление и как переломить стереотип, как сохранить и развить в юном человеке то творческое, что в нем заложено, как сделать тягу к высокой литературе естественной потребностью души,— это волнует и учителей, и учеников, и людей, не имеющих прямого отношения к педагогике. Все мы вышли из школы, все дети наши пройдут этот же путь. Отсюда начинается «бросок» в большую жизнь, здесь формируется личность. Подборка писем наших читателей свидетельствует как раз о том, что тема эта актуальна для каждого неравнодушного человека. Этой публикацией мы приглашаем вас, читатель, к дальнейшему разговору. Каков ваш взгляд на проблему «воспитания чувств»?

«Положение критическое»

«Только что прочитала в 11-м номере «Юности» статью Татьяны Служевской «Без шаблона!». Как точно и правильно пишет она о преподавании литературы! Меня волнует каждое слово, написанное ею! Как необдуманно отняли у нас, учителей литературы, один час в неделю в 9-м классе! А ведь там изучаются самые сложные произведения: «Что делать?» Чернышевского, «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого и другие. Страницы этих книг насыщены философскими раздумьями, размышлениями над психологическим состоянием героев.

Может, кто-то обвинит меня в том, что я неправильно использую время на своих уроках. Но я пробовала разные варианты. Искренне люблю свой предмет и стараюсь тщательно готовиться к занятиям. Да и подумайте сами, как можно о «новых людях» в романе рассказать за один урок? (Да и то из 45 минут 10—15 уходит на опрос, 5 минут — на домашнее задание.)

А если взять «Преступление и наказание» Достоевского? — те же 5 часов. А «Петр I» А. Толстого в 10-м классе? — 2 часа отводится программой на изучение романа. Да что там говорить! Каждый раз, когда я думаю об этом, просто сердце кровью обливается.

Вводятся новые предметы: «Основы информатики и вычислительной техники», факультатив «Этика и психология семейной жизни», которые точно никто не знает, как вести. Микрокалькуляторы наши дети в «глаза не видели» до сих пор. (К началу учебного года они были в двух-трех школах района.) А ведь сколько часов отдано уже этому предмету!

А факультатив? Да разве можно сухими фразами о семье, о долге заменить живое русское слово наших классиков? И что самое интересное, все об этом знают, везде об этом пишут, но никто ничего не предпринимает.

Когда в прошлом году я прочитала публикации в «Литературной газете» о новой программе по литературе, в которых известные люди писали о ее непригодности, я обрадовалась, что журналисты, учителя, космонавты небезразличны к этому предмету, и была уверена, что в 1986/87 учебном году вернут отобранные уроки литературы. Но, к сожалению, все осталось по-прежнему!

Вероятно, о самом прекрасном чувстве — любви — решили говорить на факультативе о семейной жизни.

Страшные цифры, опубликованные в «Литературной газете» за 25 декабря 1985 года, просто врезались мне в память: «С 1940 до 1985 года школьный курс по литературе сокращен на 150 часов»!

В старших классах положение критическое.

Уважаемая редакция! Прошу простить меня за обилие восклицательных знаков. Но писать спокойно просто не могу. В этом году опять веду литературу в 9-м классе. Недавно прошли Чернышевского (имено «прошли», потому что изучить за это время невозможно).

Проблемы, затронутые Татьяной Служевской, очень актуальны. Даже поразительно, что у нее, работающей в столичном городе, и у меня, преподающей в глухой деревне, так сходятся мысли о стандартном анализе произведений, при котором требуется (смотри вопросы после текста), чтобы дети отвечали, что «Прокл умер, потому что много работал», а Муму — «это жертва крепостничества».

На моем уроке тоже дети долго спорят, прежде чем написать, какого же цвета небо изображено на иллюстрациях в конце учебника, и сравнивают одни и те же репродукции картин, так непохожие одна на другую.

Дорогая редакция! Если будут приняты какие-то

решения Министерства просвещения СССР (очень хочется верить в это), то, пожалуйста, сообщите об этом на страницах своего журнала.

Куренкова Лариса Александровна, 26 лет.
Оренбургская область, с. Япрынцево».

«Можно ли жить без Толстого?»

«Я учусь в 10-м классе и после окончания школы хочу стать педагогом, поэтому все, что связано со «школьными вопросами», принимаю очень близко к сердцу. Татьяна Служевская пишет свою статью с позиции учителя, я попытаюсь присоединить свой голос к ее (безусловно, более профессиональному), но с позиции ученицы.

То, что программа по литературе в средней школе далека от совершенства, сейчас ни для кого не секрет. Но понимаем ли мы до конца, что такая программа, такая методика калечат, уродуют души, юные души? Хорошо, если мне сумели привить любовь к литературе, к чтению еще до школы, в семье. А ведь кому-то не привили! Дорастает такая душа до 10-го класса, а перед устным экзаменом по литературе устраивает истерики учителям и родителям: «Не пойду на экзамен! Если мне попадется Маяковский, я лучше утоплюсь, застрелюсь, повешусь. Я ничего не понимаю у Маяковского и ничего не могу о нем сказать!» Я эти слова не выдумала, они прозвучали в нашей школе несколько лет назад. Понимаете, Маяковский для этого десятиклассника — лютый враг. Маяковский!

А вот как характеризует в устном разговоре со мной (разумеется, не в сочинении) творчество Маяковского другая десятиклассница: «Строчки, как обрубки, и ничего не понятно». Не правда ли, полная и емкая характеристика? А почему? Я много раз задавала себе этот вопрос. Искала ответ, размышляла, почему же я сразу полюбила его стихи, полностью доверилась им и сейчас не представляю, как я могла жить, не зная и не читая Маяковского. Наверное, потому что мое знакомство с творчеством замечательного советского поэта началось не с «Левого марша», а с более близкого и понятного: «Послушайте!».

А ведь Маяковского нельзя не услышать, если начать первый урок, посвященный его творчеству со слова «Послушайте!».

В прошлом году на районной олимпиаде по литературе я написала сочинение на тему «Мои любимые страницы лирики Некрасова». О чем я писала? О «Поэте и гражданине», «Памяти Добролюбова»? Нет. Я не могла лицемерить и написала о «Русских женщинах». Эту поэму мы изучали в 7-м классе на уроке внеклассного чтения. (Хотя, конечно, «изучали» — это очень громкое слово.) А на первые два стихотворения потратили несколько уроков, заучивали их наизусть. А попросите меня сейчас, год спустя, прочитать хотя бы четверостишие из «Памяти Добролюбова». Не прочитаю. А из «Княгини Трубецкой» — сколько угодно, и с удовольствием! Потому что «Русские женщины» пробудили в душе «чувство доброе», дошли до сердца. Я заучивала отрывки из этой поэмы наизусть? Нет, сами запомнились, как запомнились очень многие стихотворения Марины Цветаевой, моей любимой поэтессы. Но вот недавно, открыв сборник «Три века русской поэзии» (заметим, сборник, обращенный прежде всего к молодому читателю), прочла: «Создав много ценных произведений, она (Цветаева) все же не смогла выйти на широкую дорогу той поэзии, которая говорит с целым народом...» Товарищи дорогие! Поэт (настоящий поэт!) ищет тропку к сердцу каждого читателя, каждого индивидуально, а не ко всем скопом. А ведь у нас и в школе слишком часто получается так, что стремятся научить всех сразу, забывая о каждом в отдельности. Нам, ученикам, очень не хватает индивидуального подхода. Только не надо говорить, что я требую невозможного. Это возможно, а на уроках литературы более всего возможно, если еще раз (и хорошенько!) обдумать программу по этому предмету. А иначе выпускники школы, молодые люди, будут мыслить шаблонно, ценить поэзию только за то, что она «вышла на широкую дорогу». Нас, сегодняшних молодых людей, нередко обвиняют в черствости, равнодушии, цинизме. Да, мы стали черствыми, мы скоро совсем разучимся плакать. А почему? А потому что плакать нам не над чем, потому что когда-то какой-то добрый дядя-методист очистил программу от «слезливых» произведений. Я не заплачу, читая «Памяти Добролюбова», а читая «Русских женщин» — заплачу! Читая «Бесприданницу» — заплачу! А «Бесприданницу» проходят в 9-м классе факультативно. Проходят мимо «Бесприданницы».

Скажите, уважаемые методисты, вы, которые привыкли обвинять молодежь в кощунстве и цинизме, скажите, не кощунство ли, не издевательство ли (и над великими поэтами, и над учителями, и над учениками) то, что на изучение творчества А. А. Блока и С. А. Есенина отводится в школе по четыре часа! Из них по одному часу — на биографию поэта. Можно ли за три часа (оставшиеся на изучение творческого пути) хотя бы соприкоснуться с поэзией Есенина?!! (Я уже не говорю о том, что за три часа ее можно изучить.) Можно ли? Нет. Мы только проходим (очень удачное слово для характеристики учебного процесса) и Блока, и Есенина. Проходим и мимо А. Н. Островского — величайшего русского драматурга, и мимо других, того не заслуживающих, писателей. Спрашивается, куда же мы идем, куда мы так спешим, к какой светлой цели стремимся, оглядывая беглым взором, не останавливаясь, Маяковского, Блока, Есенина? Куда? Увы, ответа на этот вопрос я не знаю. Знаю только, что, если дело так пойдет и дальше, мы придем к полнейшей бездуховности. Странно, но это страшное слово «бездуховность» пугает не так уж и многих, иначе положение было бы давно исправлено.

Правильно говорил Е. Н. Ильин: «А можно жить без Толстого? А без Чехова? Да можно, можно! И многие живут!» Так вот, по-моему, задача каждого учителя литературы, каждого методиста, составляющего программу для средней школы, сделать так, чтобы без Толстого было нельзя, и без Чехова — нельзя, и без Маяковского — нельзя, невозможно было жить, дышать, действовать. А иначе — зачем?!

Канунникова Ирина,
Московская область».

«Неправда это!»

«Прежде всего обращает на себя внимание общий раздраженный тон статьи Т. Служевской. Достается всем: и урокам изобразительного искусства, и последним достижениям методики начального обучения, и урокам литературы, и учителям, позволившим себе усомниться в «революции» Е. Н. Ильина, и, конечно, учебникам и программе по литературе.

Горестное недоумение вызывает следующее утверждение автора: «Некрасова школьники ненавидят особенно страстно и непримиримо, а ведь когда-то все так любили истории про деда Мазая и генерала Топтыгина!»

Т. Служевская объясняет это порочностью программы, которая составлена так «снайперски точно, что неокрепшая детская любовь расстреливается в упор!». С этим никак нельзя согласиться, потому что многолетняя практика, большой опыт убеждают меня в том, что изучение лирики Некрасова вызывает у девятиклассников очень большой интерес. Дело вовсе не в программе, а в учителе. Все зависит от него. Программа дает ориентир, указывает, на что обратить внимание, и вовсе не запрещает расширить круг изучаемых стихотворений. Я просто не представляю себе, что может быть по-другому.

«Кто дал нам право внушать, что Некрасов был поэтом лишь одной темы и идеи?» — в запальчивости пишет Т. Служевская. Мне хочется спросить: «О ком, о каких учителях вы это пишете?» Это же исключение из общего правила, а вовсе не норма.

С негодованием прочитала слова о Маяковском, «который может соперничать с Некрасовым в нена-

висти, вызываемой к своему творчеству». Об этом просто невозможно спокойно говорить! Неправда это! Нет в классе равнодушных, когда изучается творчество Маяковского, его любят, им восхищаются, о нем читают книги, учат наизусть его стихи.

Нужно только суметь их подготовить к этому восприятию, создать психологический настрой, состояние ожидания чего-то необыкновенного. И даже, если кто-то и не хочет слушать, если кто-нибудь по-прежнему упорствует в своем мнении о грубости и плакатности (кстати, таких с каждым годом становится меньше и меньше), я никогда не позволила бы себе говорить о «свиных рылах».

В конце статьи автор обращается к нам, учителям, с трудным вопросом: «Довольны тем, что делаете сами? Любят литературу ваши ученики?» На первую часть вопроса можно ответить только так: учитель, довольный собой, перестает быть учителем. Можно сказать себе: «Этот вечер у меня получился, эта часть урока прошла удачно», но быть полностью собой довольным, по-моему, просто невозможно. А вот любят ли литературу наши ученики? Я думаю, что многие учителя, работающие творчески, могут сказать честно: «Да, любят».

Разумовская Л. С.,
г. Ленинград».

«Откуда цинизм?»

«Прочитал в ноябрьском номере заметки о воспитании чувств «Без шаблона!» Т. Служевской и чуть не крикнул: «Эврика!»

Меня взволновало нечто очень существенное. Учащиеся 9-го класса — «циники», «свиные рыла», «не признающие ничего святого». Откуда появилась «тупая, самодовольная, разнузданная аудитория»? И каким образом получилось, что не один, не десять человек из класса, а весь класс — циники. Это что-то новое, пугающее, рождающее тревогу.

Я могу понять такое — Маяковского, Некрасова можно не любить, зная их лишь по школьной программе, которую пора было расширить, изменить не сегодня, не вчера, а лет так тридцать пять назад, потому что я сам в то время учился по этой программе, и на себе почувствовал ее пагубное влияние. Но при чем Маяковский, Некрасов? Откуда цинизм, это тупое самодовольство? Может, они знают литературу лучше учителей по другим поэтам и писателям, которые не входят в школьную программу? Но, наверно, я ошибаюсь. Кто знает истинную литературу, тот никогда не станет циником. Вот это я знаю точно. Можно любить или не любить, противопоставлять одного поэта, писателя другому, но отрицать «вообще», не зная ни того, ни другого,— это и есть цинизм.

Чем раньше изменить программу обучения, тем меньше общество получит людей с задатками цинизма, глупого самодовольства. Ведь учителей тоже всех не заставишь любить свой предмет, и, по-моему, и среди учителей тоже есть циники. Логика нам подсказывает этот вывод.

В. Любимцев,
Красноярский край,
г. Кайеркан».

«Антинародное ополчение»

«С большим удовлетворением прочитал статью Татьяны Служевской «Без шаблона!». Все болевые точки (а по существу — тупик, в который зашло литературное образование) подмечены верно. Ваша статья — это, можно сказать, первый крик боли за литературу. Первый, потому что *так* никто еще не писал, хотя было много публикаций по затронутым проблемам. Хорошо, что статья написана учителем. Я все время говорю тем, от кого зависит какое-то изменение общего положения дел, что надо прислушиваться к голосу учителя, надо видеть, что очень многое изменилось, но — увы! — меня мало слушают.

К статье остались глухи те, от кого зависит положение дел. Мало сказать глухи. Главный по рангу методист страны Г. И. Беленький (он зав. лабораторией обучения литературе НИИ СиМО АПН) уже сотрясал воздух на совещании по литературному образованию, говоря о том, «до чего докатилась «Юность» (сказано было сильнее), напечатав статью Т. Служевской. (Он же, кстати, автор той самой программы по литературе, которую побили в «Литературной газете» и в других местах. Он же автор действующей программы.) Так что готовьтесь: против вас соберется (я бы сказал так) «антинародное ополчение».

Говоря о тупике, в который зашло литературное образование, нельзя не сказать о разного рода методических пособиях, которые не просто убивают литературу, но порой способствуют воспитанию (как бы это сказать помягче?) далеко не гуманных чувств.

Нельзя не сказать и об уровне подготовки учителя. Приведу всего один пример. Весной этого года меня попросили прочитать лекцию о лирике (на материале лирики Некрасова). Аудитория — учителя литературы ПТУ и школ. Я решил начать эту лекцию несколько необычно (а по существу, так и должны начинаться уроки поэзии в школе): начал читать стихи Некрасова, не изучаемые в школе и ПТУ. Это были, помнится, следующие стихи: «Прости! Не помни дней паденья...», «Великих зрелищ, мировых судеб поставлены мы зрителями ныне...», «В столицах шум, гремят витии...», начало «Тишины»... Цель была одна — показать, какой интересный поэт Некрасов: вот, мол, традиции «школы гармонической точности» — «школы» Жуковского и Пушкина, а вот — совершенно необычное для Некрасова — стихотворение, близкое к поэтике Тютчева, а вот... и т. д. Задавал я вопрос: «Как вы думаете, кто мог написать это стихотворение? Какого поэта оно вам напоминает?» Самое дикое, что никто из пятидесяти человек словесников не смог узнать даже «В столицах шум...» и «Тишину»!.. Только когда я дошел до строк «Не небесам чужой отчизны — я песни родине слагал», одна учительница воскликнула: «Это мы знаем, эти строчки в учебнике напечатаны». А далее последовало совершенно невообразимое: трое учителей страшно обиделись, что я хотел «уличить» их в незнании Некрасова. Но самое страшное было сказано вслед за обидой: «Мы и не обязаны знать всего Некрасова, мы знаем наизусть «Поэт и гражданин» и «Памяти Добролюбова», а всего Некрасова мы и не обязаны читать...» Конечно, это было мнение не всех, но и не одного-двух...

Хотелось бы надеяться, что журнал продолжит разговор на эту тему.

Зуев Н. Н., зав. отделом
литературоведения и библиографии журнала
«Литература в школе».

«Вопрос на уровне министерства»

«Прочитав статью Т. Служевской, я вспомнила свои школьные годы, свои шаблонные ответы для учителя, но я была в более выгодном положении — у меня была прекрасная подруга, с которой мы втихомолку выясняли истинное значение некоторых произведений. Но школа сделала свое дело, некоторые штампы до сих пор не могу убрать из своей жизни. А так хочется! И вот поэтому я категорически против казенно-бюрократических методистов — людей, которые делают школьника роботом с литературными заготовками. Надо ставить этот вопрос на уровне министерства, причем привлекать к этой работе таких, как Служевская, Ильин, энтузиастов своего дела, и не надо стыдливо закрывать глаза на то, что сейчас творится в школьных учебниках.

О. Расторгуева, студентка,
20 лет, Москва».

«О чем думают издательства?»

«Читая статью, хохотала до слез. Не обижайтесь, ведь потому и смеялась, что очень хорошо, интересно, живо, с тревогой, но не без юмора, написано.

Вы знаете, как это верно: действительно, омертвили, опошлили все, что смогли. Очень верно. Ведь дети ничего не могут воспринять в целом, сразу, все откладывается в памяти постепенно, из «кусочков», а этих кусочков их и лишили.

Книги собирают, но не читают. И вот мы уже встречаем необразованных инженеров, скучных биологов, отставших от жизни, ничего не читающих химиков, физиков, ничего не прочитавших за год астрономов, кандидатов всяческих наук и т. д. Это одна проблема. Теперь другая, на мой взгляд, очень острая. Ведь дети все-таки читают, и даже очень много (не все, конечно). Это я вам говорю по опыту работы в детской библиотеке; но книг не хватает, особенно интересных, нужных, как воздух, веселых, сказочных, фантастичных, забавных, смешных книг. Впрочем, такие книги — вообще несбыточная мечта. Но не поверите, не хватает «обыкновенных» программных книг. У нас на всю библиотеку была одна (!!!) книга Смирнова «Брестская крепость», Титова «Всем смертям назло...», Гоголя «Вий», Быкова «Альпийская баллада», Айтматова «Первый учитель» («Джамили» у нас не было вовсе); почти не было книг Н. Носова, вообще не было многих произведений Б. Васильева (только «А зори здесь тихие...», да еще две-три «В списках не значился»), Джерома К. Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки» и еще многих-многих других, пришлось исписать бы всю тетрадь, чтобы их перечислить. Мы каждый год аккуратно составляли карточки на недостающие книги (по спросу ребят), посылали в вышестоящие инстанции, но о чем думают издательства, нам так и неизвестно. До каких пор будет существовать еще этот «книжный голод»?

А насчет истории совершенно с вами согласна: сплошная теория, голая, сухая. Поэтому сейчас такой большой интерес у людей к историческим романам: хоть искаженно, иногда неверно, но зато интересно, увлекательно и дает гораздо больше представления о нравах, быте и жизни людей той или иной эпохи. Ведь по нашим учебным пособиям предполагается, что народ только и делал, что с утра до ночи думал об угнетателях и угнетенных, и поэтому я не удивляюсь, когда дети, увидев нарядно одетых дам и господ на экране, сразу спрашивают: «Это плохие?» — в то время как, например, речь идет о жизни каких-то великих людей.

Забота о развитии детей... Это не развитие, а приведение их всех к общему знаменателю; этакий стандарт в образе мыслей, в поведении, в навыках. И вот уже, когда собираются вместе, им не о чем поговорить, поспорить, у всех одинаковые слова, одинаковые мысли, все, как близнецы, вылепленные, старательно приглаженные в одной школе, с одними и теми же мыслями. А новаторов, энтузиастов, как всегда, подвергают гонениям, их боятся, от них отмахиваются. До каких пор умный, толковый учитель будет «бедой» для школы? Почему процветает в школе посредственность, глупость, невежество, неуважение к ученику, все живое немедленно убивается?

Кольцова Л. С.,
Московская обл.».

«Привыкли мыслить по учебнику»

«Не оставляйте эту тему, прошу вас, редакция. Нужно бить тревогу, спасать наших детей! Может быть, еще не поздно. И когда-нибудь мальчики в 17—19 лет будут писать настоящие стихи, как было когда-то.

А сейчас страшные времена... Вот я, например, только в 25 лет увидел, понял, какой замечательный писатель А. П. Чехов, тот самый скучный школьный Чехов. Потом в 26 заново прочел Сергея Есенина и ужаснулся: как же я жил раньше! Зачем? Теперь я по-новому вижу и Маяковского, и даже Пушкина. Но лучшие-то годы потеряны, вкусы испорчены, к учению — отвращение.

Из школы мы выходим ужасно «заштампованные», привыкшие мыслить «от сих до сих», по трафарету (учебнику). А когда к тридцати годам копнешь немного глубже, как обидно и горько бывает за годы, потраченные на бездумное усвоение и повторение чужих мыслей!

Пора резко менять всю программу преподавания литературы, и не только литературы. У Г. Свиридова есть прекрасные музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель». И в школе, наверное, неплохо совместить хорошую музыку с хорошей литературой.

К сожалению, я ничем нынешним школьникам помочь не могу. Только могу позавидовать ученикам Татьяны Служевской.

Виктор Вяткин,
Алтайский край».

«Зачем нужны уроки литературы?»

«Нашего преподавателя физики в школе все боялись. Он много требует. Когда мы пришли к нему на первый урок, все сомнения наши рассеялись. Он сказал: «Учебник в сторону. Это сборник сказок. Слушайте меня. Главное — мысль». И мы перестали зубрить. А кто привык зубрить, тому действительно было трудно. Мы, как завороженные, смотрели в глаза учителю и восхищались сначала им самим, а впоследствии тем, о чем он рассказывал. Признаюсь, что сначала было нелегко в том плане, что выучишь параграф в книге и знаешь, что большего тебе знать не надо. То есть «от и до». С ним же было как-то неуютно. Потому что он мог задать тысячу наводящих вопросов, ответить на которые можно было, лишь логически (!) помыслив. Но зато это правило «главное — мысль», осталось со мной на всю жизнь. Теперь во всех делах, разговорах, на собраниях я стараюсь выделить главное — мысль.

Наша учительница литературы спасла наши головы от ерунды, т. е. от критики. Спросите любого ученика, который пишет сочинение, какой книгой он прежде всего пользуется. Я на 100 процентов уверена — критикой. И хотя в школе я никогда не открывала «критику», но все-таки некоторые стереотипы в сознании остались. Вроде того: «богатые — бедные», «до революции — после революции». И когда я неожиданно узнала, что в «Горе от ума» главная тема — любовь Софьи и Чацкого, то была обескуражена.

Я думаю, что, прежде чем первоклашка напишет: «Я люблю свою Родину», он должен для себя уяснить, что значит для него Родина. А если не уяснит, тогда пускай пишет: «Я люблю свою маму». Мы, оказывается, сначала пишем, а потом мыслим и понимаем, а надо бы наоборот. Потом же удивляемся, почему некоторые люди на перекрестке мнений ищут указателей.

Помню, как мы изучали Тютчева, Фета. В школе нам вдалбливали, что это представители «чистого искусства», их стихи безыдейны. И на этом точка. Мол, не о чем говорить. Но ведь Ленин же их читал и перечитывал. А для нас они не подходят. Можно, конечно, сесть самой и прочитать, что я и сделала. Но для чего, скажите, пожалуйста, уроки литературы? А может, они и в самом деле не нужны? Понимаю, на уроке языка детей учат грамотно писать, на математике — мыслить, на литературе — заучивать мнения Иванова, Петрова, Сидорова — составителей, какого они мнения о Катюше Масловой. Я всегда по русской литературе имела «5», но скажу, что редко поднимала руку. Честно! Почему? Потому что мне казалось глупым и бесполезным талдычить о том, что Кабаниха — жестокая, деспотичная. И перебирать массу эпитетов. Это ведь и так ясно. Неужели нормальный 16-летний представитель XX века не понимает этого? Почему о нем так плохо думают?

Я считаю, что все эти критические пособия нужно упразднить. Заставить прочитать всего Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого. А был ли Троекуров обжорой и что из этого следует, знать вовсе не обязательно. Без этого можно обойтись. Нужно научиться обходиться без «второстепенного».

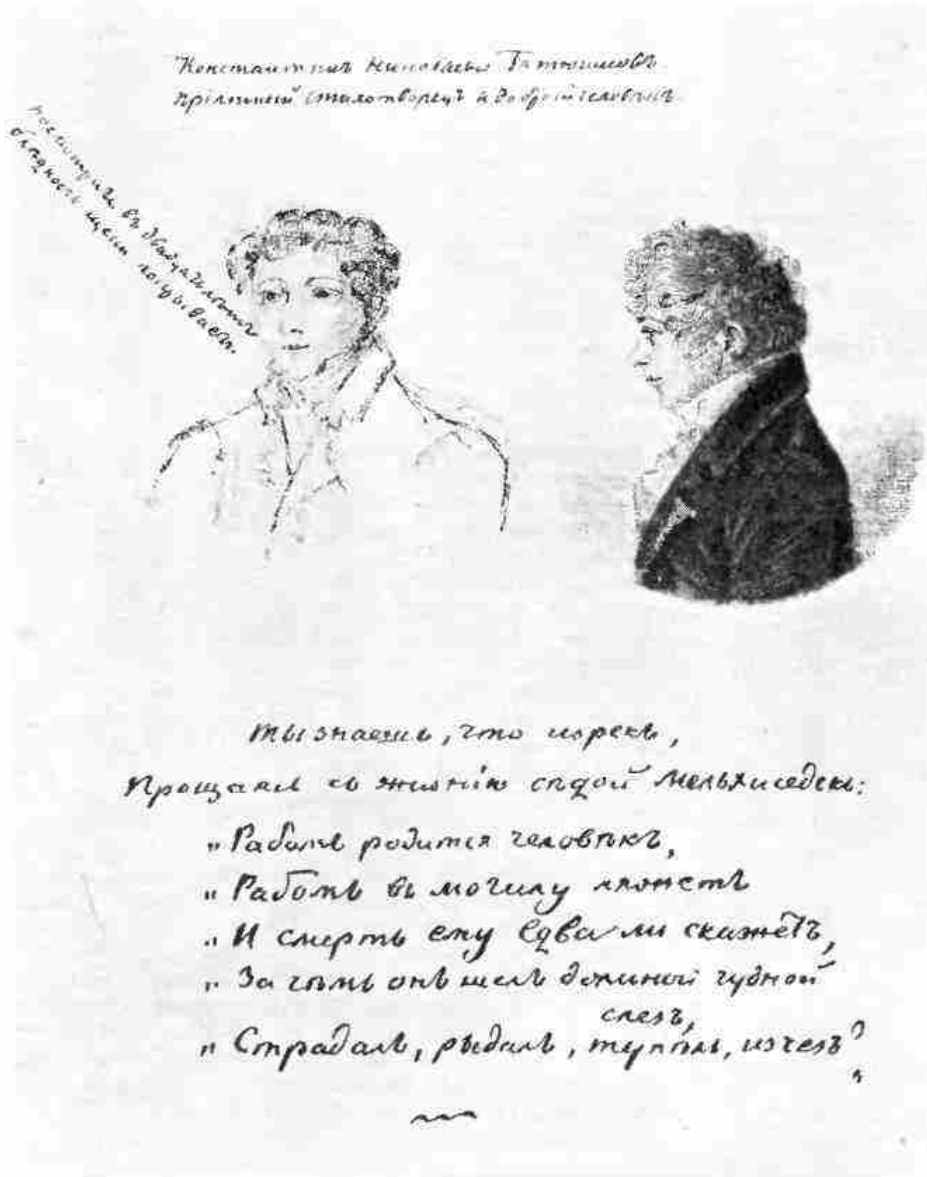
Алла Додчук,
г. Ровно».

Михаил ЕРМОЛАЕВ

БАТЮШКОВ

ЗАМЕТКИ ДИЛЕТАНТА

К двухсотлетию со дня рождения поэта



Никому это не нужно.

Я имею в виду фигуру нашего героя — поэта и прозаика Константина Батюшкова.

Он устарел.

Но я его люблю, а я — это не литератор, а композитор. Что такое композитор, здесь лучше не объяснять, потому что засмеют[1].

Те композиторы, которые пишут вокальную и хоровую музыку, читают стихи с особым — корыстным — интересом. Где бы найти свое? Вот в поисках этого своего я и набрел однажды на Константина Батюшкова. Как это случается, книжку подсунула мне женщина (иногда оказывается, что женщины как-то... тоньше предвидят, что ли).

Ну и, конечно, принял я это в штыки. Посудите сами:

Мессала![2] Без меня ты мчишься по волнам
С орлами римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии[3] оставленный друзьями,
Их заклинаю всем, и дружбой, и богами,
Тибулла[4] не забыть в далекой стороне!
Здесь Парка[5] бледная конец готовит мне(...)

Кто же будет разбираться в Мессале, римских орлах, Феакии и прочем?

Это не уничижение поэта. Это констатация того факта, что классическое образование в нашей стране давно объявлено несуществующим.

Значит, я невежда. Невежде же с такого рода поэзией делать нечего. Разве что с комментариями и словарями, среди которых особенно полезны «Мифы народов мира»,— но ведь не заставишь своего слушателя (на которого я нацелился) приходить в концерт со словарем.

И Батюшкова я закрыл.

Поиски, однако, продолжались, так же, как и попытки хоть какого самообразования.

Тут не обойтись без Гомера!

Беру «Библиотеку всемирной литературы» (серия первая, том третий) и читаю (в переводе Николая Гнедича[6]):

Осенью 1821 года в Дрездене Жуковский посетил уже тяжело больного Батюшкова. Тот подарил ему свой автопортрет, а Жуковский записал за поэтом строки, которым суждено было стать последними в жизни Батюшкова, прожившего после того еще более тридцати лет.

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек:
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез?

Бог сребролукий [7], внемли мне: о ты,
что, хранящий, обходишь
Хрису [8], священную Киллу [9] и мощно
царишь в Тенедосе [10]

— что почти невыносимо. Однако тут я взял себя в руки (авторитет Гомера уж чересчур велик) и стал читать (надо мной при этом посмеивались).

Выводы у меня получились такие.

Скучно тебе или нет — это не имеет значения.

Согласитесь вы со мной или нет?

В красивую бумажку может быть завернута и вкусная конфета, и кусочек навоза. Скучно или не скучно — вроде этой обертки. Сделать ее веселенькой, активно просящей «возьми меня» (как мухомор) в принципе нетрудно.

Конечно, если мастер — он именно очень часто *не хочет* делать рекламную вещь! Даже не то что не хочет — это его не интересует, будет его стихотворение (музыка, скульптура) завлекать или же будет пугать скукой и невнятностью.

Константин Батюшков в молодости (в 1809 году) один раз согрешил: написал большое сатирическое стихотворение «Видение на берегах Леты», где досталось премногим его современникам, мол, все они «в Лету бух» [11]. За исключением одного лишь Ивана Крылова.

Поэт угадал, сатира его как будто справедлива. Но вот отрывок из его письма от 1816 года Николаю Гнедичу (имейте в виду, что Батюшков, хоть и помещик, был страшно стеснен в средствах):

Лету ни за миллион не напечатаю; в этом стою неколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка [12] умирает с голоду; Мерзляков [13] мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов [14] в нужде; Языков [15] питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть!

А позже, уже полусумасшедший, он скажет так:

В зле нет остроумия.

Самолюбив и тщеславен был Батюшков чрезвычайно, и тем более, что удовлетворения этим свойствам своим находил немного. Это касалось не только поэтических дел, а и *всех* других: служебных, любовных и прочих.

Но и в этих прочих случаях — посмотрите, что он делает.

Участник трех войн (фронтовик, как мы бы сказали!), имеющий тяжелое ранение.— Служит только в военное время, а в мирное выходит в отставку. (Пишет: «Собака глупеет на привязи».) Скучно ему и обременительно для поэтических занятий.

Это оказалось не лучшим способом развития служебно-военной карьеры.

А когда человеку вроде бы надо жениться, он пишет:

Мой рассудок воюет с моим сердцем (...) Не иметь отвращения и любить — большая разница *(это о девушке.— М. Е.)*. Кто любит, тот горд *(это уж о себе.— М. Е.)*.

Продолжает уже с других позиций:

Для чего я буду теперь искать чинов, которых я не уважаю, и денег, которые меня не сделают счастливым? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить под одною кровлею в нищете, без надежды?.. Нет, не соглашусь на это, и согласился бы, если б я только на себе основал мои наслаждения! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни злые сердца.

Эта последняя фраза — по-моему, вроде девиза Батюшкова. Порядочность, доходящая чуть не до гордыни и безумия.

Вот эта порядочность и говорила поэту, что не все благополучно в его поэтических трудах. Почему?

В представлениях Константина Николаевича эстетика и этика должны быть *одно* [16]. Об этом — в центральном с моих дилетантских позиций сочинении. Называется оно: «Чужое: мое сокровище!» Это — личная записная книжка 1817 года, которую писатель вел в деревне, для чужих *глаз* отнюдь не предназначая.

Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Кругом мрачное молчание. Дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, даже «Вестник Европы» [17]. Давай вспоминать старину. Давай писать набело impromptu [18], без самолюбия, и посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое.

Дальше — о Монтене, это пропустим.

Итак, пиши о чем-нибудь. Рассуждай! Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается(...) Это больно. Отчего я не могу рассуждать?

Первый резон: мал ростом.

2-й — не довольно дороден.

3-й — рассеян.

4-й — слишком снисходителен.

5-й — ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами.

6-й — не чиновен, не знатен, не богат.

7-й — не женат.

8-й — не умею играть в бостон и в вист.

9-й — ни в шах и мат.

10-й —

11-й — После придумаю остальные резоны, по которым рассудок заставляет меня смиряться. Но писать надобно. Мне очень скучно без пера. Пробовал рисовать — не рисуется, писать вензеля — теперь ни в кого не влюблен; что же делать? Научите, добрые люди, а говорить не с кем. Не знаю, как помочь горю.

После таких бесстрашных признаний своей жалкости вдруг:

Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13 и 14, видел и читал газеты и современные истории. *Сколько лжи!*

И тут следует нечто невероятное: неужто это не «Герой нашего времени»?

Мы были в Эльзасе. Раевский [19] командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кой о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце.

Цитату можно бы и продолжать, но хочется перевести дух. Вы поймите, я не о содержании этого отрывка говорю. Я говорю о его *языке*. И это тот же автор, что писал такие периоды:

По возрождении муз [20], Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великолепного наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, исполненной воображения и неги.

По-моему, получается так. Во всем сомневающийся, особенно в своих силах, Батюшков видит, чувствует, что неведомая мощь разрывает его поэтическую, эстетическую утробу.

Рождается новый русский язык.

Рождается поэт Александр Пушкин.

Рожали: Батюшков, Гнедич (как переводчик) и очень многие другие (но, кажется мне, едва ли не главная мама — Батюшков). Именно Батюшков — жертва на олтаре (как писал это слово Константин Николаевич) русской словесности.— Наверное, вы не все знаете, что в тридцать четыре года он сошел с ума, и вторую половину своей жизни (еще ровнехонько тридцать четыре года) провел слабоумным. О литературе уже не могло быть речи.

Видите ли, только когда поэта начинаешь ощущать близким человеком, другом, чуть не братом, только тогда и возможно написать какой-нибудь романсик (не ранее того!). Вот почему меня так и клонит в сентиментальное сострадание судьбе поэта.

Избегу! Интересных подробностей безумия Батюшкова предостаточно, вплоть до письма лорду Байрону, о всем этом желающие могут читать сами.

Сегодня для нас Батюшков — художник.

Вернусь к моим композиторским заботам.

. . . . . .

Если в стихотворении слишком многое сделано, его жалко губить.

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ Г-ЖИ МАЛЫШЕВОЙ [21]

О! милый гость из отческой земли!
Молю тебя: заметь сей памятник безвестный:
Здесь матерь и отец надежду погребли;
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

Что изуродует композитор?

Форму. Законы музыкальной формы сразу «потянут одеяло» в свою сторону.

Пропадет, например, тонкость созвучий «начальных рифм» (анафор).

О! МИЛЫЙ гость из отческой земли!
МОЛЮ тебя: заметь сей памятник безвестный:

ЗДЕСЬ матерь и отец надежду погребли;
ЗДЕСЬ я покоюся, младенец их прелестный.

(Первая пара — «тонко слаженная», вторая — «грубая», точный повтор).

ИМ МОлви от меня: «Не сетуйте, друзья!
МОЯ завидна скоротечность;

НЕ ЗНАЛА жизни я,
И ЗНАЮ вечность».

(И опять: первая пара «тонкая», вторая — грубая, но менее грубая, чем просто повтор).

Эти звуковые, фонетические тонкости, конечно, будут скрадены аккомпанементом и тягуче пропеваемыми гласными — как смотреть цветной фильм при свете? Цвета различимы, но «стерты».

Если «начальные рифмы» — анафоры — касаются соседних строк, то конечные перекрестны. И обратите внимание на их звуковое соотношение:

земл*и* — погребл*и*
безвест*ный* — прелест*ный*

друзь*я* — жизн*и я*
скоротеч*ность* — веч*ность*

При этом, заметьте, *смысловые* соотношения рифмуемых слов начинаются от логически соподчиненных понятий: земли, погребли; а кончаются неразрешимым противоречием: скоротечность, вечность.

Образуется смысловое сгущение к концу стихотворения. Оно *подчеркнуто* ритмом, и это движение формы для композитора — начала и основы инженерной его работы.

Для того, чтобы ощутить это сгущение, надо посчитать количество стоп в строках.

О! милый гость из отческой земли! (пять)
Молю тебя: заметь сей памятник
безвестный: (шесть)
Здесь матерь и отец надежду погребли; (шесть)
Здесь я покоюся, младенец их прелестный. (шесть)
Им молви от меня:
«Не сетуйте, друзья! (шесть = 3+3)
Моя завидна скоротечность; (четыре)
Не знала жизни я, (три)
И знаю вечность». (две)

Как композитору не исказить эту ритмику? Слепо следовать за ней? Ну, предположим, я сохраню — буквально! — изысканность ритма. Но ведь и свои *интонации* сюда не привнесешь! — Потому что: посмотрите на знаки пунктуации, на запятые, двоеточия... Строго говоря, они в стихотворении стоят не вполне грамотно. В грамотности Батюшкова, однако, сомневаться не стоит! — Эти знаки он понимает как знаки интонирования, акцентуации, фразировки (чем не «лесенки» Маяковского?).

Автор дает нам не только стихотворение, но и *исполнительскую его интерпретацию.*

Понятно, почему Батюшков был любимейшим поэтом Осипа Мандельштама.

Но и то заметим, что в «Надписи для гробницы дочери госпожи Малышевой» очень видна устаревающая (уже к тому времени) эстетическая модель.

Однако давайте посмотрим, отличается ли чем мироощущение Батюшкова от мироощущения XVIII века, ну хоть ближайшего ему по времени державинского:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

К античному язычеству восходящее: ж и з н ь — б е с с м ы с л е н н а ?

Однако если сравнить «вечность» Батюшкова и «вечность» Державина — одно ли это и то же?

В батюшковской «Надписи»

Не знала жизни я,
И знаю вечность

— словно бы намек на сладость познания этой вечности?

А в предсмертном стихотворении Державина — жестко и зычно:

И общей не уйдет судьбы

— и вечность имеет жерло (как аппарат убийства, пушка, только жерло *втягивающее*, пушка-воронка). Судьба всех: младенцев, царей, праведников, народов — общая. Общность эта — Аид, царство теней [22].

Чувство личности в восемнадцатом веке весьма удалено от христианского и приближено к языческому. Анализировать причины — задача для меня непосильная. Ограничусь констатацией факта, состоящего для меня в том, что Батюшков одним из первых разрывает духовные связи с Вольтером и Руссо. Мы знаем время его поворота к христианству — около 1816 года.

Батюшков как художник — воплощение сомнения, колебания, неуверенности. Чувствуя (очень остро!) новое, он, быть может, не случайно носит имя КОНСТАНТИН, что в переводе с латыни означает постоянный.

Разлом времен как будто бы прошел по р а с с у д к у Батюшкова, а тот, как дворянин, человек чести, воин принял этот вызов и удар.

Последние стихотворения — священные свидетельства сверхчеловеческого интеллектуального напряжения, непосильной мобилизации творческой энергии.

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет,—
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

Душевное здоровье автора кажется здесь уже сомнительным.

Нечеловеческой, неправдоподобной почти что выглядит красота умершей девушки.

Она почему-то видится настолько красивой, что, хоть и мертва, самой своей чудовищной мертвостью живит милую красоту васильков — единственное живое в стихотворении.

Васильки — этот неожиданный удар «голубца», как сказал бы древнерусский иконописец — ставит для меня под сомнение и окончательную мертвость девицы.

На смену жестокому XVIII веку приходит полный гуманистической энергии век XIX.

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

В известном стихотворении Пушкина не всегда замечают последние две строки с их настойчивой, уверенной глагольной рифмой: ХОЧУ — ИЩУ. То есть: смысл мне неведом еще, но я хочу его и ищу его. А раз ищу, значит, верю, что он есть — иначе поиск не имел бы смысла.

Почти готов пуститься в поиск Батюшков.

Нет этого поиска у Державина.

А вот так разговаривают между собой боги-олимпийцы у Гомера:

Сшедшися, боги не долго стояли
в бездействии: начал
Щиторушитель Арей, налетел на Палладу Афину,
Медным колебля копьем, изрыгая поносные речи:
«Паки [23] ты, наглая муха, на брань
небожителей сводишь?»

Гера может себе позволить называть Артемиду бесстыдной псицей (уж перевел бы «сука», короче и понятнее).

Боги эти ложные. Как они ни могущественны, как ни величественны, нет в них ни единства, ни любви, ни братства, а есть подчиненность их, разобщенных, как и простых смертных,— Судьбе. Року.

И вот — характерные воззрения Батюшкова.

Повинуемся судьбе не слепой, а зрячей, ибо она есть не что иное, как воля Творца нашего. Он простит слабость нашу: в нем сила наша, а не в самом человеке, как говорят стоики.

Еще из записной книжки:

(...) Не в нашей воле иметь дарования, часто не в нашей воле развить и те, которые нам дала природа, но быть честным в нашей воле: ergo [24]**! Но быть добрым в нашей воле,** ergo! **Но быть снисходительным, великодушным, постоянным в нашей воле.** Ergo!

Вот это-то постоянство, уже нами поминавшееся, и подвело Константина Николаевича.

У него недостало силы окончательно оторваться от закваски, изменить своему «генезису», а может быть, автогенезису.

Терзания его, наверное, были ужасно тяжелы. Особенно остро я это ощущаю в письмах, где, конечно, поменьше нужда в «Мифах народов мира». Вот, например, хоть и с усмешкой, но очень показательное:

Вчера поутру, читая «La Gaule Poétique» [25]**, я вздумал идти в атаку на Гарольда Смелого** [26]**, то есть перевел стихов с двадцать, но так разгорячился, что нога заболела** [27]**. Пар поэтический исчез, и я в моем герое нашел маленькую перемену. Когда читал подвиги Скандинава,**

То думал видеть в нем героя
В великолепном шишаке,
С булатной саблею в руке
И в латах древнего покроя.
Я думал: в пламенных очах
Сиять должно души спокойство,
В высокой поступи — геройство
И убежденье на устах.

(В скобках: ах, кабы К. Н. всегда был таким милым и общительным. Но дальше-то, дальше-то! — М. Е.)

Но, закрыв книгу, я увидел совершенно противное.

Прекрасный идеал исчез,
и предо мной
Явился вдруг... Чухна простой [28]**:**
До плеч висящий волос
И грубый голос,
И весь герой — Чухна Чухной.

Этого мало преображения. Герой начал действовать: ходить, и есть, и пить. Кушал необыкновенно поэтическим образом:

Он начал драть ногтями
Кусок баранины сырой.
Глотал ее, как зверь лесной,
И утирался волосами.

Я не говорил ни слова. У всякого свой обычай. Гомеровы герои и наши Калмыки то же делали на биваках. Но вот что меня вывело из терпения: перед Чухонцем стоял череп убитого врага, окованный серебром, и бадья с вином. Представь себе, что он сделал!

Он череп ухватил кровавыми перстами,
Налил в него вина
И все хлестнул до дна...
Не шевельнув устами.

Я проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких уродов и тебе не советую.

Это веселое письмо к князю Вяземскому [29] от 1816 года. Как непринужденно переходит писатель от прозы к поэтическим строкам, которые удивительно легко сымпровизированы. И это — характерный эпистолярный прием Батюшкова (он даже где-то пишет, что, мол, устал от тяжелой прозы и переходит на стихи: стихами писать ему легче).

Понятия стихотворных приличий оказались слишком сильны.

В «серьезных» стихах такой «разнузданности» очень мало.

Обвинять в этом *нельзя*. В целомудренности Батюшкова, в самой его скованности огромная сила, быть может, еще и не до конца «амортизировавшаяся».

Где же причина этой — то говорю скованности, то целомудренности?

МОЙ ГЕНИЙ [30]

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Вот две строки загадочные. Излюбленное выражение композитора Михаила Глинки [31], оно давно не давало мне покоя. Что такое память сердца?

И вот точный смысл этих удивительных слов. Цитирую очерк Батюшкова «О лучших свойствах сердца».

Масье [32]**, воспитанник Сикаров** [33]**, на вопрос: «Что есть благодарность?» отвечал: «Память сердца»: (...) Эта память сердца есть лучшая добродетель человека, и не столь редка, как полагают некоторые строгие наблюдатели. (...)**

Первый наш долг: благодарность к Творцу. Но для исполнения его надобно начать с людей. Провидению угодно было связать чрез общество все наши отношения к Небу.

О «памяти рассудка» читаем в очерке «Нечто о морали, основанной на философии и религии».

К чему все эти истины, основанные на ложных понятиях? (...)

Все системы и древних, и новейших недостаточны! Они ведут человека к блаженству земным путем и никогда не доводят; систематики забывают, что человек, сей царь лишенный венца, брошен сюда не для счастия минутного; они забывают о его высоком назначении, о котором вера, одна святая вера, ему напоминает (...)

И горе тому, кто отвращает взоры свои! Собственное сердце его накажет: чем оно чувствительнее, чем благороднее, тем более и сильнее будут его терзания, ибо ни дары счастия, ни блеск славы, ни любовь, ни дружество, ничто не удовлетворит его вполне. (...)

Неверие само себя разрушает (...)

Я не знаю, мысли это Батюшкова, или их он заимствовал. Но знаю, что он их *высказывает*. Знаю, что он считает себя профессиональным поэтом — а это налагает на просто человека тяжелейшие вериги беспрестанного приуготовления и готовности к подвигу. Вот — из очерка «Нечто о поэте и поэзии».

(...) Вся жизнь [поэта] должна приготовлять несколько плодотворных минут (...). Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека*.

Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику;* одним словом, что-

бы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым научаемся избегать ошибок; но как творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь и пиши как живешь. Talis hominibus fuit oratio, qualis vita [34]. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы.

В сущности это — нежданная проповедь аскетизма. Нежданная, но абсолютно логичная: близок, близок этому в своей реальной жизни (а не в своем литературном герое) Константин Батюшков. Вспомните всю строгую дисциплину, чуть не воинскую дисциплину его чувств.

И хотя в сегодняшнем сознании прах Батюшкова

...лишь землю умягчил
Другим, чистейшим существам
(перефразируя Лермонтова [35]),

— кто может знать, что будет в завтрашнем сознании. А пока —

Никому это, кажется, не нужно.
Он устарел.
Но я его люблю.

Примечания

[1] Дело в том, что, строго говоря, композитор — это тот, кто к о м п о н у е т. Тот, кто просто сочиняет мотивчики,— по нашим «цеховым» нормам еще композитором-профессионалом не является. С к о м п о н о в а т ь можно, как правило, только в том случае, если **ты** стремишься овладеть музыкальной материей, если **ты** хочешь стать сильней привычной инерционности.— А это трудно. Трудно делать и трудно бывает слушать: когда-а еще найденное композитором «разгонится» временем и станет уже само той инертной силой, которую надлежит превозмогать.— Ну да все это материал для отдельного рассказа.

[2] Марк Валерий Мессала Корвин (ок. 64 до н. э.— 8 н. э.)— римский государственный деятель и поэт, покровитель Тибулла.

[3] Феакия — древнее название острова Корфу.

[4] Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.)— римский поэт-элегик. Приводимый нами отрывок — начало стихотворения Батюшкова под названием «Элегия из Тибулла. Вольный перевод».

[5] Парки — римские богини судьбы, ткущие нить человеческой жизни.

[6] Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — русский поэт, драматург, автор образцового, непревзойденного перевода «Илиады»; друг Батюшкова.

[7] Бог сребролукий — Аполлон.

[8] Хриса — мифический остров, посвященный Аполлону.

[9] Килла — неизвестный нам остров или город неподалеку от Трои.

[10] Тенедос — небольшой остров близ берегов Трои.

[11] Это из А. Пушкина:

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марает он единым духом
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает — и в Лету
Бух!

— Раннее стихотворение Пушкина, написанное между 1817 и 1820 годами. «Видение на берегах Леты» Батюшкова было, конечно, А. Пушкину известно.

[12] Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776—1847) — русский писатель, автор исторических пьес («Наталья, боярская дочь», «Михаил, князь Черниговский», «Минин» и др.), повестей, стихотворений. Издатель журнала «Русский вестник».

[13] Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830)— русский поэт, переводчик. Среди стихотворений — «Среди долины ровныя».

[14] Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — русский писатель, издатель журнала «Аглая».

[15] Языков Дмитрий Иванович (1773—1845) — переводчик с французского и с немецкого. Как пишут Л. Майков и В. Саитов, «несмотря на насмешки в «Видении», Батюшков уважал честное и скромное трудолюбие Языкова, которого знал лично по совместной с ним службе в департаменте народного просвещения» (Сочинения К. Н. Батюшкова (в трех томах). СПб, 1887. Т. 1, с. 327). Да полно, так ли плохи все эти литераторы? Кажется мне, должно прийти время перебирания архивов и «запасников», время широкого взгляда на историю искусства.

[16] Из предисловия к книге: К. Н. Батюшков. Избранные сочинения. М. «Правда», 1986, написанного Андреем Зориным, я узнал, что это положение, как и многие другие, взяты писателем у его учителя, наставника (и дяди) М. Н. Муравьева.
Муравьев Михаил Никитич, граф (1757—1807)— русский писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых, инициатор Общества истории и древностей российских, воспитатель императора Александра I, наконец!
И еще раз — как мы невежественны...
Дали бы нам прочесть этого графа Муравьева, перед памятью которого Батюшков благоговел, сочинения которого тщился издавать, вдова которого Екатерина Федоровна была для Батюшкова почти без преувеличения вместо матери. А пока что интересующиеся могут пойти в хорошую библиотеку, взять собрание сочинений К. Н. Батюшкова в трех томах (на это издание с образцовым справочным аппаратом я уже ссылался), раскрыть том 2 на странице 417. Там много информации о М. Н. Муравьеве. Полное же собрание его сочинений выпущено было в 1819 году.

[17] «Вестник Европы»— московский журнал, основанный Н. Карамзиным.

[18] impromptu (фр.) — экспромтом.

[19] Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года; Батюшков был его адъютантом в 1813—1814 годах.

[20] Музы — в греческой мифологии богини поэзии, искусств и наук. Выражение Батюшкова метафорическое.

[21] Последние годы своей жизни «по эту сторону» жизни Батюшков проводил в Италии на дипломатической службе. Цитируемое стихотворение написано в Неаполе. Г-жа Малышева Елена Павловна вместе с ее супругом Иваном Захаровичем были друзьями семьи Тургеневых (а с А. И. Тургеневым Батюшков был близок, в частности, по «Арзамасу»).

[22] Аид — царство теней, внушавшее древним грекам ужас своей неотвратимостью.

[23] Паки (устар.) — снова.

[24] ergo (лат.) — следовательно.

[25] «La Gaule Poétique» — «Поэтическая Галлия», труд Л. А. Маршанжи по истории французского средневекового искусства.

[26] Существует стихотворение Батюшкова «Песнь Гельда Смелого», представляющее собой вольный перевод с французской песни, приписывавшейся норвежскому королю Харальду Сигурдарсону (XI в.). В этом стихотворении нет ничего общего с теми поэтическими строками, которые вы сейчас прочтете в письме.

[27] Батюшков был тяжело ранен в ногу в кампании 1807 года.

[28] Чухонцы — дореволюционное название эстонцев, а также карело-финского населения окрестностей Санкт-Петербурга.

[29] Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — русский поэт, критик, публицист, член «Арзамаса», друг Батюшкова.

[30] «Гений — в римской мифологии первоначально божество — прародитель рода (...), затем бог мужской силы, олицетворение внутренних сил и способностей мужчины. (...) Постепенно гений, рассматривавшийся как персонификация внутренних свойств, стал самостоятельным божеством, рождавшимся вместе с человеком (...), руководившим его действиями (...)» (Е. М. Штаерман. Гений. В кн.: Мифы народов мира, т. 1, с. 272).

[31] У М. Глинки мотив «памяти сердца» встречается трижды.

1. Романс на стихотворение Батюшкова под названием «Память сердца».
2. Приведенные в основном тексте две строки взяты эпиграфом к сочинению для фортепьяно «Вариации на шотландскую тему».
3. В романсе «Финский залив» на стихи П. Ободовского: «Я памятью сердца тогда оживаю».

[32] Масье — неизвестное мне лицо.

[33] Сикар, аббат (1742—1822) — французский педагог руководитель пансиона для глухонемых.

[34] «Речь людей такова, какова была их жизнь» (лат.).

[35] В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Отрывок», созданном в 1830 году, эти строки читаются так:

Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.

Михаил Ермолаев — композитор и пианист. Среди его сочинений — романсы и хоры на стихи поэтов Древнего Египта, французских трубадуров, Лермонтова, Рубцова, кантата для детского хора «Под сенью черемух и акаций» на слова Константина Батюшкова.

«Я СДЕЛАЛ ЭТОТ ФИЛЬМ ДЛЯ МОЛОДЫХ...»

С кинорежиссером Тенгизом Абуладзе беседует наш корреспондент Алла ГЕРБЕР

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ ТБИЛИССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ОБСУЖДЕНИИ ФИЛЬМА «ПОКАЯНИЕ»:

***Арчил ШУБАШВИЛИ** (третий курс).*

— С большой психологической и социальной достоверностью Тенгиз Абуладзе рассказывает нам, что честный человек не может продать душу дьяволу, даже если дьявол ведет себя «дружелюбно». Автор фильма исключает любой компромисс художника с тираном. Да, если художник не поведет непримиримую борьбу со злом, то сам в конце концов становится глашатаем зла.

***Заза КАВТАРАДЗЕ** (второй курс).*

— «Авелизм» — одна из острейших наших проблем сегодня. Порожденные Варламом авели — непременно с дипломами, а то и с учеными степенями. Они действуют во имя собственного блага замаскированно, не сомневаясь, что им все подвластно, что они все могут купить...

***Софико ЧИЧИНАДЗЕ** (второй курс).*

— «Покаяние» я и мои друзья смотрели не раз. Фильм взбудоражил нас. Стремясь осмыслить самоубийство Торнике, мучительно ищем иное решение: а как бы каждый из нас поступил на его месте? Как и этот юный герой фильма, мы тоже начали прозревать. Мы гордимся, что именно наши, грузинские, художники предложили молодому поколению такую тему для раздумий.

Фотокомпозиция М. Гнисюка.

Тогда казалось, что все произошло как-то сразу: и успех в переполненном зале Римского оперного театра, когда в присутствии президента ему была вручена премия «Давид» Донателло» — одна из самых уважаемых премий в Италии, ежегодно присуждае-

мых выдающимся деятелям итальянской и международной культуры, — «Древо желания» был назван лучшим иностранным фильмом года. И эта чудовищная автомобильная катастрофа, когда почти не было надежды, что он вернется к жизни. Вернули. Вернулся. И еще шутил: «Наверное, для чего-нибудь я снова оказался на этом свете». А потом, во время нашей беседы: «Если когда-нибудь я еще что-нибудь сделаю, то только то, что не сделать не могу, а иначе зачем...» — и остановился. Высоких фраз Тенгиз Абуладзе не любит и, наверно, поэтому вычеркнул тот последний абзац из нашего с ним интервью в 1980 году: «К чему заранее говорить о том, чего нет, вот если когда-нибудь...»

Прошло семь лет, и это «когда-нибудь» наступило. Мы смотрим его фильм — итог культурного и человеческого опыта своего поколения.

Ту нашу давнюю беседу он закончил строкой из стихотворения грузинской поэтессы Тамары Эристави: «...Высоты, вы нашу душу взлелеяли тем, что нашему стремлению ввысь нет конца... В состязании с вами нам открываются новые дали и те высоты, что неведомо таились в нас самих».

Тенгиз Абуладзе — режиссер, который каждым своим фильмом утверждает «прекрасную суть человеческую». Да, он знает, каким коварным, мстительным, ничтожным может быть человек... Как слаб он перед силой. Как безжалостен к слабому. Но знает он и другое, что дано постичь большому художнику. «Не может умереть прекрасная суть человеческая» — так сказал великий Важа Пшавела. Тенгиз Абуладзе исповедует и своим искусством утверждает эту веру, без которой вообще нельзя больше жить. В свое время он говорил мне, что беспощадность жизни не может убить духовное начало в народе, тем более когда беспощадность эта сосредоточена на конкретном человеке, продиктована и утверждена властью. Но тирания мысли убивает личность, а значит, и жизнь. «Но что такое жизнь? — думала я.— Где она начинается, где кончается, в чем сущность человека, как ему сохранить ее, не дать подмять под себя власти, толпе, бытию быта — лишить своего голоса, своей правды...» Тогда, уже в самом конце нашего первого многочасового разговора, Тенгиз Евгеньевич сказал мне, что хотел бы снять фильм, который замкнул бы трилогию — «Мольба», «Древо желания». Что это будет, он не знал. Одно для него было безусловно: чтобы жить дальше, надо обрести веру в добро. Но... это так много и так ни о чем, если подумать о девальвации слов и понятий, о той множественности упоминаний всуе о добре, которые никакого отношения не имеют ни к подлинной вере в него, ни — главное — к самой его реальности. Нет, чтобы вернуть людям истинное понятие не слова, а смысла, надо освободиться от всех «культурных» наслоений, которые творила ложь, забивая истину так далеко, что пробраться к ней нет иных возможностей, как только силой искусства, пропущенного сквозь кровеносные сосуды собственного опыта.

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как он снял «Мольбу», и десять — после «Древа желания». Фильмы, где, казалось бы, жестокость побеждала, зло торжествовало, глумясь над идеалами. Но каждый из них утверждал необходимость веры, а иначе человек превращается в животное. И вот он завершает свой триптих, доводя мерзость человека (Варлама из «Покаяния»), лишенного всяких нравственных табу, до апогея, показывая со всем бесстрашием нашу общую слабость перед безумством своеволия, вскрывая наши души, скованные страхом. Он снимает фильм «Покаяние», который дает нам всем нравственное освобождение от груза фальшивых слов, под которым задыхалась истина, от долгой немоты, когда в агонии, в судорогах корчилась, билась в невысказанности умирающая, но все еще живая правда. И нам открылись новые дали, те «высоты», что неведомо таились в нас самих.

Со всеми этими достаточно сумбурными мыслями, которые мучили меня после просмотра «Покаяния», я летела в Тбилиси, повторяя про себя слова Важи Пшавелы: «От тела убийцы людей осталось лишь пепла немного...» А можно было бы развеять его по ветру и забыть. Но нельзя забывать. Да, конечно, «что было, то и будет... и нет ничего нового под солнцем... и нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Но не останавливается мысль человека, чтобы продлить эту память, не устает его потребность познать непознанное.

В квартире Тенгиза Абуладзе все было точно так, как и семь лет назад: уютный, живой дом, в котором нет ненужных, показушных вещей, вот только книг, пожалуй, прибавилось. Та же прекрасная Мзия — жена-чудотворка, которая и красотой, и благородством дает дому покой и надежность. А как она сыграла в фильме! Да какое там сыграла — прожила жизнь за несколько минут или секунд экранного времени, когда бежала на тот пустырь, куда свалили бревна, привезенные «оттуда», и сейчас ищет не бревно, не обрубок бывшего живого дерева, а его, мужа своего, который оставил на этом дереве последний след своей жизни — свое имя. И не к стволу она прижимается, не древесину гладит, не шершавую его кору, а лицо любимого и видит, и чувствует в эти секунды тепло его глаз, ощущает его руку, когда прикасается к холодному дереву.

Мзия кормит нас вкусным, быстро и незаметно приготовленным обедом, который благоухает всеми травами Грузии. Мы пьем из маленьких стаканчиков вино, которое нельзя пить — его можно только вдыхать, как аромат цветов весной в горах. Мы пока еще говорим о том, о сем, медленно подбираясь к тому главному разговору о картине, ради которого я и приехала, когда вдруг раздается междугородный телефонный звонок — из тех, которые всегда бывают вдруг и несут в себе одним своим призывным дребезжанием какую-то необъяснимую тревогу. Тенгиз вскакивает, и мы с Мзией слышим: «Не может быть!!! Когда, почему, ведь только неделю назад...» — Тенгиз заплакал, и стало ясно, как уже много раз в жизни каждого из нас бывало ясно, что все может быть, и нет ответа на это вечное — за что и почему: и опять, уже в какой раз, невозможно, немыслимо преодолеть сознанию эту самую короткую дистанцию между «быть» и «не быть никогда»... Мы надолго замолчали, вспоминая каждый свое, с ним, Эфросом, так или иначе связанное.

Я думала; я никогда лично не была с ним знакома, но он был одним из тех, кто возрождал нашу духовную жизнь после двадцатого съезда. Он творил нас, молодых, своим творчеством. Но он жил, как и многие из нас, на улице Варлама. Он попал не в свой дом. Он хотел примирить себя с его обитателями, с самим собой... Потом я прочту в его последнем интервью — «Жизнь вообще очень драматична...»

Тенгиз сказал:

— Мы и сегодня пожинаем последствия того, что так долго, с кровью, из нас вытравляли терпимость и доброту. О чем мои картины? Вот об этом. Все время об этом. В «Мольбе» на почве религиозной вражды, как свинью, зарезали безвинного человека. В «Древе желания» безвинная девушка Марита — жертва «доброжелателей», осрамленная на всю деревню и погибающая во имя не своей правды. А в «Покаянии» жертва — целый народ. Что говорит сын Авеля и внук Варлама, наш сын и наш внук: «Неужели вам не надоело столько врать? До каких пор вы будете успокаивать себя ложью?» Эти слова мучили меня давно, задолго до того, как сложился замысел фильма. Я понял, что должен снять фильм для молодежи, чтобы избавить себя и их от дурмана лжи. Я, художник, обязан исповедаться перед ними, покаяться за всех, кто так или иначе виновен. Все мы виновны в том, что был Варлам и ему подобные, что живет и сегодня его сын Авель, и пока он сам не выбросит труп Варлама на съедение воронам, ружье Варлама будет стрелять, и мы по-прежнему будем терять людей, ставших жертвами его теперь неживой, но все еще живучей силы. Самый большой грех — страх. Человек, скованный страхом, умирает, даже если физически продолжает жить. Вот почему нам всем было жизненно необхо-

димо покаяние. Это я сейчас впрямую для тех молодых, которые, посмотрев фильм, могут сказать: «Зачем нам это знать, это ваши дела, вы в них и разбирайтесь...» «Зачем поминать? — писал Толстой. —Те страшные дела прошли уже: зачем поминать старое? Теперь этого больше нет... Как зачем поминать?! Если у меня была лихая болезнь или опасная, и я излечился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, и еще хуже, и мне хочется обмануть себя».

— Могу ли я спросить, как конкретно возник замысел фильма, хотя понимаю, что об этом спрашивает каждый, но...

— Где-то я читал про то, как у Сурикова возник замысел картины «Боярыня Морозова» — он увидел на белом снегу черного ворона... У художников бывают необъяснимые порой импульсы, которые вдруг оплодотворяют, приводят в движение, реализуют в творчество то, что давно, незримо копилось, и вдруг черный ворон на белом снегу. Не исключено, что после той автомобильной катастрофы вернулось к жизни не только мое тело, но и воскрес дремавший до поры до времени замысел. И еще... была памятная встреча с одной женщиной, которая много лет провела в ссылке, — в какой-то степени ее история легла в основу сюжета. Я тогда еще подумал, пробродив полночи по Тбилиси,— вот если бы весь ее рассказ взять и так впрямую, ничего не меняя, перенести на экран. И сразу испугался — нет! Вся фантасмагория этого безумия, лжи и зла пропадет, исчезнет, если я скопирую реалистическую историю и не смогу передать ее масштаб всеми доступными художнику средствами — гротеск, аллегория, сюр, буффонада, трагедия, фарс — все тут вместе, все смешалось, переплелось, как переплелись и связались в один узел три улицы, по которым я каждый день проезжаю на студию, — Сандро Ахметели, Евгения Микеладзе и Мамии Орахелашвили,— все трое погибли в тридцать седьмом году, все трое — цвет и гордость народа, выразители его духа, его одаренности. Как же ползучим реализмом передать рассказ этой женщины, которая тогда, маленькой девочкой, ответила «дядям» на их приказ собираться и идти с ними: «Я не могу, у меня завтра контрольная работа»? Как в одной картине, на истории одной семьи, трех ее поколений рассказать историю трех поколений страны, вобравшую в себя горькие страницы истории двадцатого века? Как передать возможность, казалось бы, невозможного: сегодня любить — завтра убивать, одаривать — уличать в краже подаренного, читать Шекспира и уничтожать всех жителей города с одной фамилией, утверждать, что народу нужна великая действительность, но сам народ нужно истребить задолго до наступления этой действительности... Как выразить трагический абсурд, в котором нормальный человек мог жить только на непроходящем чувстве изумления — неужто это вообще возможно? Просто так, без справедливого возмездия?! Изумление, которое оберегало разум одних и делало безумными других. Мне вспомнилось, как мой школьный учитель Григо Кикнадзе дал нам однажды задание на воскресенье — подумать, в чем заключается гениальность таких людей, как Шота Руставели и Важа Пшавела. К понедельнику мы хорошо подготовились и несли всякую чушь. Григо нас всех похвалил, но сказал, что мы всё слишком «усложнили». Гениальность этих людей, как и многих других, которые тоже на все времена, заключается в «ЭТАКОСТИ»: по мыслям все это было давно сказано, еще до рождества Христова, но они нашли такую форму, которую до них никто не находил, и потому каждый раз вечные мысли обретают новую жизнь. То есть речь идет о том, как передать то, что уже не раз было в истории человечества, но и наше время не обошло. Каждое художественное осознание опыта, пусть даже самого трагического, все равно та целительная капля, которая всякий раз помогает людям нравственно возродиться. Я прочел у Микеланджело: «Когда кругом позор и преступленье, не чувствовать, не видеть — облегченье...» Но напрасно он взывал к другу, чтобы тот

Торнике:
«Неужели вам не надоело столько врать?
До каких пор вы будете успокаивать себя ложью?!
Неужели вам не совестно перед собой
и перед людьми?!
Вам бы только благополучие сохранить.
Ради этого глотку перегрызете каждому:
невинного преступником объявите,
нормального — сумасшедшим!
Неужели ничего святого у вас нет?!
Совесть вас не мучает?..»

не будил его. Микеланджело сам возвращался в мир, чтобы обратить человека к своей сути — величию и доброте. Я понял: если я найду правду поведения людей в предложенных античеловеческих обстоятельствах, правду чувств и страстей, тогда возможна любая форма.

— И как же удалось ее найти? Мы видим итог, мы говорим, пишем — в этой условности фильма есть абсолютная безусловность правды. Но это результат, который сегодня нас потрясает. Как вы пришли к нему?

— За каждым эпизодом стоит реальный факт. Но первым мы сняли митинг, когда Варлам приходит к власти, и обалдевшая от фанатизма толпа в потоках беззвучного словоблудия приветствует его «восхождение на престол». А ведь были написаны все тексты, но мы поняли, что лучше забить их победным маршем, музыкой передать безграничность гражданских восторгов. В эти минуты всеобщего экстаза их не остановить никаким силам, даже потокам воды, которые обрушиваются на толпу из водопроводного люка. Уже в этом эпизоде, как мне кажется, мы нашли ту меру смешного и страшного, которую старались не переступить на протяжении фильма. Потому стал возможным допрос не в полутемной комнате или, как это бывало в действительности, под слепящим светом прожектора, направленного в глаза подследственного, а, так сказать, на природе, чуть ли не в райских кущах, а следователь скорее похож на модельера, который исполняет вместе со своей манекенщицей — «богиней» правосудия Фемидой — Свадебный марш Мендельсона, а потом, впрыгивая на рояль, словно Бегемот из булгаковского «Мастера и Маргариты», играючи доводит одного до безумия, а другого до потрясения этим безумием.

— Тут все правда, и не представляешь себе другой возможности так о ней сказать. И память каждого накладывает на этот эпизод свою правду — он настолько объемен, что способен вместить все допросы, и всех жертв, и всех палачей. Я тут же увидела своего отца, которого изощренный на выдумки следователь, знаток человеческой психологии, подвозил ночью к нашему дому, где за окном второго этажа мелькал силуэт мамы, видимый, осязаемый — кажется, еще шаг — и опять вместе, опять рядом, а отец обожал мою мать, и «психолог»-следователь это знал... Так вот, он приоткрывал дверцу машины, таким,

знаете, любезным, элегантным жестом, точно джентльмен, намеренный пропустить женщину вперед, и одновременно другой рукой протягивал невинный листок, который надо было подписать. И тогда — пожалуйста — все двери перед вами, все пути и одновременно дороги, не говоря уже о любимой жене. Искушение было так велико, что отец, хорошо понимая ту абракадабру, вроде того, что у вас в картине — прорыть туннель от Бомбея до Лондона в составе двух тысяч семисот заговорщиков и отравить всю кукурузу с целью уничтожения всего населения — тянулся к бумаге и каждый раз (а это повторялось не раз) впивался зубами в руку, чтобы она НЕ подписала весь этот бред.

— У этого фильма столько авторов — я жалею, что не могу в титрах их всех перечислить. Я читал, слушал, выспрашивал — на уровне сценария, который мы писали с представителем молодого поколения, моей невесткой Наной Джанелидзе, и моим постоянным редактором Резо Квеселавой. Я не бежал от людей. Напротив, старался вовлечь как можно больше и свидетелей, и жертв, даже история с выкопанным трупом имеет под собой реальную почву — был такой случай. Даже то, что в страшной, очень реалистической сцене очереди женщин с детьми в приемную тюрьмы звучит музыка из фильма «Под крышами Парижа» — это тоже не случайно: тюрьма в Телави вплотную, забор к забору, примыкала к кинотеатру, а в тридцать седьмом году шел этот фильм, и не исключено, что обреченные слышали именно эту музыку... Во всяком случае, она стала прекрасным контрапунктом для всей сцены.

— Как, впрочем, и вся музыка в фильме, которая собрана, составлена из разнообразных произведений,— как я понимаю, для фильма специально ее никто не писал. Эпизод, когда фанатически преданная диктатору, по сути своей прекрасная женщина Елена с глазами, полными веры и любви, поет «Оду «К радости» Бетховена, потрясает именно этим сочетанием — великий Бетховен, великая вера в человека («мы вступаем в упоенье, о, чудесная, в твой храм»), в будущее, которое почему-то должен дать людям шут, параноик, ошалевший от безнаказанности тиран. И все это рядом, вместе. И это самое страшное — потребность людей, даже таких вдохновенно прекрасных, как Елена, в кумирах, а ведь давно еще было сказано: «Не сотвори себе кумира...» И, как расплата, именно на этой музыке, под ее светлую мощь идет на казнь художник Сандро Баратели, потому что в ней, Оде Бетховена, исход мученика, и смерть его, и вера одновременно. А по какому принципу вообще подбиралась музыка?

— Я прочел замечательную книгу китайского философа Ли Бувэя «Весна и осень». Он писал, что музыка возникает из равновесия. А равновесие — из справедливости, а справедливость — из Вселенной. О музыке можно говорить только с человеком, постигшим смысл Вселенной. Музыка зиждется на гармонии неба и земли, на соразмерности темного и светлого. Все просвещенные государи ценили в музыке ее ясность, тираны же увлекались неистовой музыкой. Сильные звуки ласкали их слух, а воздействие этих звуков на массы они полагали интересным. Они стремились к новым, странным звукам, их увлекала музыка не радостная, а неистовая...

Тенгиз Евгеньевич достает одну папку, потом другую, третью — в них словно спрятан фильм: сценарные разработки, заметки к каждому эпизоду, многочисленные выписки из разных книг, начиная от Библии и кончая «Письмом к съезду» Ленина, зарисовки из Домье, Брейгеля, Босха... Средневековые рыцари — символ насилия — и рядом снова письма, чьи-то рассказы, отдельные фразы, свидетельские воспоминания. Переписка с людьми, помогавшими фильму, и с теми, кто заведомо его не любил, снова заметки — свои мысли, чужие... Когда-нибудь все это войдет в книгу об истории создания фильма «Покаяние», написанную скрупулезным киноведом. И я, предваряя его, будущего автора, задаю свой вопрос, который давно хотела задать: «А были ли кризисы, тупики, страхи, было ли все это в предверии или во время съемок картины? Феллини говорил, что съемки фильма «Дорога» довели его до такого психоневротического состояния, что он долго не мог отделаться ни от фильма, ни от этого состояния, он фактически заболел. Не происходило ли что-либо подобное с вами, когда снималась картина, которая все время требовала кровного в ней участия? Ее смотреть-то без стона невозможно, а каково было снимать?

— Тупиковое состояние, кризисы? Да, были, когда на два года остановили съемки фильма. Я думал только об одном: доснять. Пусть она никогда не выйдет на экран, но пусть хоть раз ее посмотрят, хотя бы один только раз на нашей киностудии. И все-таки была вера, что «души прекрасные порывы» — а весь фильм был под знаком именно прекрасных порывов души — все-таки невозможно уничтожить. Так оно и получилось.

— А во время съемок? Я никогда не была на ваших съемках...

— И не пущу! Любовное объяснение исключает свидетелей, а для меня съемка даже самого маленького, проходного эпизода — священнодействие, любовь, и тут не может быть посторонних, даже если они мои друзья. Только группа, только те, кто священнодействует вместе со мной. Я прекрасно знаю, что оператор Миша Агранович может снять какой-то эпизод и без меня, но — так уж я устроен — без меня не даю снимать ничего. Я доверяю всем, кто со мной работает, и они это знают, но это — мое детище, как же я могу исключить себя из процесса его рождения? Эйзенштейн говорил, что режиссер должен каждый свой кадр снимать как первый и последний одновременно. Предположим, начинающий режиссер успеет снять только пару сапог и все, жизнь его оборвется, но назавтра в некрологе должно быть написано, что это был гениальный кадр, что никто никогда так не снимал сапоги, как этот человек. Не потому, что умер, а потому, что действительно гениально снял.

— А неуверенность, срывы, страхи... Неужели никогда не казалось, что не туда идете, что сбились с пути, потеряли ориентиры?

— Нет, неуверенности не было. Были поиски, в основном формы и стиля. Нам хотелось, чтобы эта условная манера делала узнаваемыми не внешние события, а самую суть, дух истории. И тут было необходимо знание материала. Но прав Григорий Козинцев: «Знание материала — это не быт, не жаргон, а переживание того же, что пережил народ». В этом смысле я делал авторскую картину, мое соучастие в ней было кровное. Она ни на минуту не отпускала меня — ни днем, ни ночью. Пожалуй, самые интересные эпизоды приходили ко мне во сне. Я как сумасшедший вскакивал, записывал и, освобожденный, засыпал. А наутро боялся прочесть — «вдруг бред»? Но оказывалось, что именно во сне приходила истина. Беспрерывно работали во мне, внутри меня какие-то неведомые силы, они открывали глаза на ту правду вымысла, которая приближала, а не уводила от исторической правды. Самые съемки, весь процесс шел довольно гладко. Группа работала одержимо, как будто каждый чувствовал свое причастие к тому покаянию, которое, как мы надеялись, в конце концов станет достоянием народа.

— Если бы вам все-таки пришлось что-то сказать — до или после фильма — самое важное, что бы вы сказали?

— Мне кажется, что все сказал фильм. Так, во всяком случае, я надеюсь. Но если бы меня спросили о главном — о смысле фильма, я бы ответил: «Не убий!» — ибо, если убьешь ты, убьют тебя. Еще я бы сказал: не доноси, не предавай, люби...

— Все это уже было сказано и давно. В Библии.

— Религиозность прежде всего подразумевала высокую нравственность. Не скрою, что в этом смысле я человек верующий. Я много думал об этом и пришел к выводу, что вера — это осознанное признание тех вечных этических норм, которые выработало человеческое сознание. И никакое общество их не отрицает, в том числе и наше. Разве мы отрицаем вечные ценности? В идеале мы стараемся их разви-

вать. Меня сейчас особенно все это волнует в связи с мыслями о следующем фильме. Люди, мне кажется, делятся на две категории: богоподобные и скотоподобные. Не столь важны границы между государствами, странами, народами, сколь границы между людьми. У Ильи Чавчавадзе есть замечательный рассказ «Человек ли он?». Это как раз о таком скотоподобном существе, которого я хочу перенести в современные условия, потому что меня пугает гибель человека, заложенная в нем самом. Он сошел с ума, этот человек, в своем обжорстве, в своей похоти, в своих неуправляемых инстинктах, в жажде наслаждений, развлечений, он сам вверг себя в состояние животного. Может быть, в каком-нибудь кадре я посажу его в клетку... Но будет в этом фильме и другое начало, которое несет человечеству спасение,— образ его тоже навеян Ильей Чавчавадзе, и вообще весь фильм я буду делать по мотивам его рассказов и стихотворений. Это отшельник, чьи богатства всегда при нем, ибо они в нем. Он чист и свободен, он независим и зависим одновременно, потому что постоянно чувствует свой долг перед людьми — любить их. Но пока это только отдельные наброски даже не сценария, а замысла, и говорить об этом подробно пока не стоит. Очень важно добавить, что мой будущий фильм я мыслю как некий итог сегодняшнего состояния, к которому вообще пришло человечество, подобно тому, как «Покаяние» — не только о грузинском тиране и не только о тридцать седьмом годе. Это фильм о прошлом, настоящем и будущем нашего века. А Варлам—лишь имя нарицательное. Фамилия его — Аравидзе, что в точном переводе на русский означает—Никтодзе. И страшно, что именно «Никто» был способен внушить людям такой страх. Освободить от страха — не было для меня задачи более важной, чем эта, когда я снимал фильм «Покаяние».

— Вы сказали с самого начала — я сделал этот фильм для молодежи. Почему она волнует вас больше всего, а не мы, которые все это прожили, пережили, выжили... иные старались забыть, иные забыли...

— Да, я больше всего боялся, понравится ли фильм молодым. Я знал, что, если они отвернутся от него, не поймут, это приведет меня в состояние необратимого кризиса, жестокого разочарования. Но они приняли и поняли. Не приняли и не поняли как раз люди старшего поколения. Пусть их немного, но они есть, и, что самое смешное, среди них немало юристов в возрасте от 60 до 80 лет. Впрочем, так ли уж это смешно?

— А кому из ушедших из жизни вы хотели бы показать свою картину?

— Прежде всего своему брату. Он был моложе меня на три года и был самым большим болельщиком всех моих фильмов. Он умер, когда фактически не было шансов, что картина когда-нибудь выйдет на экран. Представляю, как он был бы счастлив ее увидеть! Моему школьному учителю по литературе; никто не оказал на меня такого влияния, как этот человек. Моему отцу, который в тридцать седьмом году держал под кроватью на всякий случай собранный маленький чемоданчик... Всем тем замечательным писателям, художникам, композиторам, которые ушли, так и не успев до конца подарить народу все безграничные возможности своих талантов. Всем, всем хотел бы я показать, кому посвятил этот фильм и кто вел меня от первого до последнего кадра, чтобы я закончил этот свой памятник безвинным жертвам Варлама.

— А чьими мыслями о картине больше всего дорожите? Кто главный судья, если он есть? И вообще, есть ли кто-то, кому вы считаете себя обязанным?

— Да, есть. Все мои близкие и родные. И прежде всего моя жена, моя дочь, кстати, она играет в фильме Нино Барати — жену художника... И, конечно, мой сын Гия — он главный судья и советчик, последнее слово всегда за ним. Гия — архитектор, моя жена — актриса, невестка — режиссер и драматург, дочь — актриса. Поистине дом работников искусств. Это мой скит и моя крепость. Не будь моего дома, я никогда не снял бы ни одной картины. Когда я работаю, я будто ухожу из этого мира и перехожу в другой. Если бы не было постоянного понимания и поддержки, этого содружества и любви в семье, клянусь вам, я бы ничего не создал! А еще у меня была теща...

— Я ее прекрасно помню... Мы вместе сидели за этим столом. Красивая, умная, ироничная. Она, оказывается, была скульптором?

— Она была скульптором, она была красивой женщиной, она была самой нетипичной тещей из всех тещ.

В тот вечер пришли дети, внук, его зовут, как и молодого героя фильма, Торнике, и когда смотришь на него, то думаешь, как же хорошо, что он растет в семье, где нет лжи и фальши, где все слышат друг друга и верят — его не ждет страшное будущее Торнике из фильма. В этом доме есть какой-то особый климат духовного равновесия, гармонической завершенности. Из этого дома не хочется уходить. Я вспомнила, что через несколько дней Тенгизу Евгеньевичу исполняется шестьдесят три года, за этим большим дубовым столом соберется вся семья и Мзия наверняка испечет свои пироги и приготовит всякие яства, благоухающие всеми травами... И тогда я задаю свой последний вопрос:

— На пороге своего рождения чего бы вы сами себе пожелали? Себе прежде всего. А потом нам, вашим зрителям?

— Получалось так, что у меня межкартинный простой от пяти до семи лет. Это происходит и по субъективным, и объективным причинам. Хотелось бы в оставшееся время — а сколько его мне осталось, одному богу известно — сократить эти простои до минимума, настолько (он смеется), чтобы снять и ту картину, о которой я говорил, и еще одну трилогию. А зрителям... Впрочем, и они творцы: и когда сидят в зале, и когда что-то делают у себя на работе, и когда приходят домой, все равно творцы. Я пожелал бы всем нам никогда не говорить «да», если сердце говорит «нет». Почему фильм для молодежи? Освобождение от лжи — вот что сейчас для них самое главное. Можно пробиться к душе молодого человека, я верю в это, но только в одном случае: как бы жестоко ни обнажились в искусстве наши невидимые раны и уродливые шрамы, художественное произведение должно нести в себе высокое позитивное начало.

— И какое оно?

— Это я вас должен спросить, ведь вы тоже зритель «Покаяния».

— Что же, не очень складно, но я постараюсь ответить. Человек не должен останавливаться в своем постижении добра, так? Как вы сказали, правда все равно побеждает. Только справедливо и другое — что на это часто не хватает одной человеческой жизни. Согласна, будет другая, и процесс этот бесконечен, как бесконечна дорога в финале вашей картины к Храму. Усилиями Варлама она стала для нас еще длиннее — мы ушли далеко назад, и надо начинать путь сначала. Но это не страшно, если нет страха. И это — путь, если нет рядом тени Варлама. И это — дорога в глубину каждого из нас, если, собравшись вместе в больших залах, мы смотрим сегодня фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние».

Лидеры популярных рок-групп Москвы и Ленинграда (слева направо): Константин Кинчев — «Алиса», Ленинград; москвичи Петр Мамонов — «Звуки Му», Сергей Жариков — «ДК», Василий Шумов — «Центр», и ленинградец Борис Гребенщиков — «Аквариум».

РОК-САЛОН

В и з у: выступление «Аквариума» на рок-фестивале Тбилиси-80 произвело впечатление разорвавшейся бомбы...

Саша ЧЕРНЫЙ

«...Пускай прием
Не гениальный,
Но он испытан. Цепь зевак
Бежит,
Шумя на вид скандальный.
В салон «Квадратный Вурдалак».
Сначала хохот и глумленье,
Потом, глядишь, один, другой
Стоит у стенки в размышленьи,
Тряся задумчиво ногой...»

Новый «изм». 1913 г.

«Звуки Му» на сцене Центрального дома художника осенью 1986 г.

Петр Мамонов: «Мы идем
от скоморохов,
русской ярмарки,
где была
толчея, было смешно и весело,
и обязательно была
какая-то сатира на то,
что происходит вокруг».

НА КАРЕТНОМ

Приглашаем тебя, читатель, в рок-салон — базовую квартиру московской рок-группы «Звуки Му». Салонный рок — это абсурд! Но кто сказал, что рокеры должны собираться в подвале?

Бас-гитарист «звуков» Александр Липницкий рассказывает:

— Когда в нашей квартире № 56 хозяйничала моя мама, частыми гостями здесь были Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Владимир Высоцкий, Левон Кочарян, Андрей Тарковский... Сегодня вы видите здесь рок-музыкантов. Уверяю вас, что мои шумные друзья не обольщаются сегодняшним успехом у молодежи. Они любят пофилософствовать, почитать свои стихи и рассказы — стремятся выразить себя не только в музыке.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:

«...У этой песни нет конца и начала,
Но есть эпиграф, вот несколько фраз:
Мы выросли в поле такого напряга,
Где любое устройство сгорает нараз...
И логически мысля, сей пес невозможен,
Но он жив, как не снилось и нам, мудрецам...»

«Электрический пес».

...«Загадочен сезон Коростыля,
Парящего над фабрикой конфетной.
И Кэптэн Бифхарт, сложенный как слон.
Опять грозит затмением времен —
Но на углу Садовой и Каретной
Войду в эклипс и все начну с нуля».

В альбом А. Л.

После очередного — в ту пору (1983 г.) еще неофициального — концерта в Москве у группы «Аквариум» хорошее настроение.

Фотографии Э. Басилия (рок-салон) и А. Забрина.

ДЛЯ КОГО МЫ УЧИМСЯ?

«Здравствуй, «Юность»!

Пишут вам студенты Пермского мединститута. Начнем сразу с вопросов, которые нас волнуют. Ответьте, пожалуйста, какой предмет в мединституте главный? Любой студент ПГМИ скажет: «Это история КПСС!» От студента требуется пересказ лекций данного преподавателя и конспекты (если их можно так назвать), где почти полностью надо переписывать первоисточник. Зачем? Ведь в книге лучше написано. Какое-либо умение мыслить лишнее. Подобные вопросы задать на кафедре истории никто не рискнет, т. к. может в один «прекрасный» миг не сдать экзамен, а лететь из института никому не хочется.

Предвидим ваш ответ: советский врач должен разделять коммунистическую идеологию, должен иметь марксистское мировоззрение и т. п. Но, во-первых, история и обществоведение в достаточном объеме изучаются в школе. Во-вторых, мировоззрение нужно пережить. Общественные науки (исключая философию) идут в ущерб профессиональной подготовке. Мы не относимся к слабо успевающим студентам, но хотелось бы уделять больше времени тому, что нам жизненно необходимо как врачам, т. е.— анатомии и биологии, но времени не хватает.

Вот уже третий год говорят о реформе высшей школы. Но где она, реформа? Покажите пальцем! Где компьютеры? Нет даже программных калькуляторов нового поколения.

Вообще к чему эта система отработок? Будто учимся не для себя. Ну, а зачем нужны в институте люди, не желающие учиться?

Вероятнее всего это письмо дойдет, только будут ли конкретные ответы?

На этом пока все.

К., ПГМИ».

«Здравствуй, «Юность»!

Мы — студенты I курса мединститута. Сейчас в печати везде слово «ускорение». Здесь его не видно.

Нас учат уже 3 месяца, за это время мы сделали кое-какие выводы. Во-первых, зайдите в любую комнату общежития и спросите, какой самый главный предмет. История КПСС. Именно на этот предмет уходит больше всего времени и сил. Здесь даже «ходит» пословица, что это «исторический факультет с медицинским уклоном».

Вместо того, чтоб заняться анатомией, а по ней мы *всего за три месяца* прошли костную систему (остеологию, синдесмологию, миологию!), мы вынуждены *переписывать* документы В. И. Ленина, его работы, т. к. от нас требуют этого переписывания, а не понятия.

Мы предлагаем:

1) Изменить систему обучения на кафедре Истории КПСС — никаких конспектов (очень много времени уходит на переписывание). Преподаватель должен выяснить не зубрежку студента, а как он понимает этот предмет при работе с книгой.

2) Экзамены по Истории КПСС отменить — ставить зачеты, этого достаточно, и ввести за I семестр — экзамен по анатомии.

3) Основным предметом мединститута на I курсе сделать анатомию. (Вот где нужны конспекты, рисунки и основная трата времени!)

Если этого не сделают, то все слова об улучшении по подготовке «специалистов» и т. п. останутся пустым звуком.

Хотелось бы написать больше, но нет надежды, что найдутся люди, которым не лень на деле что-нибудь «ускорить».

Группа студентов».

г. Пермь

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТДЕЛА ПИСЕМ

Оба эти письма пришли в редакцию из Перми. Но мы отнюдь не склонны думать, что то, о чем пишут студенты, «больной» вопрос лишь этого города и этого, конкретного института.

Давайте, что называется, отделим зерна от плевел. Должен ли современный культурный человек знать историю своей страны? Или, точнее: может ли человек считать себя культурным, если он не знает истории своей страны? Всякий скажет: нет, не может. Должен ли молодой советский человек знать историю своей партии? Ответ однозначен — безусловно должен.

Мыслящий человек должен уметь суммировать полученную необходимую информацию, а это, заметим, и значит — тезисно конспектировать. Но будущие пермские медики подняли свой голос именно против бездумности учебного процесса, против формализации обучения. Думаем, что при всей запальчивости авторов писем надо отдать должное их откровенности и гражданской позиции. Трудно себе представить, чтобы подобное письмо пришло в редакцию пять лет назад. Так, шушукались на переменах, вздыхали, разгибая застывшие от огульного переписывания спины, жаловались друг другу — и все. Ведь иначе — надо что-то делать, а делать — это что-то предлагать. «Мне что, больше всех надо?» и «Себе дороже!» — помните эти две емкие формулировки, которые оправдывали долгое время все?

Мы публикуем эти письма именно потому, что у их авторов подобный подход отсутствует. Им небезразлично — вот что важно.

И нам интересно знать ваше мнение, читатель. Во всем ли правы авторы писем?

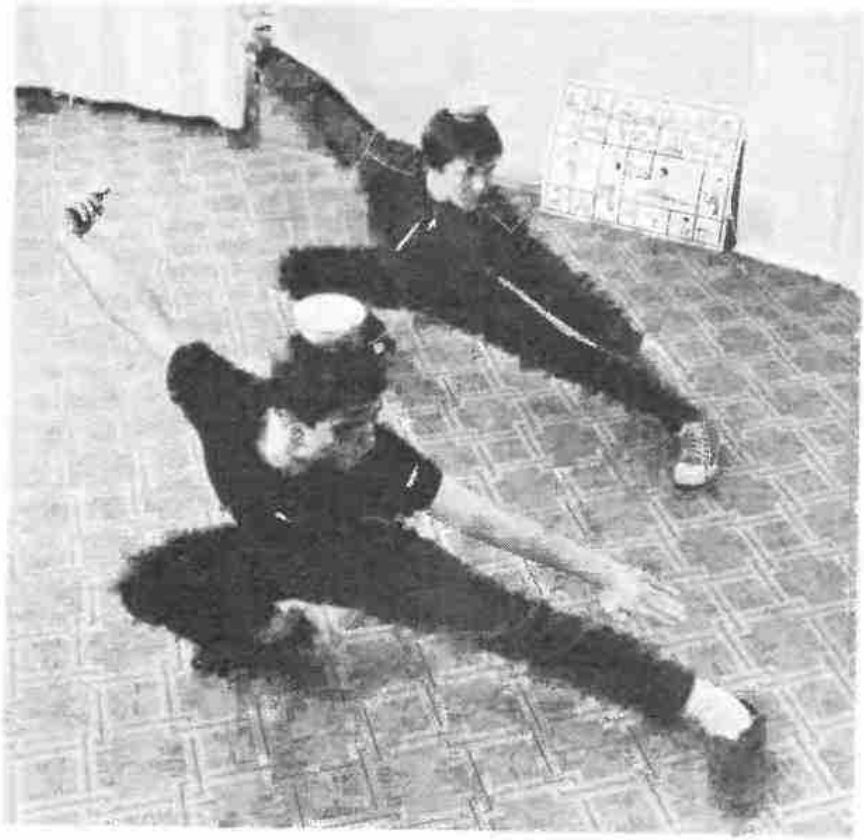
Ведь то, о чем написали пермяки, касается не просто малопрофессионального, формального преподавания общественных дисциплин в ущерб специальным предметам. Посмотрим шире — речь идет об устаревшем, косном процессе обучения в большинстве наших вузов. А та перестройка, которую сейчас очаговым образом, порой волюнтаристски, производят отдельные институты, нередко наносит непоправимый вред, «сбрасывая с корабля современности» жизненно важное, необходимое, но лично кого-то устраивающее.

Мы должны быть жесткими, четкими профессионалами. Не об этом ли мы говорим на собраниях? Должен ли научный работник быть и профессионально, и идеологически состоятельным? Да, конечно, кто будет с этим спорить.

А спросите любого аспиранта: с чем связан первый год аспирантуры? Он ответит: весь первый год, как правило, уходит на общественные дисциплины, которые он только что окончил изучать в институте. И добавит: в ущерб научной работе. Собственно научная деятельность начинается на следующий год, в бешеном темпе.

А ведь все, как говорит старая истина, в конечном итоге зависит от нас. Никакой добрый дядя не поможет, если просто разводить руками и вздыхать.

Итак, у кого какие предложения?



Владимир
ЛУКЬЯЕВ

У-ШУ ПО-ДАГЕСТАНСКИ

В зимние каникулы в Москву приезжали ребята из студии художественной и физической пластики дагестанского аула Халимбек. Приезжали, чтобы походить по столичным музеям, о которых так много рассказывал им руководитель студии художник Гусейн Магомаев, но не могли и представить, что сами окажутся в центре внимания — будут демонстрировать свое мастерство и в обществе советско-китайской дружбы, и у нас в редакции...

Гусейн Магомаев рассказывает историю студии, свою собственную удивительную историю.

Когда в семье Магомаевых родились два мальчика-близнеца, родители не могли смириться, что будут растить лишь одного из них, а другой — дистрофичный, с пороком сердца Гусейн — обречен... Гусейну не исполнилось и года, как умер отец, который, пройдя войну, был тяжело ранен, побывал в немецком плену, совершил побег и был снова ранен... Его молодая жена осталась с тремя детьми... Гусейн вспоминает, как мама кормила его в постели и как болезненны были уколы, которые ему постоянно делали.

Гравюра Г. Магомаева по мотивам древнекитайской поэзии.

На снимках: Гусейн Магомаев и его ученики демонстрируют свое искусство у нас в редакции.

Фото Л. Шимановича.

Он пошел в школу, хотя учиться было трудно — болел по-прежнему так часто, что едва успевал наверстывать пропущенное. А знаете, как дался Гусейну пятый класс? Более полугода провалялся он в больнице. Вставать и ходить не разрешалось, и, чтобы скоротать бесконечно длинные больничные дни, он начал рисовать.

А дома его ждало еще одно испытание.

— Гусейн,— сказал ему доверительно брат Гасан,— ты только не проговорись маме, но я слышал, как доктор сказал ей, что ты проживешь лишь до семнадцати лет...

Бедный Гасан! Он ведь хотел как лучше...

Вскоре Гусейну попал в руки спортивный журнал, в котором был дан комплекс упражнений с гантелями. Выбрав два подходящих по весу булыжника, он в тот же день приступил к тренировкам.

Прошло полтора года. Районный врач, разглядывая нового пациента, думал: неужели у такого мускулистого и крепкого юноши могут быть жалобы на здоровье?

— Фамилия?

— Я — Гусейн Магомаев, доктор.

— Ты! Как так! Ты что с собой сделал? — доктор не верил своим глазам.

— Ничего особенного. Занимался гантелями, фехтованием, боксом...

— Что! — воскликнул доктор, роняя полотенце.— Дорогой, ты ведь каждую минуту можешь умереть от таких нагрузок. У тебя врожденный порок сердца и аллах знает сколько всяких других болезней. Тебе абсолютно противопоказаны любые физические упражнения. Немедленно прекрати!

Но лишь несколько лет спустя, когда, выступая в наилегчайшей весовой категории, Гусейн установил рекорд Дагестана, он расстался с тяжелой атлетикой. «Я инстинктивно почувствовал,— говорит Гусейн,— что больше мне не следует заниматься тяжелой атлетикой».

Вскоре он поступает в Махачкалинское художественное училище, сознавая, что живопись — его призвание. Но привыкший к постоянным тренировкам организм требовал физической активности, и Гусейн начал заниматься новым для того времени видом спорта—дзюдо. Последовали первые успехи, но современный спорт требует полной самоотдачи. Ну, а служенье музам суеты, как известно, тоже не терпит. Можно, конечно, немножко спорта, немного живописи... Но это не в характере Гусейна. А реально ли вообще совместить гармоничное развитие внутреннего мира с физическим совершенством? Тут нет рецептов. Каждый должен искать свой путь.

Как-то Гусейн увидел у одного человека книжку на китайском языке, в которой было много картинок, заинтересовавших его.

— Это система китайской гимнастики и самообороны,— сказал владелец книжки.— Называется она у-шу.

— У-шу,— повторил художник.

Помните, как многие молодые ребята вдруг увлеклись каратэ? Была создана даже Федерация каратэ СССР. И какую породили тревогу всякого рода сомнительные истории, главными героями которых неизменно были каратисты, а вернее сказать, те, кто выдавал себя за них. Настоящие каратисты не безобразничали. Чуть больше трех лет просуществовало у нас спортивное каратэ. И одной из самых сильных считалась дагестанская школа каратэ, главную команду которой тренировал наш Гусейн Магомаев.

— Я пришел в каратэ из у-шу,— говорит Гусейн.— Один из случаев, когда хорошее меняешь на плохое. В каратэ нет идеи гармонии духа и тела. Есть хорошо поставленный удар, и все... К тому же, занимаясь каратэ, я вдруг обнаружил, что совсем не хочу рисовать. Каратэ выхолащивает душу. Мне стало как-то не по себе после такого открытия. Решение бросить каратэ пришло раньше, чем было решено расформировать федерацию и покончить с этим видом спорта.

Гусейн уезжает в Халимбек-аул. Местный сельсовет учредил должность художника. Ему выделили участок для постройки дома, а пока они с женой приспособили для жилья маленький вагончик.

И как-то раз в этот вагончик заглянул односельчанин и пожаловался, что ничего не может поделать со своим сыном. Дерется, курит. Уже состоит на учете в милиции. Помоги, дескать... В Дагестане, да и вообще у всех народностей Северного Кавказа бойцовские качества считаются чуть ли не самым главным достоинством мужчины. Ну, а Магомаев, как все знали, достиг больших успехов во многих уважаемых горцами видах спорта.

— Хорошо,— согласился Гусейн,— пусть сегодня же придет ко мне.

С занятий с этим угловатым и крепким пареньком и началась студия художественной и физической пластики. Трудно поначалу пришлось первому ученику. Он пришел к знаменитому тренеру по каратэ, а тот ведет заумные разговоры о гармонии духа и тела. Рисует целыми днями горы, людей, каких-то невиданных драконов, а живет бедно, в вагончике. Да и упражнения показывает совсем не боевые. Но мальчик не уходил — с каждым днем ему становилось все интересней и интересней... Он менялся на глазах. И однажды поразил учителя тем, что принес... свои рисунки.

Такая метаморфоза с юношей, на которого уже и рукой было махнули, не могла остаться незамеченной, и к Гусейну потянулись родители и других «трудных» ребят. Он никому не отказывал.

Но Гусейном заинтересовались и представители власти, до которых дошли слухи, что он занимается с ребятами каратэ.

— Не надо верить слухам,— отвечал работникам милиции Гусейн,— вы лучше посмотрите, чем мы тут занимаемся. А то и вместе с нами становитесь и попробуйте сами сделать эти упражнения.

И чтобы пресечь дальнейшие слухи, Гусейн поехал в Махачкалу и пришел на прием к вновь назначенному министру культуры Дагестана.

— Продолжайте работать с детьми,— сказал министр, выслушав художника,— мы вас поддержим. И думаю, что в отделе культуры Буйнакского района найдем для вас соответствующую ставку.

Ну, времена пошли, ликовал Гусейн, возвращаясь к своим мальчикам. Да и обещанная ставка была весьма кстати, так как незадолго до этого очередная ревизия указала руководителям сельсовета, что держать художника в Халимбек-ауле нет необходимости.

А ребята, которых с каждым днем становилось все больше и больше, днями и ночами пропадали у Магомаевых. Занимались здесь же, рядом с вагончиком. Часто делали вылазки в горы. А в дождь Гусейн вел занятия в актовом зале местной средней школы. Занятия проводились каждый день, без выходных.

Чем же все-таки занимается Гусейн со своими учениками в Халимбек-ауле? Вот что рассказывает сам учитель:

— Мы взяли за основу древнекитайскую прикладную гимнастику. Используем также работы профессора Красносельского, которые тоже восходят к древнекитайской гимнастике, и метод «саморегуляции», разработанный врачами-психофизиологами Хасаем Алиевым и Софьей Михайловской. Ну и, конечно, за восемнадцать лет занятий у-шу я и сам накопил кое-какой опыт. Некоторые из упражнений я упростил, другие, наоборот, сделал сложнее. Например, многие упражнения мы делаем с пиалами. Наливаем в них воду и, взяв в руки — а то и на голову, на колени, на плечи ставим,— начинаем делать довольно сложные упражнения. В классическом у-шу работы с пиалами нет, это — наше изобретение. Каждое движение требует большой концентрации внимания. Ведь стоит только на миг отвлечься — вода прольется, и пиала, считай, пропала. Полное внутреннее погружение в то, что ты в данный момент делаешь, и отличает древнекитайскую и базирующуюся на ее основе нашу гимнастику от общепринятых физкультурных комплексов.

Познакомившись с Гусейном, я и сам увлекся у-шу. Изучаю литературу, разучиваю начальные упражнения системы Магомаева. Насколько мне известно, и в Москве, и в других городах уже открылись первые секции у-шу. Безусловно, это хорошее дело, но...

У-шу, да простят меня его поклонники за сравнение, подобно ножу, которым пользуются и домохозяйка, и врач, и кто угодно. Постараюсь обосновать сказанное.

У-шу зародился в Китае несколько тысяч лет назад (хуацяо, то есть китайцы, живущие не в КНР, называют эту же систему кун-фу). Дословно у-шу означает «боевые искусства», но никогда и никем в Китае у-шу в этом качестве не воспринимался. «Боевые искусства — это часть культуры, которая проявляется во всех аспектах жизни. У-шу — это путь жизни, проникнутый глубоким эстетизмом и дисциплиной. Он включает в себя нормы поведения, методы лечения, массажа, поддержания здоровья, правила питания и приготовления пищи, приемы боя голыми руками и с оружием, изучение философии и истории»,— говорится в вводной главе книги «Боевые искусства в культурной традиции стран Востока», которую написал и готовит к изданию Алексей Маслов, китаевед, научный сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР.

Попробуйте для начала утром в течение 6—7 минут сделать комплекс упражнений тайцзы-цюань, являющегося одним из множества стилей у-шу (Алексей Маслов в своей книге рассказывает о 60 стилях, всего же их насчитывается около 600). И этих 6—7 минут, по глубокому убеждению и Гусейна-практика, и Алексея-ученого, вполне достаточно для того, чтобы получить хороший заряд энергии на весь день. Но только в том случае, если делать эти упражнения не так, как мы привыкли делать утреннюю физзарядку — бездумно и механически.

В у-шу сознание и организм всегда выступают как единое целое. Гусейн так и называет это состояние— «целостным». А как его достичь? Большинству из нас, представителей европейской культуры, это дается не так-то просто. И примером тому йога. Почему она у нас не прижилась? Потому что йога — это тоже союз психики и организма. А многие из тех, кто у нас в стране занимался йогой, видели только ее внешнюю сторону. Делали «асаны» — так называются позы в йоге — и думали, что этого вполне достаточно. Отнюдь!

То же самое и с у-шу. И здесь для получения здорового и полного эффекта нужен союз психики и организма. Китайцы с этим делом справляются довольно легко. У них есть методисты, тренеры по спортивному у-шу, да и сама тысячелетняя культура срабатывает. Так что ж, выходит, надо быть непременно китайцем, чтобы всерьез овладеть этими полезными навыками? Ничего подобного. И доказательство тому — опыт Гусейна, достигшего за короткий срок работы с детьми таких неординарных успехов.

Внешняя форма у-шу очень эффектна. В отличие от йоги у-шу динамичен и более привлекателен для ребят. Движения можно разучить. А как помочь ребятам по-настоящему концентрироваться на том, что они делают, как им помочь «включать» сознание? Пиала с водой и стала «эврикой» Магомаева.

А теперь давайте попробуем поставить на голову чашку или пиалу с водой и сделать не какое-нибудь экзотическое упражнение из тайцзы-цюань, а всем нам известное разведение рук в стороны с поворотом корпуса вправо и влево. Попробовали? А теперь без чашки. Есть разница? Несомненно. Потому что включили сознание, проще говоря, думали, когда делали. А если же вода расплескалась, то, значит, отвлекались или делали механически, как обычную физзарядку.

Стараясь не обращать внимания на то, что с каждым днем чашек в доме становилось все меньше, я попробовал по утрам делать принятые в студии Магомаева простейшие упражнения. И обнаружил, что за 7—8 минут я получал больший заряд энергии, чем раньше за получасовую физзарядку. Включенное сознание — великая вещь! Можете сами в этом убедиться, если чашек не жалко. А убедившись, для достижения полного эффекта соедините «включенное сознание» с упражнениями тайцзы-цюань, помещенными в прошлом году в «Неделе».

Когда вы научитесь включать сознание и сочетать его с действием, пиалы больше не понадобятся. А вскоре вы ощутите, как возрастет и ваш творческий потенциал. Это, конечно, не означает, что любой из нас, начав заниматься правильным у-шу, станет замечательно рисовать или сочинять музыку. Нет. Но свою работу он будет выполнять качественней. И в жизни будет активней. Это видно по ребятам Магомаева. Их успехи в школе учитель воспринимает как само собой разумеющееся. Его цель — не сумма знаний, которые они и в школе могут получить, а «...беспредельное гармоничное развитие личности». Беспредельное, обратите внимание.

Сам Гусейн, занимаясь у-шу, окончательно забыл о своих недугах. Добавлю лишь, что у-шу помогает излечиться и от алкоголизма.

Восточные сказки, возразит скептик. Ну что же, ведь иглоукалывание тоже вначале многие считали «восточной сказкой». А вот еще одна «сказка», опубликованная в прошлом году в «Курьере ЮНЕСКО»,— самым старым жителем нашей планеты, оказывается, является китаец, возраст которого... 254 года! Конечно, случай неординарный, но ведь в методике всех стилей тысячелетнего у-шу прямо говорится о том, что комплексы упражнений обеспечивают долголетие. Активное долголетие.

Алексей Маслов, о котором я упоминал выше, вместе со своими единомышленниками, среди которых есть врачи, психологи, биологи, историки, переводчики с китайского, создал в Институте Дальнего Востока АН СССР научно-исследовательскую группу по изучению у-шу — для разработки подходящих к нашим условиям методов обучения и методов лечения при помощи этого древнего искусства. Как видите, дело серьезное.

Но не хочу умалчивать и об опасности, которую таит ширящееся увлечение у-шу. Дело в том, что в у-шу есть целый ряд упражнений, которые могут представиться подозрительно похожими на удары каратэ. И не исключено, что на волне нового увлечения соберется мутная пена из бывших «сенсеев» каратэ и новоявленных «учителей» у-шу. Мало того, что они сделают «боевые искусства» источником грязного дохода, они и людей могут искалечить своими доморощенными методами, и у-шу дискредитировать. А этого допустить нельзя. Мощным оружием станет тут гласность — лекции, методические пособия, здоровая организация. Как у Гусейна Магомаева в Халимбек-ауле.

Время от времени сотрудники нашей редакции любят взять в руки небольшой зеленый портфель, давший название отделу сатиры, и отправиться с ним в путь-дорожку. Существуют самые разные поводы для поездок. Например, недавно мы получили из Таллина пригласительный билет на очередную запись популярной в Эстонии радиопередачи, которая называется «Меэлеяхутая». Грешно было бы отказаться от столь любезного приглашения. Тем более что действительность превзошла наши самые смелые ожидания. Рассказы, сценки и монологи, как всегда, исполняли артисты таллинского ТЮЗа и делали это с таким мастерством, так темпераментно, что практически три часа подряд в зале стоял гомерический хохот.

Надо сказать, «Меэлеяхутая» — это непереводимая игра слов. Зато, оказалось, хорошо переводятся слова, из которых составлены новые произведения таллинских сатириков. В этом выпуске «Зеленый портфель» знакомит с ними своих читателей.

Тоомас КАЛЛЬ

СДВИГ ПО ФАЗЕ

Фельетон

Сразу хочу сказать, что с названием своего фельетона я категорически не согласен. На этом заголовке настояли мои товарищи, которые убеждены в том, что у меня сдвиг по фазе. Мне-то как раз кажется наоборот — события разных фаз жизни я пытаюсь совместить. Здесь происходит одно, там — другое. Это произошло сегодня, то — вчера. А я совмещаю — рассказываю обо всем сразу. Например, сейчас я вспомнил, как Кидеон участвовал в соревнованиях по прыжкам с шестом.

Он стоял в начале дорожки для разбега и ждал. Один конец шеста на плече, другой — на земле. Так было удобнее всего: он ведь не знал, сколько придется ждать и придется ли прыгать вообще.

Длинный, покрытый розовой скатертью судейский стол был рядом с ямой для приземления, и Кидеон видел, с каким глубокомысленным видом судьи изучают свои, вернее, его бумаги.

Опытный спортсмен, он подготовил документы до начала состязаний. Написал заявление. Надо было заполнить пустые места на специальном бланке: «Прошу разрешить мне пройти прыжки с шестом со временем 3 минуты 80 секунд». (Бланки для шестовиков кончились, и им выдали заявления для спринтеров.) Дальше Кидеон написал свою биографию, затем ту же биографию, но в виде анкеты. Потом ответил на вопросы: прыгал ли раньше? если да, то куда и сколько? прыгал ли в других местах? проигрывал ли на соревнованиях? если да, то кому и почему? Остальные документы были формальностью чистой воды — две фотографии, постановление тренерского совета, согласие супруги, характеристика, нотариально заверенная копия дневника тренировок и письменные обязательства трех маститых болельщиков реагировать на неудачные прыжки в рамках приличия.

Кидеон уже сделал две удачные попытки и надеялся, что ему разрешат прыгнуть еще. С документами был полный ажур — заявление на третий прыжок он не списывал с прежних: в новом заявлении проставил желаемую высоту, а в анкете указал предыдущие результаты. Единственное, что могло вызвать подозрения, так это сама высота. Раньше так высоко Кидеон никогда не прыгал. Похоже, судьи изучали сейчас дневник тренировок — решали, достоин ли парень личного рекорда.

«Должны разрешить»,— успокаивал себя Кидеон. Он считал, что тренировался очень интенсивно.

Но вот арбитры один за другим поставили на какой-то бумаге свои подписи, затем встал старший судья и торжественно возвестил, что судейская бригада решила удовлетворить просьбу Кидеона и разрешает ему попытку на три метра восемьдесят сантиметров. С трибун послышался гул одобрения.

Кидеон поблагодарил судей за доверие и расписался в том, что знаком с положением о соревнованиях. Теперь надо было прыгать. Разбег следовало начинать в течение получаса с момента подачи заявления, и времени оставалось в обрез.

Разбег Кидеон любил больше всего. Тут все происходило быстро и органично. Достигнув максимальной скорости, Кидеон начал своевременное торможение, ибо возле углубления для шеста стояли два типа с повязками на руках. Кидеон знал, как вести себя с ними. Старшему он на ходу протянул заявление с просьбой разрешить одноразовое пользование углублением для шестов. Тому, что помоложе, вручил ходатайство поймать падающий шест.

Пока все шло как по маслу. Успех окрылял. Теперь шест дугой — и вверх!

Пролетая над планкой, Кидеон послал приветственную телеграмму районному отделу спорта, в которой горячо поздравил работников отдела со своим личным рекордом и заверил их, что впредь всегда будет на должной высоте. Тут нечего было думать — текст составлен заранее и утвержден в спортивном отделе, дело только за отправкой...

И вот теперь самое время вернуться к этим пресловутым разговорам про сдвиг по фазе. Если бы такой существовал на самом деле, я понес бы сущую околесицу о том, что, прежде чем прыгать, Кидеон забыл получить разрешение на приземление, что весь сезон у него ушел на оформление личного рекорда. Но я этого не говорю. Чего не было — того не было. Не люблю, знаете ли, преувеличений.

Перевели Ирина и Виталий БЕЛОБРОВЦЕВЫ.

Прийт АЙМЛА

АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Итак, ребята, сейчас мы должны обсудить почин молодежи соседней фабрики. Что вы думаете о зачитанном?.. Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь. Сейчас обязательно должны начаться прения, иначе протокол получится «липовый». Кирна, скажи хоть пару слов для затравки.

КИРНА. Я, значит, того... этого... отказываюсь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Отказываешься? От чего?

КИРНА. От курения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Великолепно! Правда, про курение в этом почине не упоминается. Но лед тронулся. Кто еще желает высказаться, товарищи? Если нет новых мыслей, выскажите старые, проверенные... Пожалуйста, Вельбер.

ВЕЛЬБЕР. Два конца, два кольца.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Это все?

ВЕЛЬБЕР. Нет, не все. Посредине гвоздик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Молоток!

ВЕЛЬБЕР. Гвоздик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Посредине гвоздик, а ты молоток, в смысле молодец. Такую смелую речь закатил. Кто дальше? Юкспятс, у тебя найдется слово?

ЮКСПЯТС. И не одно — у меня найдется целое предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Какое?

ЮКСПЯТС. Я встретил вас, и всё.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Всё? Ты уверен?

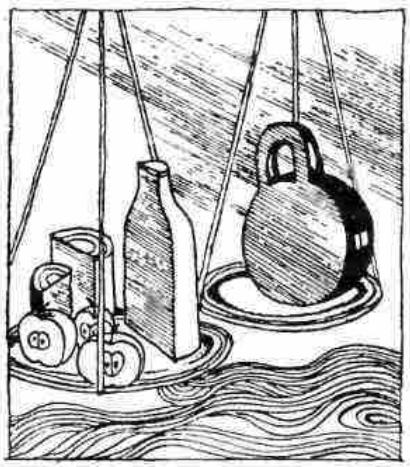
ЮКСПЯТС. Всё.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Благодарю вас за глубокие, содержательные выступления. Зачитываю и ставлю на голосование проект решения: «Молодежь нашего завода включается в движение, которое инициаторы начали без нас. Особо обязуемся обращать внимание на пополнение знаний в этой области. Усилим по общественной линии. Шлем приветствие тем, без приветствия которым было бы сделано только полдела». Кто за то, чтобы наше собрание считать законченным, прошу поднять руки, быстренько опустить и разойтись до встречи перед началом следующего почина.

Перевели Ирина и Виталий БЕЛОБРОВЦЕВЫ.

Калью КАССЬ

ПИСЬМО В ПАЛАТУ МЕР И ВЕСОВ



Рисунки В. Лосева.

Уважаемые товарищи!

Начиная с сегодняшнего дня я решил сделать метр чуть-чуть короче, а килограмм — чуть-чуть тяжелее.

Вы вправе спросить, какие преимущества дает мое головокружительное новаторство?

Объясняю.

Резко возрастет производство канатов, веревок и особенно ниток.

Для строительных работ можно будет использовать старые рулетки, у которых стерлись концы. Достаточно их просто обрезать.

Метр того, что раньше стоило рубль, отныне будет уценен до восьмидесяти восьми копеек. Образовавшуюся разницу можно использовать для безмерного повышения жизненного уровня и покупки килограммов, которые подорожают на чисто символическое количество копеечек.

Неизмеримые пространства станут еще неизмеримее. Обеспеченность жильем одним махом улучшится в три с половиной раза, а если считать в квадратных сантиметрах, то станет более чем нормальной.

В то же время мы по-настоящему научимся ценить килограмм.

Теперь каждый человек вместо одного метра сможет позволить себе роскошь приобрести полтора, и все равно у него еще останется сдача на приобретение нескольких граммов.

Как по тяжести килограмма, так по количеству кубических дециметров на душу населения мы выйдем на первое место в мире.

И тогда у нас найдется, что измерять!

Поэтому всерьез задумайтесь над моим дельным предложением. Оно тем более ценно потому, что придумал его не какой-нибудь там супермен, а я, обычный стокилограммовый человек трехметрового роста.

Перевел Леви ШЕР.

Лев НОВОЖЕНОВ

НЕТЕРПЕЛИВЫЕ СИРОКИ

Многие писатели, не надеясь на свою память, обзаводятся записными книжками. Грешит этим и сатирик Лев Новоженов. Он надеялся, что лаконичные заметки с течением времени послужат сырьем и полуфабрикатами для повестей, романов, пьес. Однако время шло, а повести, романы, пьесы так и не появлялись. В конце концов сатирику надоело их дожидаться, и он предложил отрывки из своих записных книжек «Зеленому портфелю». Конечно, в определенном смысле публикация записных книжек — жест нетерпения. Но мы рассудили так — умный читатель сумеет представить все произведение целиком вокруг той либо иной фразы.

* * *

Судьба — это человек на другом берегу реки. Он кричит, размахивает руками, делает какие-то знаки, но что кричит—отсюда не разобрать.

* * *

Дождик неуверенно как-то тюкает в окно. Как человек, не умеющий печатать на машинке и печатающий одним пальцем.

* * *

— В чем смысл жизни?

— Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа...

* * *

Настоящая суббота — это пятница.

* * *

Утром гром артиллерийской канонады стоит над двором — выбивают ковры. Бум! Бум! Бум! Прицельно бьют синтетические паласы, ковровые дорожки, коврики, половички... А вот заговорил крупный калибр — толстый, словно шкура носорога, персидский ковер.

Наблюдение: чем больше любишь ковер, тем сильнее его бьешь.

* * *

Парк — это деревья в клетке.

* * *

Запись в ежедневнике: «Не забыть купить автомобиль».

* * *

Это были скучные брюки. Люди, которые шили эти брюки, наверное, мечтали быть космонавтами, врачами и заслуженными артистами. Но они не мечтали шить хорошие брюки.

* * *

Ну что Жванецкий, Жванецкий! Есть жизнь и на других планетах.

* * *

Я хотел бы, чтобы мне не было шестнадцати и чтобы меня не пустили на этот фильм.

* * *

Зубная боль души.

* * *

День—маленькая действующая модель жизни.

* * *

Доска почета «Лучшие люди нашей квартиры».

* * *

Стоял дом. На стене была мемориальная доска: «Здесь с такого-то по такой-то год работал выдающийся писатель...» и т. д. Потом дом сломали. Построили другой дом. Установили мемориальную доску: «На этом месте стоял дом, в котором с такого-то по такой-то год жил и работал выдающийся писатель...» Потом и этот дом сломали и построили новый. Мемориальная доска на этом доме уже гласила: «На этом месте стоял дом, на месте которого стоял дом, в котором с такого-то по такой-то год жил выдающийся писатель...»

* * *

Если не знаешь, что делать, делай то, что нужно.

* * *

Петр Иванович — мой единственный друг. Евгений Евгеньевич — мой единственный друг. А также Юрий Федорович, Игнатий Савельевич, Данила Борисович, Карп Николаевич и Александр Андреевич.

* * *

Молодость — это когда ты хочешь, чтобы весь мир смотрел на тебя. Старость — это когда ты хочешь смотреть на мир.

* * *

Это было упитанное, хорошо одетое тело. Оно дружило с другими телами, тоже хорошо одетыми и упитанными.

* * *

В мире маленьких радостей маленькие неприятности кажутся огромными.

* * *

Один раз я шел по улице, как вдруг увидел надпись на газетном киоске: «Киоскер болен». Это было так просто и трогательно, что я остановился. Я представил себе больного киоскера в постели, обложенного подушками. В изголовье — жена киоскера. Рядом — дети киоскера. Чуть поодаль — друзья киоскера. Картина, исполненная печали.

Весь день я ходил словно в воду опущенный. Что-то случилось в мире — киоскер болен! «Но не будем терять надежду,— думал я.— Скоро, скоро опять расцветут деревья, запоют птицы, и воспрянувший киоскер бодрым шагом зашагает к своему киоску».

* * *

С воем нечистой силы включился пылесос.

* * *

Все-таки самое интересное в зоопарке — это люди.

* * *

Современная пьеса о футболе. Входит слуга и говорит:

— Угловой подан!

* * *

Сон второй категории.

* * *

Служба бытия.

* * *

Я понял, почему это плохо, когда в книге много рассказов, особенно маленьких. Приходится все время прощаться.

Рисунок И. Оффенгендена

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Евгений ВЕРБИН

Марш бракоделов

Тупой и нерадивый
Живет единым днем.
Работай — с перспективой!
Трудись — с умом!

Ты, видно, олух сущий,
Коль выстроил завод,
Который сразу пущен
На полный ход.

Ты, знать, простак наивный,
Коль строишь прочный дом.
Работай — с перспективой!
Трудись — с умом!

Валяй как можно хуже!
Старайся — кое-как!
И снова будешь нужен —
Из брака делать брак.

Пускай болтает кто-то
Про совесть и про честь.
Зато тебе работа
В любое время есть.

А коль ты славой болен,
Легко найдешь пути —
Без пота и мозолей
Почет приобрести.

Монтажник ли, электрик —
Шурупь, соображай:
Какой-нибудь дефектик
В работе оставляй.

И, дожидаясь подле,
Сразись потом с бедой.
И все воскликнут: «Подвиг!»
И крикнут все: «Герой!»

Медаль тебе привесят
На праздничный пиджак.
А там, глядишь, и в прессе
Предстанешь как маяк.

Пускай глупец наивный
Казнит себя трудом.
Работай — с перспективой!
Трудись — с умом!

Зависть

Ах, эта зависть к музыкантам!
Как хороши! Красивы как!
Любой из них глядится франтом,
Едва наденет черный фрак.

А дирижер! Хоть стой,
хоть падай.
Взлетает с палочкой рука,
За нею вспархивают фалды,
Подобно крыльям у жука.

И пианист, когда к «Стейнвею»
Выходит, зал беря в полон,
Он тоже с бабочкой на шее
Неотразим, как Аполлон!

Да что — любой официантик
Задрипанный, и тот всегда
Себе повязывает бантик —
Интеллигентная среда.

Такая зависть вдруг находит,
Такая горечь, даже злость!
Да как же это?!
Жизнь проходит,
А быть красивым не пришлось.

Напрасный страх

Я боялся благополучия:
Вдруг настигнет да соблазнит,
Успокоенности научит,
Убаюкает, усыпит.
Жизнь, как поезд,
пойдет по графику,
Не стрясется в ней ни черта...
Что прискорбнее биографии
На одной стороне листа?!
Я подумывал не без паники:
Встретить милую — благодать.
Ну, а если любовь — без памяти,
Чего доброго ожидать?
Все обычно: семья, машина,
Будни, праздники, быт, постель...
Будет сказано все, изжито.
Как же дальше — без новостей?
О, я думал о жизни лучше,
Представляя такой исход...
Не пугайтесь благополучия!
Образуется все. Пройдет.
Даже те, кто о нем хлопочет,
Кто спешит его умыкнуть,
Даже те — не надейтесь очень.
Все разладится как-нибудь.
Будет трудно? Не одиноки:
Вам помогут — повергнут в прах.
Все расклеится. Дело в сроке.
Вы останетесь на бобах.

Рыцарское

Ну куда ж вы?! Не спешите!
Удержать позвольте вас!
Что мне сделать? Ну, скажите!
Я на все готов сейчас!
Повелите — на колени!
И секунду же сию
Бухнусь тут же — на аллее,
Лишь газетку подстелю.
Я вам руки поцелую!
Это тоже не слова.
Только вы их, попрошу я,
С мылом вымойте сперва.
Прикажите в ливень самый
Мокнуть — я сочту за честь.
Я могу стоять часами —
У меня же зонтик есть.
Взглядом скошенным не мерьте:
Дескать, голову дурю.
Я от всей души, поверьте,
Вам гвоздичку подарю.
Провожу вас, благо — лето,
На автобусе домой.
С вами — хоть до края света,
Хоть до самой кольцевой.
Вместе будет нам приятно.
Ну так что? Идет? Добро?
Ну, пошли. А то обратно
Не успею на метро.

В номере:

Проза

Кир БУЛЫЧЕВ. Подземелье ведьм. Фантастическая повесть (10).
Валерий ЗОЛОТУХИН. «Похоронен в селе...» Рассказ (45).

Поэзия

Давид САМОЙЛОВ (41), Аркадий КАЙДАНОВ (43), Рафига ГУСЕЙНОВА (43), Вячеслав КАЗАКЕВИЧ (44), Владимир СЕМЕНОВ (44), Александр КАЗАНЦЕВ (58), Марис ЧАКЛАЙС (58), Елена ЛАВРЕНТЬЕВА (59), Павло МОВЧАН (60), Сергей ТАСК (60), Игорь ЛЯПИН (61), Инна КАШЕЖЕВА (61), Аркадий ТЮРИН (62).

Публицистика

20-я комната. Заседание четвертое (52).
Вячеслав НЕДОШИВИН. ... Чтобы могли на нас ссылаться! (66).

Критика

Семен ГУДЗЕНКО. «...Мы оттуда ведем свой стаж» (2).
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА. Неизвестные строки Семена Гудзенко (4).
«Я люблю твой свет и сумрак». Беседа с поэтом Юрием Левитанским (5).
Г. Левин. Он оставил о себе добрую память (65).

Культура и искусство

Нелицемерный суд держать... Беседа с народным художником СССР Ильей Глазуновым (63).
Михаил ЕРМОЛАЕВ. Батюшков (76).
«Я сделал этот фильм для молодых». С кинорежиссером Тенгизом Абуладзе беседует наш корреспондент Алла Гербер (81).
Рок-салон на Каретном (86).

Почта «Юности»

И снова о «воспитании чувств» (72).
Для кого мы учимся? (88).

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ. У-шу по-дагестански (89).

Зеленый портфель

Тоомас КАЛЛЬ. Сдвиг по фазе (92).
Прийт АЙМЛА. Активное обсуждение (93).
Калью КАССЬ. Письмо в палату мер и весов (93).
Лев НОВОЖЕНОВ. Нетерпеливые строки (94).
Евгений ВЕРБИН. Ироническая поэзия (95).

Оформление обложки В. Фатехова.

Главный художник О. Кокин.

Художник Ю. Цишевский.

Технический редактор О. Трепенок.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, улица Горького, д. 32/1.

Телефоны:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел критики — 251-96-76
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 05.03.87.
Подп. к печ. 06.04.87. А 02487.
Формат 84×60¹/₈. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л. 17,75.
Усл. кр.-отт. 16,74. Тираж 3 100 000 экз.
Изд. № 1219. Заказ № 303.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Дорогой наш читатель

Мы хотим поделиться с Вами нашими планами на вторую половину нынешнего года.

ЮНОСТЬ '87

Проза

Вас ожидает встреча с новыми произведениями Фазиля ИСКАНДЕРА, Вячеслава КОНДРАТЬЕВА, Гранта МАТЕВОСЯНА, Анатолия РЫБАКОВА, Молодых писателей, дебютантов журнала.

В ближайших номерах читайте:
Повесть Иосифа ГЕРАСИМОВА «СКАЧКА»
Дневники Валентина КАТАЕВА
Эссе Владимира НАБОКОВА
Неизвестные рассказы Джона РИДА, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир»

Публицистика

По актуальным проблемам современности с Вами поведут разговор
Чингиз АЙТМАТОВ
Евгений ЕВТУШЕНКО
Валентин РАСПУТИН
Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС
Алесь АДАМОВИЧ

«20-я комната» расширяет свою жилплощадь.
Проблемой номер один читатели назвали:
Как поднять авторитет комсомола?
Неформальные объединения молодежи— куда они идут?
Прочны ли связующие нити поколений?
Начнем печатать иллюстрированную историю отечественного рока
Открываем новую рубрику:
«Кто виноват?»
Расследование ведет «20-я комната»

Поэзия

Неведомые строки Марины ЦВЕТАЕВОЙ,
стихи:
Арсения ТАРКОВСКОГО,
Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Геворга ЭМИНА,
Булата ОКУДЖАВЫ,
Александра КУШНЕРА,
Владимира СОКОЛОВА,
Давида КУГУЛЬТИНОВА,
Дмитра ПАВЛЫЧКО,
Беллы АХМАДУЛИНОЙ,
Юлии ДРУНИНОЙ
и молодых поэтов.

Приглашаем вас, дорогие друзья, подписаться на «Юность».
Журнал рассчитан на самый широкий круг читателей.
Двенадцать журнальных книжек, годовой комплект, стоят 8 рублей 40 копеек.
Подписка на полгода — 4 рубля 20 копеек, на три месяца — 2 рубля 10 копеек.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

ЧИСТЫЕ РОДНИКИ АНДРЕЯ АНТОНЮКА

Горькая истина: не всеми услышан призыв Александра Довженко выбросить все медные гроши полуправды, оставив чистое золото правды.

Даже в искусстве. Нет, тем более в искусстве. Об этом стоит напомнить не только молодым. Каждый мастер настолько мастер, насколько он правдив.

Украинский художник Андрей Антонюк постоянен в своих принципах. И в плеяде художников признанных он, безусловно, займет свое место, утверждаясь не борьбой за вакантное место под созвездием кисти, резца и муштабеля, а художественным постижением истории родного народа, его нынешнего дня, его грядущего.

Не случайно Андрей Антонюк обращается к истории вообще, к культурной истории народов украинского и русского: мы же — две ветви могучего дерева. Запорожская вольница, кажущаяся идиллличность чумацких походов за солью, бунтующая совесть народа — гайдамаки, огненный Тарас Шевченко — не дань традиции, в свое время заклейменной ретивыми искусствоведами как «литературщина», не анахронический экзерсис в изобразительном искусстве. Ведь если Марк Шагал, живя в Париже, не забывал о родном Витебске, стоит ли удивляться, что художник, на Украине живущий, пьет из чистого родника генетической памяти? Глубоко символическое осмысление художником поэзии Шевченко, где кровавая боль за поруганную самодержавием землю, за осквернение святыни не застит поэту высокие горизонты грядущего, где брат брата обнимет «в семье вольной, новой».

Выставки работ А. Антонюка так же, как и Феодосия Гуменюка, Ивана Марчука, Любомира Медвидя, всегда собирают зрителей. Его картины видели в Херсоне и Одессе, готовятся выставки во Львове и Красноярске. И ни одной — увы! — в его родном Николаеве. И дело, наверное, даже не в том, что Антонюк не рисует корабли, как многие его коллеги.

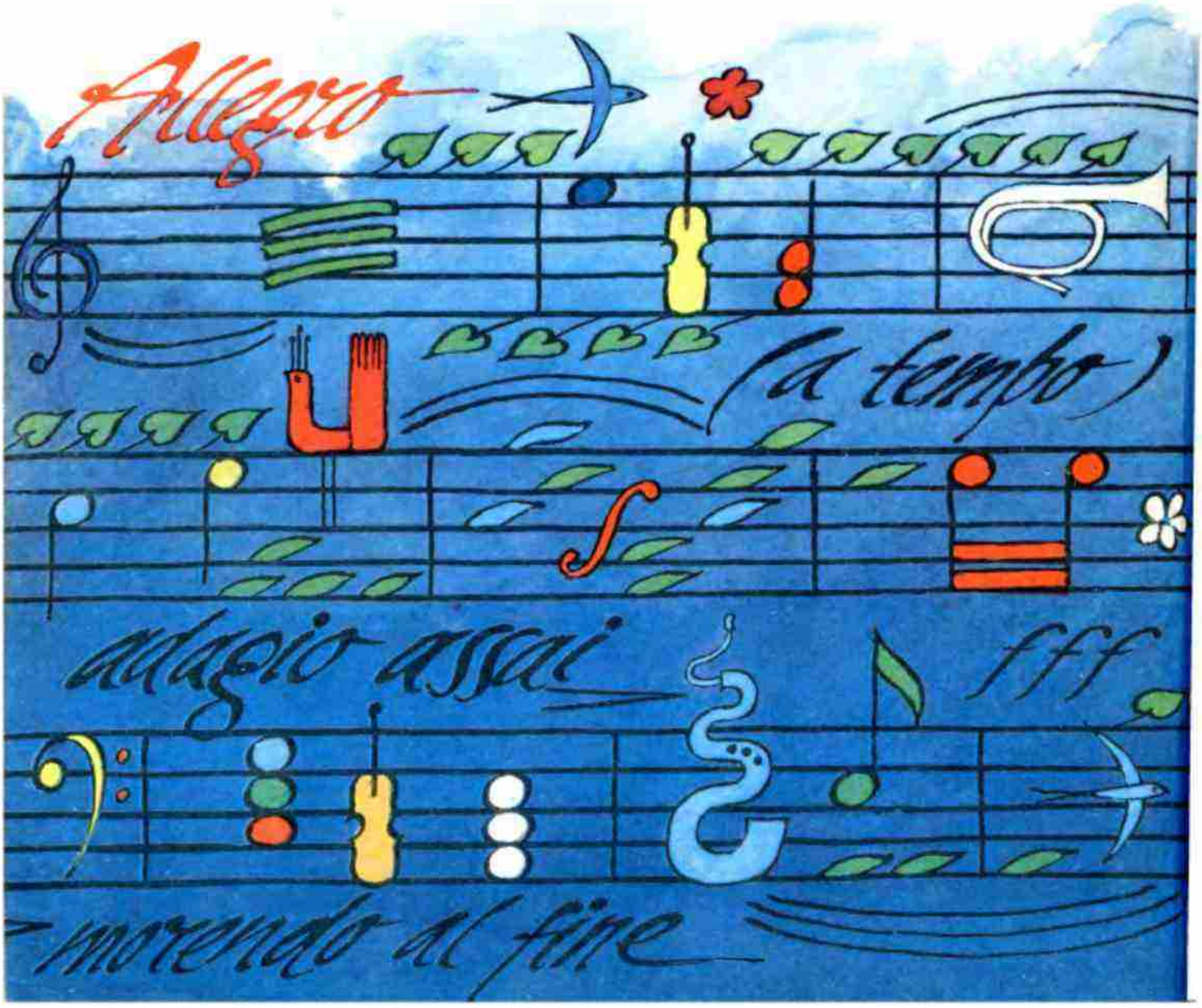
Очень чистые колеры на акварелях Андрея, очень честен он сам. Не потому ли так ярко блещут звезды над головами гайдамаков и солдат Победы, река ясным голосом детства поет о добре и надежде, и все впереди — и молодость неувядающая, и красота вечная?

Дмитро **КРЕМЕНЬ**

«Вечерницы». Акварель.

ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

«Гайдамаки» Ярема. Акварель.

«У колдуньи». Акварель.

Юность. 1987 г. № 5, 1—96
Индекс 71120
Цена 70 коп.